

P.2.10p
Г 20
93927

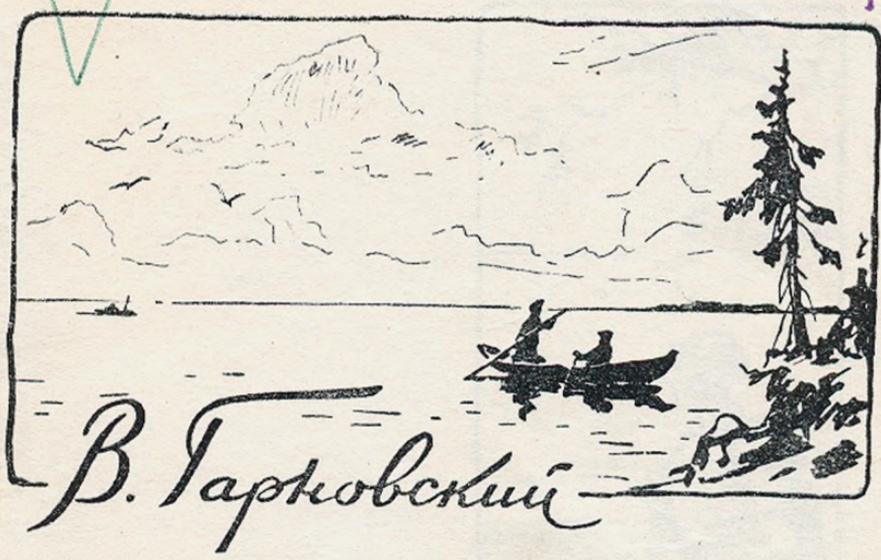


В. Гарновский

БЕЛОЗЕРЬЕ

79°
15 P2
520.

88
4



В. Гарковский

17673
9392705

БЕЛОЗЕРЬЕ

Вологодская
областная детская
библиотека

~~ХАРОВСКАЯ
РАЙОННАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА
Вологодской области~~

Вологодское книжное издательство
1959



Люди
БЕЛОЗЕРЬЯ



ПИСЬМО ДРУГУ

НИКОЛАЙ, дорогой мой, дружище! Привет!
Вот как хорошо вышло — нашли мы друг друга!
Я даже не мечтал об этом, зная, что после войны в Ленинграде родных у тебя не осталось да и о твоей судьбе ничего узнать не мог. А ты, к радости моей, жив и по-прежнему плаваешь по всем морям и океанам земного шара. Оказывается, ты теперь капитан дальнего плавания. Хотя и с опозданием, но поздравляю.

Думалось ли мне и тебе тридцать пять лет назад, тогда еще, когда мы были молодыми матросами Первого балтийского флотского экипажа, что ты станешь капитаном, а я — газетным работником? А вот — старость пришла, у каждого из нас за плечами большая жизнь, есть что вспомнить, будет о чем поговорить при встрече.

В прошлом письме ты удивлялся тому, что я после демобилизации уехал в деревню, в Вологодскую область и живу в ней более двадцати лет, не стремясь вернуться в родной город, Ленинград. А что в этом уди-

вительного? Молодость моя до военной службы прошла в Новгородской губернии, деревню я знаю и люблю и поэтому, демобилизовавшись, вернулся в Белозерье, входившее когда-то в Новгородскую губернию. Теперь эти районы относятся к Вологодской области. Так что я, по сути дела, никуда не переезжал, остался на своем любимом северо-западе и уходить отсюда не намерен. Правда, я родился в городе, но увезен оттуда еще в детстве и, как говорил выше, деревню знаю и люблю.

«Но почему именно ты остался на северо-западе, а не уехал куда-нибудь южнее, где природа лучше?» — предвижу я твой вопрос. Понимаю тебя, горожанина. А разреши мне тебя спросить — почему ты не остался после военной службы в Ленинграде, а перешел с военного в торговый флот и тридцать с лишним лет не сходишь с корабельной палубы, бывая в Ленинграде один раз в году, а то и реже?

Отсюда понятно, что и ты, и я, и многие, многие другие — каждый на своем месте, доволен своей работой. И это хорошо!

Что же касается природы, то она везде прекрасна по-своему. И особенно та, к которой привык с детства, полюбил ее. Знаю, что и для тебя, повидавшего и просторы крайнего севера, и тропинки, и почти все страны мира, нет и не может быть лучше ленинградского неба, Невы. Правда? Так чему же удивляться, дружище?

А своим краем, своим Белозерьем, я горжусь и люблю его. За что? За то, что он часть нашей великой Родины, за то, что он, когда-то глухомань непроезжая, стал теперь в ряд со всей страной, со всеми ее республиками, краями и областями.

А наши люди, наши природные богатства?

С людей и начну. Правда, они такие же советские люди, как и в других местах нашей Родины. Но, пожалуй, белозеры не умеют хныкать, плакаться на

трудности, а борются с ними и побеждают. К этому приучила их наша природа: долгая зима, холодные весны, короткое лето... И всё это надо использовать в интересах человека.

Как-то приезжал ко мне в гости знакомый человек. Родом он из Куйбышевской области, в наших местах не бывал. Прошлись мы с ним по колхозным полям, и спрашивает он меня с удивлением:

— Скажи, как это здесь ухитряются выращивать хлеб да и неплохой на песках сыпучих, на глинах?

Привык он видеть, что хлеб растёт только на черноземах. Отвечаю:

— У нас хлеб не сам по себе растёт, а его вырастить надо. А для этого в песок или глинку — удобрений побольше, да землю обработать получше, да после посева за всходами последить. Вот при этих условиях у нас наверняка сто пудов зерна с гектара собрать можно. И собирают там, где работают как следует. Зато в наших местах засухи бояться не приходится. Ну, а с сырой погодой воюем и ничего — хлеб вовремя убираем. Конечно, лишний часик при этом поспать нельзя, крепко разворачиваться надо. У нас это умеют. А посмотри — какой лён растёт! Метровый! А картофель у нас какой — вкусный, рассыпчатый. Такого ты у себя в области не едал!

— Зато не вижу я на ваших полях ни гречихи, ни проса, ни сахарной свеклы, ни многого другого.

— Это — дело наживное! Гречиху у нас, в Вашкинском районе, правда только в некоторых колхозах, уже издавна выращивают. Своя гречневая каша на стол подается. Пробовали для интереса просо сеять — получается. Опыта не имеем — это другое дело, а потребуется — будут и греча и просо. Давно ли кукуруза южным растением считалась, а теперь стали и се у нас выращивать. Еще немного — будут и у нас

такие сорта кукурузы, что спелые початки получать сможем. А что касается сахарной свеклы — так просто не взялись еще за нее. Опыты показали, что растет она у нас не хуже, чем на Украине, сахаристость ее даже выше. Будут и у нас свои сахарные заводы! Ну что еще добавить? В годы войны у нас, в Белозерском районе, даже табак колхозы выращивали, в план включали. Нужен был табак для армии. А так многие старики самосад себе сами готовят.

Значит, дружище, если мы в чем от юга и отстали, так не во многом. Зато юг нас по льну не догонит!

Слов нет, отсталым был наш край, и это до сих пор сказывается. Но ведь жизнь наша изменяется, хорошеет не по дням, а по часам. Давно ли колхозные коровы по пятьсот литров молока в год давали, а теперь и тысяча литров уже пройденное дело, и две тысячи в год — не удивленье. Пройдет год-другой — о трех тысячах заговорим. И от нас зависит породистый скот иметь — коров ярославок, романовских овец и многое другое. Только от нас!

А какие у нас чудесные луга, сенокосы! Какие у нас прекрасные травы! И взять всё лучшее с белозерских лугов — опять-таки в наших руках!

Сады? А кто нам мешает развести их? Только отсутствие опыта, знаний и опять-таки — сегодня садов мало, а завтра их будут сотни гектаров. Всё в наших руках.

О сельском хозяйстве области, точнее — нашего Белозерья, я мог бы писать тебе очень много. Но пока и сказанного достаточно.

Наш край — край лесов и озер. Какие огромные богатства получаем мы от наших сосен, елей, берез, осины, сколько тысяч кубометров нашей древесины уходит в города, на юг! Это ты знаешь. Но теперь стоит задача — взять из леса не только древесину, но и

всё, что до сих пор мы оставляли ст. нее. Я говорю о получении из порубочных остатков химической продукции. А что это будет сделано и в скором времени — ты знаешь по решениям партии.

Да, у нас нет гор, нет ценных руд, каменного угля, нефти. Но позволь, а разве не богатством являются наш торф, наши глины? Даже наши пески — не простая вещь. Если поискать — найдешь среди них и формовочную землю и белые кварцевые пески для выделки стекла.

Что касается железной руды, так есть у нас руды болотные. Когда-то из них местные жители сами железо добывали. Но теперь эти руды считаются бедными, есть лучше. Придет время — используем мы свои руды, научимся извлекать из них железо при наименьших затратах.

Что еще к этому добавить? А то, что еще мало исследован наш край, а поискать — найдем, может быть, такое, что с Урала везти не придется, из Сибири. Свое найдется и пойдет оно в общенародный амбар.

А наши озера, наши реки! Сотни озер и пока еще мало они включены в общий ход нашей жизни. А можно — и будет так, к той рыбе, что есть в них, разводить и другую, получать рыбы гораздо больше, чем теперь.

Реки? Не говорю уже о их транспортном значении — это многим известно. В свое время, может быть, и ты проведешь свой морской пароход по Волго-Балтийскому пути из Белого в Черное море. Нет, кроме этого наши реки уже стали давать электроэнергию. И это еще начало — дать они смогут во много раз больше. Опять-таки это зависит от нас, советских людей.

Прости, дружище, что у меня вместо письма получилась газетная статья, убеждающая тебя в том, что Белозерье наше — неплохое место! Но лучше написать

не умею, а ты задел меня своим вопросом о том, почему я так крепко привязался к Белозерью. Вот я и ответил, как смог.

Впрочем, приезжай ко мне в гости да летом или под осень, тогда познакомишься и с нашими людьми и с нашей природой, сам увидишь, что живем мы не в глуши, что трудимся не покладая рук для того, чтобы наш край был краем изобилия.

Жму руку! Приезжай!

ОТШЕЛЬНИК С ВЕЛЬБЫ



ПРОЙДЕШЬ ли ты, парень, в Тимо-
нино через Вельбу? Сомневаюсь!

У нас из деревни и то не каждый тропу знает. Ну, раз так настаиваешь да наши места полюбовать хочешь — иди, дело летнее. И ночевать в лесу у ко-
стра, знаю, не боишься. А не собьешься с тропы — на речке Вельбе кордон есть. Лесник там, Федоров. У него и переночуешь. Я тебе записку дам, на всякий случай. А то он чужих в лесу не уважает... Живо в сельсовет доставит, — так говорил мне председатель колхоза.

Ох, уж эти лесные тропинки! Не раз удивившись: да куда же она подевалась? Ведь была всё время под ногами и вдруг исчезла. Ищи ее не сердясь и не торо-
пясь. Вынырнет на другом конце поляны и поведет тебя опять в лесную глухомань!

И все-таки без особых приключений я выбрался к Вельбе, а увидев на ее берегу избушку лесника, совсем обрадовался. Погода к этому времени испортилась, заморосил дождь и ночлег под крышей был куда при-
ятнее, чем псд елкой у огонька...

Лесник, человек пожилой, обтесывал у крыльца колья. Отозвав свистом двух здоровенных собак, бро-
сившихся с лаем на меня, он коротко ответил на мое приветствие и равнодушно продолжал свое дело.

Я присел на чурку, закурил и стал тоже, по возможности равнодушной, рассматривать узкую речную долину, болотистые берега Вельбы и темные сосновые боры за нею. Но я чувствовал, что лесник молча изучает меня.

— Издалека ли и куда? — отрывисто спросил он, отбрасывая последний колышек.

Я подал ему записку председателя колхоза.

— По какому же делу сюда забрели? — спросил он, кончив чтение.

Я ответил.

Выслушав меня, лесник сказал:

— Ну что ж, пойдете в избу. Дождь сегодня невеселый, да к утру кончится..

— Почему так думаете?

— Скоро закат, а ветер заигрывать начал. Сломит погоду к утру.

В избе было чисто и тепло, но сразу было видно, что лесник живет одиноко: не чувствовалось женской руки. Ни занавесок на окнах, ни половичков. Но пол был подметен и недавно вымыт, еще не успел просохнуть.

К моему удивлению, у лесника в печи оказался хороший обед, а к чаю он принес блюдо с булочками.

— Кто это вам печет, Иван Федорович? — спросил я.

— Сам кухарничаю. Жена еще с весны к ребятам уехала, под осень только вернется, поди...

— Значит, зиму вдвоем живете?

— Раньше жили, а теперь она осень только здесь побудет, свои порядки наведет, ну, бельишко починит, ягод наберет, грибов и опять к ребятам. Скучновато ей теперь здесь жить. Пока ребятишки были, так и хозяйство держали. А теперь оно мне ни к чему. Зовут дети к себе, а я в города не хочу ехать. Живу

один. Привык... Лет-то мне не так еще много, шесть-десять третий. На пенсию можно, а что я с ней буду делать? Работу, пока ноги ходят, руки гнутся, я не брошу. Я тут и родился на этом кордоне. Родитель тоже лесником был.

Он поправил огонь в лампочке-десятилинейке, прислушался к шуму дождя и леса — ветер разгулялся не на шутку — и встал:

— За водой надо сходить, пока совсем не стемнело, да дров занести. А вы ложитесь на кровать. У меня клопов нет, уснете спокойно.

— А вы где ляжете?

— У меня ночлег в сенях в пологе. Душно мне в избе.

Пока он занимался хозяйскими делами, я подробнее осмотрел лесное жилье. В переднем углу рядом с семейными фотографиями висели под стеклом в красной рамке два ордена Красного Знамени и боевые медали. «Наверно, сыновей», — подумал я. На угловом столике лежали книги: старые школьные учебники, тоже, наверно, оставшиеся от детей, томик Некрасова, «Разгром» Фадеева, толстый том сочинений известного русского лесоведа Морозова, «Маугли» Киплинга. Рядом — стопка газет.

— Половина одиннадцатого, — сказал Федоров, возвратившись. — Рвутся облака, разгуливается погодка. Надо новости послушать. — Он наклонился над другим столиком, накрытым пестрой салфеткой, и... заговорил радиоприемник.

— Берегу питание, — объяснил лесник, присаживаясь на лавку. — Придешь в село — нет его в продаже, а когда привезут — до меня продадут...

Последние новости он выслушал внимательно, не проронив слова. Потом выключил приемник и стал прибирать на столе.

— Ордена эти, — кивнул я на рамку, — ваши?

— Мои. Первый еще в гражданскую получен. На Южном фронте. Второй в эту. Медали тоже.

— Возраст-то у вас такой... Как же вы на фронте оказались?

— А я добровольцем. Здоровье хорошее, а годы ни при чем. Ну, ложитесь.

Я погасил свет. Далеко где-то скрипел дергач — к ясному утру; чуть ли не под окном, в тростниках, попискивали утята...

* * *

Проснулся я не рано, умотала вчерашняя тропа. Дверь в сени была открыта, и я хорошо слышал разговор—кто-то еще навестил лесника. Разговор шел пустяковый — о том, что какой-то Сенька Тутаев украл колхозные вожжи, а потом взял в колхозе подводу и, запрягая коня у своего дома, позабылся и эти же вожжи в дело пустил.

Пришедший, видимо, только еще готовился к настоящему разговору, а пока сыпал и сыпал словами. Лесник только гмыкал и поддакивал. Среди деревенского люда так не ведется — взять да и выпалить сразу, зачем пришел.

Но, высыпав ворох новостей, гость, наконец, добрался и до сути дела.

— На твоём бы месте, Иван Федорыч, я не стал бы тут, как леший какой, в одиночестве сидеть. Да тут одному с ума сойти можно! Нет, не стал бы! Никак, озолоти меня с ног до головы! Как ты только терпишь?

— Терплю!

— Ну, еще семья при себе была бы, хозяйство. А так — разве житье?

— Мне и так ладно.

— Вот ты какой! Ну, чтобы к сынам уехал или к дочке... Ведь зовут наверно?

— Зовут.

— Ну, вот, видишь? В городе — культура! Туда-сюда сходить можно. И в кино, и в пивную.

— Это так.

— И подработать можно. Ты же и столяр хороший, и плотник.

— А мне и без этого денег хватает.

— Конечно, если по-твоему. Только скучно, говорю.

— При деле скучно не бывает.

— Это верно! Ну, а все-таки годы у тебя. Пенсия бы пошла. Живи на народе и радуйся, внучат качай. У одного сына надоело — катай к другому. Красота! В крайнем случае, нашел квартиру, живи со старушкой. А денег мало — требуй с сыновей, с дочки. Они хорошо зарабатывают.

— И я не хуже их. Сыт, обут, одет, при деле. Зачем мне ихние деньги?

— Прямо ты отшельник какой-то милостивый. В старину такие бывали.

— Дураки были эти отшельники. Лодыри! Богу молились, а от людей кормились.

— Хе-хе-е! Сказанул! Нет, верно, бросил бы свою работу. Пора! Я к тебе по делу. Сидел дома и надумал: схожу к Ивану Федоровичу, побеседую.

— Ну?

— Побеседую, говорю. Что, думаю, наверно, старик давно бы с работы на пенсию ушел, к деткам бы уехал, да кто сменит его на дальнем кордоне? Кто в такую глухомань пойдет? Пойти, думаю, разве мне. Дело нехитрое. А у меня семьяшка, коровенка, овцы, куры. Сенца бы я тут накопил, огородик разработал бы. Ишь, у тебя прежняя огородина кустами зарастает.

- Ну и что?
- Вот и говорю: сменю Ивана Федоровича...
- Из кладовщиков-то тебя в колхозе поперли?
- Скажешь тоже... Сам ушел. Канительное дело, учет сложный.
- Не ври — прогнали! К себе у тебя руки гнутся. В селе был — рассказывали...
- Ей-богу, сам ушел! Мало ли чего наговорят!
- Значит, теперь мне добро сделать хочешь?
- Думаю, добро! И я бы в тишине пожил.
- Всю бы рыбу в озерах выловил? Лосей бить бы стал?
- Иван Федорыч!
- Ты в моих руках сколько раз бывал? А теперь хочешь всю власть в лесу в свои лапы забрать? Чтобы вся твоя ширина и долина? Ты это и не думай.
- Зря ты это, Иван Федорыч, зря!
- Не зря! Пусти тебя сюда — ты на трех коров накопишь...
- У меня одна только.
- На двух коров на сторону продашь. Знаю я таких лесничков. Вон на Вардобое Варламов весь в тебя. Хапок-мужик!
- Иван Федорович! Да зря ты на меня сердишься! Поставил бы лучше самоварчик, мы бы за столом посидели. У меня половинка для разговору припасена.
- Не добавить ли и мою пол-литровку? Вон у меня в кладовке стоит, еще с зимы не выпита.
- Ой и шутник! Да я бы, коли узнал бы, что в дому моем пол-литровка стоит, так глазами бы ее выпил!
- А я нет. Так, значит, на мое место хочешь?
- Тебя же выручить думаю.
- И не мечтай! На днях в село пойду, прямо так и скажу в лесничестве: коли придет к вам Макарович-

кин в лесники куда бы ни было проситься — не принимайте... Хапок!

— Чего ты ругаешься? Я с добром, а он...

— Правда — не ругань! А я отсюда не уйду. Вот когда унесут меня отсюда... Понятно?

— Несговорчивый ты мужик.

— Такой зародился.

— Значит, не согласен?

— Сказано!

Наступило молчание. Потом гость, видимо, поднялся:

— Ты, Иван Федорыч, как собака на сене. Сам не пользуешься и другим не даешь.

— А уж это как хочешь. Уходишь? А то обожди, у меня прохожий человек ночует. Сейчас я самовар налажу, чаю попьем. Все ж таки ты дорогу прошел.

— Какие тут чай! Кабы дело решено было, тогда...

— Тогда бы и пол-литра на стол? Так что ли?

— Конечно бы так. Соглашайся!

— Дешево покупаешь — домой не носишь. От чаю не отказывайся. Не люблю, когда от меня человек голодным уходит.

— Это верно. Да некогда мне за чаями сидеть. Говоришь, кто-то ночует у тебя? Кто такой? Вон кто! Знаю! По делу? Спит еще?

— Спит. Без дела только ты ко мне пришел.

— Сердитый ты мужик. Ты про наш разговор никому не передавай. Ладно?

— Сам проболтаешься. И так все в колхозе знают, что у тебя лыжи наострены от настоящей работы.

— Ах, как ты это несправедливо говоришь. Когда я от работы бегал?

— Всегда! Вот теперь, видишь, хуторок себе ищешь. Ну, коли чаю не хочешь — как хочешь. А мне гостя побудить надо...

— Всего доброго. Надумаешь уходить с работы — дай знать. Не сердись.

— Знать дам. Только не тебе...

— Тьфу!

К вечеру, когда я выполнил намеченную работу, лесник вывел меня на давно заросший травой просек.

— Километра три по нему пройдете, — вот вам и большая дорога. А там, может, попутно автомашину найдете. Так-то скорее до райцентра доберетесь, чем обратно тропами путаться, — наставлял меня Иван Федорович.

Мы присели покурить.

— Кто это к вам приходил? — спросил я лесника. Сам он за весь день и словом не обмолвился об утреннем госте.

— Так, один тут ловчило есть в недалеком колхозе. Ищет местечко потеплее.

— Колхоз этот я знаю. В нем хорошо живут, зажиточно.

— Те живут, которые работают. А Ленька Халок — какой он колхозник? Только по названию.

— Неужели ему выгоднее лесником служить?

Иван Федорович старательно втоптал окурок в землю. Ответил не сразу:

— Как сказать? Лезут у нас нонче в лесники не настоящие люди. А всё больше такие, как этот Ленька. Во-первых, он у людей не в приметности будет. Это — раз! Второе — зарплата у нас не так большая, но ежели другое посчитать — больше и не полагается. Тот же Ленька в лесу на свою корову накосит, да еще на продажу пудов сотню натюкает. Ну, и дрова привольные. Огород раскопает, а то еще и пшенички посеет. Дают

лесникам и другую работу, кроме лесоохраны — посе́вы леса, прочистки, заготовки кое-какие. Тоже заработок.

Он опять замолчал, словно не решаясь высказать всё до конца. Наконец, заговорил медленно, будто нехотя:

— Леснику по закону полагается браконьеров преследовать. Немало их еще у нас — и по дичи, и по зверю, и по рыбе. А такие, как Ленька, сами первые браконьеры. Будет ли он другим в этом перечить? Нет!

Он встал, перекинул ружье за плечи:

— Вот что я скажу, товарищ дорогой. Не таких к лесу надо допускать, как этот Ленька. Лес беречь — святое дело! Тут, как на военной службе, присягу надо давать народу. А у нас еще так водится: только бы лесников нанять, а не глядят, что это за люди? Да сплошь и рядом лезут в лесники первые колхозные лодыри, вот такие хапки, как Ленька. Нет! Нельзя так! Нельзя! Ты лесник — ты солдат! Понятно? Ну, прощай, пока!

И неторопливо пошел затравяневшим проселком — рослый, сутулый.



РАССТАННАЯ БЕРЕЗА

ТАКИМ или не таким представлял себе возвращение на родину Григорий Иванович, но сегодня он был твердо уверен, что именно так и должно быть — тихий золотой вечер ранней осени, перекличка журавлей на сжатых полосах, дальний рокот трактора, постукивание телеги по неровному бульжнику шоссе. И рядом — бесконечно дорогие лица жены и сына. Как знаком этот вечер, как знакома дорога! Скоро она выбежит из бора, и перед путником широко развернутся приречные луга, усеянные стогами, серебряные пятна озер, плавный изгиб реки, а за ней — родная деревня.

Сколько раз вспоминалось всё это в краткие перемены между боями, у солдатского костерка, где-нибудь в лесах Белоруссии или украинских степях. Но особенно ярко вставали перед солдатом видения родных мест в те дни, когда Советская Армия несокрушимым потоком шла Германией к логову фашистского зверя, к Берлину. Аккуратные, с посадками по линейке, немецкие леса, прочищенные и приглаженные казались будто и не лесами, а просто скучными, без птичьего пенья парками. И небо там, в чужой стороне, не ласкало солдатскую душу...

А тут... За бором в глаза путникам брызнули лучи

заходящего солнца, и Григорий Иванович, словно здороваясь с родными местами, снял с головы поношенную пилотку:

— Дома! — дрогнувшим от волнения голосом только и смог сказать он.

Дорога пошла под уклон, к реке, к перевозу. И тут Григорий Иванович потянул вожжи, остановил коня:

— Таня, а березка где? Расстанная?

— Березка? Ветром ее сломило в прошлом году. Старая она уже была, с дуплом. Вон, только пенёк и остался.

Григорий Иванович укоризненно, хотя винить было некого, покачал головой и тронул вожжи:

— Жалко старушку! Заветное дерево было. Наверно ей годов двести не меньше было. А помнишь, Таня, я парнем еще был, с тобой гулял, провожали нас на службу, у этой березки я с родными попрощался и тебе словечко закинул. Помнишь?

— Как не помнить! — легонько вздохнула Татьяна. — Это не забывается. Я, как по обычаю велось, на березку алую ленточку привязала. И другие девчонки тоже по ленточке привязали. Это, чтобы вы нас не забывали...

— Папа, ты говоришь березке двести лет было? — спросил Игорь, до сих пор с молчаливой радостью жавшийся к отцу, которого он не видел почти четыре года.

— Ну, может не двести, а лет полтора, думаю, было. А что?

— И всегда, кто в солдаты уходил, у этой березки с родными прощался?

— Такой обычай был. Хоть на войну, хоть в мирное время на службу парень уходил — у этой березки расставанье было. Оттого и прозвали березку расстанной. А ну, Игорек, возьми коня под уздцы, спускаться к парому надо.

А когда переехали реку, Игорь опять отца спросил:

— Я, папа, считал, что если березке двести лет было, то у нее провожали и тех солдат, что к Суворову служить шли и против Наполеона, и когда Севастополь обороняли. Верно?

— Верно! Здорово ты историю знаешь.

— Ого! Я по истории пятерочник. Вот только... — он погрустнел, — по математике больше четырех не получал еще...

— Нажимай, сынок, нажимай и на математику. Без нее и дома не построишь и из пушки не выстрелишь. Ну, вот и родная деревня!

* * *

Руки просили работы, стосковались по ней за годы войны, и Григорий Иванович отдыхал дома только три дня — таков деревенский неписанный обычай. А отдохнув, сразу же втянулся в привычный колхозный труд, с интересом, новыми глазами присматриваясь к тому, что было обычным четыре года назад. А теперь он видел, как пошатнулся колхоз за годы войны, сколько молодых крепких людей осталось «там» и никогда не вернется к родным семьям. Но в то же время он с удивлением и гордостью отмечал, что колхоз все эти годы тянули женщины и старики. Многих Григорий Иваныч в живых не застал. Умер дед Королев — цусимский матрос, мастер на все руки, и без него кузница стояла на замке и горько пахло от нее остывшим горном. Не стало и Тихона Лаврикова, знаменитого любителя хороших коней, коневодства. При нем в колхозе были лошади на зависть не только соседям, но и всему району. Григорий Иванович с усмешкой вспомнил, как перед самой войной были они, группа колхозников, в Москве, на Всесоюзной сельскохозяй-

ственной выставке, и там дед Лавриков как добрался до павильона «Коневодство», так и застрял на все пять дней, дружбу с конюхами свёл, помогал им ухаживать за конями и даже вечером в цирк не соглашался идти, пока кто-то не сказал ему, что в цирке покажут и учебных лошадей...

А теперь лошади в колхозе не те, совсем не те. И сбруя не в порядке. Да мало ли чего надо сделать, чтобы опять окреп колхоз, вышел на широкую дорогу. И работы хватало.

Всё же в первое воскресенье Григорий Иванович отпросился у бригадира на денёк по своим делам.

— Гуляй, гуляй, парень, хоть месяц! — говорил бригадир. — По закону гулять имеешь право!

— Особого гулянья мне не надо. А так — дело небольшое есть.

— С ружьишком побаловаться думаешь? Сходи, сходи! Уток нынче на Сан-озере — тьма! Бить-то их некому было.

Но Григорий Иванович уже шагал к дому Макарова — ровесника и товарища по службе. До войны удалей его на пляски, на песни, на всякие выдумки не было парня в деревне. Но война изменила весельчака и забавника. Стал он молчаливым и даже угрюмым и редко смеялся. Многое пришлось пережить человеку, и он не любил вспоминать пережитое. Но дома, к общему удивлению, за работу взялся до треска в спине. А ведь до войны на работу только после уговора шел...

— Пошли что ли? — спросил его Григорий Иванович.

— Сказано — сделано! Пошли! — буркнул Макаров, взваливая на плечо вещевой мешок, из которого торчал конец пилы-ножовки. — Лопату взял?

— Лопата — у крыльца, топор за поясом.

На перевозе, пока паром пересекал тихую лесную

реку, Григорий Иванович посмеивался над перевозчиком дедом Серафимом Огурцовым. Было деду чуть ли не сто годов, и всю свою жизнь по летам провел он на реке, паромничал. Еще мальчишкой Григорий Иванович уживал окуней у перевоза, выпрашивал крючки у деда, в дождь отсиживался в его прокопченной землянке.

— Что-то у тебя, дедушка, нос красным стал? От сырости не должно быть, ты к воде привык.

— От сырости да не от водяной! — кряхтел дед, вцепившись в канат. — Это с мая, нет, малость попозже, у меня нос красноту заимел. Все вы, служивые, виноваты. Как стали домой возвращаться — каждый деду на пароме рюмочку поднесет и хорошей папиросой угостит. И отказываться грех. Вот на носу и отзывается.

Дед спиртного не пил и не курил, а нос у него был красным издавна, но старик любил показать себя личачом. Макаров, отвернувшись, посматривал на реку, потом взялся за канат:

— Отдохни, дед, пора тебе!

— Не на мое ли место, солдат, метишь? Не уступлю!

— Вроде того. Пора бы, наконец, вместо парома мост построить. До войны об этом поговаривали да и позабыли. Вот и будет тебе, дед, отставка!

— Это дело другое. Только я с реки никуда! Сторожем на мосту буду!

Паром ткнулся в берег.

С пнём Расстанной березы пришлось-таки повозиться. Крепко держалось старое дерево за родную землю. Не раз присаживались отдохнуть, покурить, утирая потные лбы, но всё же вывернули пень, откатали его в сторону.

Потом вместе отыскиали в соседнем перелеске моло-

дую кудрявую, прямоствольную березку, вырыли ее с большим комом земли на корне, кряхтя от натуги, принесли деревцо к яме, что зияла на месте старого пня.

Посадив березку, опять присели отдохнуть. Макаров развязал вещевой мешок, достал два куска пирога, бутылку с молоком, кружки.

— Закусим, — коротко сказал он.

— Согласен. Я хлеба не взял, думал до полудня управимся.

Молча поели. Страхивая крошки с колен, Макаров сказал:

— Скамеечку я сделаю. Проходим отдыхать. Рядом с новой Расстанной березкой.

— Ну а я, пожалуй, тут еще две-три черемухи посажу да рябинок несколько. Приметил я их в перелеске. Подходящие. Полукругом посадим. Хорошо получится.

— Хорошо! — согласился Макаров. — На легкой гонит кто-то сюда.

Машина остановилась у березки. Хлопнула дверца, вышел секретарь райкома партии. В райкоме работал он уже почти десять лет и был хорошо знаком Григорий Ивановичу и Макарову.

Поздоровались, опять закурили, завели, по деревенским порядкам, разговор издалека. Потом секретарь спросил, что они тут делают. Григорий Иванович помялся, но рассказал о Расстанной березке, о том, что вот посадили новую вместо упавшей старой.

— Может, скажете — суеверие какое! — смущенно улыбаясь, закончил он.

— Нет, суеверия тут не вижу. Просто интересный обычай. Чтобы лучше уходящий солдат родные места помнил. Какое же тут суеверие, — серьезно ответил секретарь. — Значит, помнилась вам эта березка?

— Помнилась! — вздохнув, признался Григорий Иванович. А Макаров только головой кивнул в знак согласия.

— Вот — хорошо! Говоришь еще черемухи и рябинки посадить желаете? Красивый уголок устроите. Надо родину украшать! А из чего скамейку сделаете? Доски нет, столбики нужны.

— Елочку срублю, вытешу всё, что надо, — ответил Макаров вставая.

— Погоди, погоди! Лишний труд! Вася! — окликнул секретарь шофера, копавшегося в машине. — Сделай хорошее дело — съезди вот в их колхоз, скажи председателю или бригадиру Кузьме Петровичу: пусть доску для скамеечки поищет. Есть там у них доски. А я тут с ребятами побуду, тоже деревцо на свой пай посажу.

Через час-другой, когда были посажены не только черемухи и рябинки, но даже и куст калины и редкий на севере клён, когда новая скамеечка своей свежеструганной белизной манила прохожего отдохнуть минутку, секретарь уселся на нее и рядом с ним уселись остальные.

— Вот теперь о другом речь заведем, — сказал секретарь. Но опять-таки начал не сразу — посмотрел на вновь посаженные деревья, сорвал листик березки, помял его в пальцах:

— Осень, осень! Вот-вот лист пожелтеет, осыплется. Вовремя посадку сделали. Расстанная березка! Хорошо кабы у ней никогда никого на войну не провожать. А придется пока и в мирное время. Есть еще у нас враги, нельзя нам без армии. Нельзя! А будет время — будут у березки провожать молодых людей на учебу, да на труд в другие места.

— Хорошо бы! — вздохнул Макаров.

— Да! Хорошо бы поскорее это время пришло! А

дело у меня вот какое. Еду я в ваш колхоз, с недельку в нем побуду, надо с обстановкой получше познакомиться. Как вам, солдаты, председатель нравится?

— Мог бы и получше быть, — насупился Макаров. — Этот слабоват. Да выбирать не из кого. Сами знаем.

— Ну, теперь, пожалуй, есть из кого. Вы-то как, солдаты, в колхозе думаете остаться?

— Куда же больше? — удивился Григорий Иванович. — Это смолоду блажь бывает — на новые места лететь. А мы в чужих местах побывали и думаем, что лучше наших нет. Так, Макаров?

— Правильно! — Макаров швырнул окурок на землю и притопнул по нему каблуком. — Где родился, там и пригодился.

— Так! Рад это слышать. Очень рад. Вижу — есть теперь колхозникам из кого выбирать. Из Макарова, я думаю, хороший бы бригадир получился. Как думаешь, Макаров?

— Что колхозники решат, а я на всё согласен, но с одним условием.

— С каким условием? — насторожился секретарь.

— Мост надо обязательно вместо нашего перевоза. Вот какое условие. Без моста у нас не колхоз будет, а горе луковое. Это колесный трактор еще кое-как на нашем пароме перетянешь, а дизельный не перевезешь. Или комбайн, или какую другую машину. Мост нужен! Лес мы колхозом заготовим, да и другие заречные колхозы пособят, люди будут. Только бы район навстречу пошел.

— Это правильная мысль, очень правильная, товарищ Макаров. Пожалуй, это условие мы с тобой договоримся выполнить. Ну, а насчет Григория Ивановича... — он поднялся и закончил: — насчет Григория Ивановича потом поговорим. Расстанную березку по-

садить — хорошее дело, а есть еще много, много перед нами хороших дел и забот. Садитесь-ка, товарищи, в машину. Солнце уже вниз катится, мигом вас домой доставлю...

Медленно оседал на дорогу клуб пыли, поднятый машиной. Всё замерло в предвечернем покое. Из зарослей ольхи вылетела какая-то пичужка, чуть слышно пискнула и села на веточку Расстанной березки. Потом пискнула еще тоньше и звончее и перепорхнула на куст калины. И с куста упал на траву первый еще желтый, незамеченный людьми, осенний лапчатый лист.

СТАРИКОВСКАЯ БЕСЕДА



ОТЕЦ моей матери — дедушка Петр Силантьевич, по прозвищу Шагай, имел свой завод. Был он не только хозяином этого завода, но и единственным рабочим, и сам же разъезжал по окрестным деревням, продавая свою па-

хучую, но крайне необходимую в крестьянском хозяйстве продукцию: деготь простой, что добывают из смолистых сосновых пней, и деготь дорогой, скаловый — из бересты.

Управившись с весенним севом, дед до сенокоса забирался на завод, являясь домой только по субботам, в баню. Но и после бани руки его оставались черными.

Для меня, мальчишки, побыть с дедом на заводе было делом очень интересным. Он охотно брал меня с собою для веселья, а то в лесной глуши, в одиночестве, и совсем ошалеть можно. Завод представлял из себя почерневший от времени сруб с дерновой крышей, глубоко, до пятого бревна осажженный в песчаный косягор Крутого ручья. Жестяной «казан», в который закладывалось сосновое смолье или береста, казался мне чем-то таинственным. Под казаном всегда жарко рдели угли. От казана по косягору тянулась черная жестяная труба, проходившая через кадушку с водой — хо-

лодильник. Из другого конца трубы, тоненько журча, бежала и бежала в подставленную корчагу струйка зашастистого дегтя.

По тому берегу Крутого ручья, где дымил дедов завод, на многие версты раскинулся сосновый бор. На другом берегу хмурым ратью стояла еловая чаща. А сам Крутой ручей был звонким и прозрачным. Не сразу и увидишь его, разве только по журчанью воды догадаешься, что в непролазных зарослях малинника и смородинника бежит он, веселый и говорливый.

Дедов завод представлялся мне колдовским местом. А сам дед очень был похож на сказочного лешего — в домотканной до колен рубахе, стоптанных лаптях, в ветхой зимней шапке, которую он не снимал с головы даже в самые жаркие дни. С клочкастой сивой бородой и тусклым взглядом, Петр Силантыч словно был сам частью леса, окружавшего завод.

С утра дед закладывал в угли под казаном чуть ли не полмешка картошки, пек ее. Ржаные черствые ломти хлеба, картошка с крупной солью да деревянный ковш с водою из Крутого ручья — вот и весь харч старика. Но этот харч по мальчишескому пристрастью ко всему тому, что дома не попробовать, был для меня вкуснее всякого лакомства. Впрочем, я разнообразил его ягодами черники и голубики и был вполне счастлив дикой лесной волей.

Просыпался я поздним летним утром. Внутри избушки стоял жаркий сумрак, синий огонек мотыльком порхал над углями под казаном, а в приоткрытую дверь видна была солнечная поляна перед заводом, темные ели за ручьем и дед, неторопливо коловший, мельчивший сосновое смолье. Я наскоро завтракал печеной картошкой и отправлялся на исследование леса. Дед обычно даже и не замечал моего ухода, а если и замечал, то коротко бросал мне вдогонку:

— Не заблудись!

И продолжал возиться с корявыми сосновыми пнями, похожими на бурых огромных пауков, нелепо раскорячивших огромные лапы.

В полдень, до оскомины покормившись ягодами, я прибегал на завод, опять брался за картошку и, усталый от бродяжничества, занимался разными очень нужными делами — строил плотину через ручей, учился плести корзиночки и солонки из тонких, только что выдранных из земли корешков сосны, а если наступала пора заполнять казан смольем, то помогал деду.

Под вечер лес, такой ласковый и простодушный днем, становился задумчивым, а ближе к ночи — угрюмым и загадочным. И я уже не отходил от избушки, сидел на ее пороге, с каким-то сладким ужасом следя, как в траве начинают мерцать светлячки — крохотные осколки луны, как думалось мне. Иногда в бору гукал филин, или к самой избушке неслышно подлетала сова, то почти касаясь земли, то косо взмывая к вершинам сосен.

И я с содроганием бросался в избушку, плотно прихлопывал за собою тяжелую дверь и успокаивался, слыша, как дед похрапывает на нарах, а угли мирно, по-домашнему, тлеют под казаном.

Иногда к деду приходили на беседу такие же, как и он, старики-смолокуры. Вся деревня, в которой свековал свою жизнь мой дед, занималась смолокурением. Черней и горчее дегтя была жизнь этой деревни, и копейка, вырученная за деготь, стоила дороже иного рубля — она помогала многим протянуть до новины, до нового урожая.

Впрочем, никакой беседы не получалось. Попросту сидели старики на пороге, попыхивали трубками, изредка перебрасывались замечаниями о том, что теперь приходится всё дальше и дальше выезжать в бор за

смольем, вблизи всё уже подобрано, или же прикидывали, рассчитывали — не пора ли ехать по деревням с дегтем: скоро сенокос, и покупателя в деревнях не будет, все на луга уйдут, да и самим старикам надо покосить.

* * *

Однажды я наколол себе ногу и вынужден был дня три просидеть у завода. Перепадали короткие летние ливни, приходилось иногда часами не вылезать из избушки. А дед был неразговорчив и либо сидел и курил, либо возился со смольем, бочками и кадушками.

— Надо тебя домой отправить, в деревню, — ворчал он. — Чего тебе тут больше делать. Да и я скоро свою копоть прикончу...

Но тут судьба послала мне кусочек интересного.

С утра распогодилось, над землей дрожала легкая дымка, травы, обильно смоченные дождями, буйно зеленели; благоухали;пряно пахли болота разомлевшим под солнцем багульником, лекарственным запахом торфа.

Нога моя поджила, но дед не пустил меня в лес:

— Вечером домой пойдем!

И я с нетерпением ожидал вечера, вспомнив, что сейчас на реке хорошо клюет рыба, а я пропадаю попусту у какого-то ручья, в котором водятся только лягушки.

— Едет сюда кто-то? — пробормотал дед. — Мерин вороной. Телега на железном ходу. А мужик в красной рубахе. Кто же это? Никак Андрюха Ладоскин? Он самый. Ишь ты!

— Петру Силантычу, дружку! — заорал приезжий, круто останавливая лошадь у дверей завода. — Вон куда ты, старый леший, запрятался! А я нашел тебя! Принимай гостя!

Он бойко соскочил с телеги, замотал вожжи за ствол березки, бросил к ногам мерина охапку травы и лишь после этого, хромая, подошел к нам.

— Перво-наперво угости ты меня водичкой — смерть пить хочется, а потом разговоры вести будем. Внучонок это твой, что ли? Ну-ка, малец, принеси водички похолоднее да в ковшичке, который побольше!

Напившись, он удовлетворенно крикнул и присел на порог:

— Жив, говоришь, Силантыч? Ну и я жив! Хо-хо-хо! А знаешь, почему мы с тобой всех ровесников пережили? Не знаешь? Ну и я не знаю, а так полагаю, что на том свете черти в своей конторе наши списки потеряли!

Он опять гулко захохотал, хлопнув деда по спине. Я с любопытством разглядывал гостя. Широкоплечий, в хороших сапогах, красная рубаха распояской. Лицо тоже красное, распаренное зноем и, я догадался об этом, рюмочкой водки. Борода гостя очень понравилась мне — широченная, рыжая с искрой седины. А голова — лысая. Шапки нет — либо потерял, либо на телеге под сено сунута, — так решил я.

— Живем, живем, Петруша! Мы ведь с тобой одногодки! Как же! Тебе на девятый десяток и мне столько же. Верно? Только зачем ты горбишься? Не время, рано еще, Силантыч! А знаешь, почему ты горбишься, а я нет? А потому, ровесник, что ты век свой на барина работал да в лесу пни ковырял, а я — вольный бурлак на реке! Хо-хо-хо!

Дед слабо улыбался.

— Что же ничем не угощаешь? Скупишься? Оно и то: ваша деревня — Голодаево. Знаю, знаю, на одной картошке сидите! Ну, тогда я тебя угощать буду! Где у тебя тут стол да скатерть? Не имеешь? Говоришь, в избушке столик есть? При такой погоде не полезу

я в твою копильню, еще на том свете черти в такой меня заставят работать. Давай-ко, вон под ту березку, в тень...

А под березкой гость выложил на попонку порядочную краюху хлеба, селедку, завернутую в обрывок газеты, несколько огурцов и даже кусок ситника. В довершение всего он торжественно вытащил из кармана початую бутылку водки и граненый стаканчик.

Дед бережно принял этот стаканчик, медленно вытянул водку. Выпил и гость. Помолчали, закусывая.

— Ну, сначала о деле, — начал гость. — Деготь имсеешь?

— Как не иметь? На то и гоню его. Жить-то надо?

— Простой весь возьму у тебя. И деньги сейчас же на бочку.

— Не дегтем ли торговать хочешь?

— Не мне деготь надо, на сплав. Нонче такой порядок — на каждой гонке должна быть и лодка. Лодок наделали, теперь их смолить надо. Вот и послали меня дегтю добыть. В цене сговоримся, не обижу. А ну-ка еще по стаканчику...

Договорились о цене, о том, куда дед должен привезти деготь. Бутылка опустела. Ладошкин, расстелив на траве свой пиджак, улегся поудобнее, спросил:

— Бабка твоя жива?

— Что ей, старому помелу, сделается? Нас с тобой переживет.

Мне надоело сидеть у стариков, и я отправился на ручей. А когда я вернулся, то уже оба старика лежали на травке. Андрей Ладошкин, еще более раздумавшийся, слушал деда. К моему удивлению, старик разговаривался...

— ...Вот и остался я один. Ни жены, ни детей — всех в одни сутки свернуло. Ну, погоревал, а что дальше? Опять жениться? Оно, конечно, без этого нельзя

в крестьянстве, да по закону хоть три месяца обождать требуется. Я другое надумал — пришел к приказчику: так и так, Яков Ионыч, мое дело одинокое, а не пустишь ли меня в Питер, на оброк? Через год вернусь, коли нужно, опять на тягло сяду. Ну, не скажу худого на этот раз про Якова Ионыча. Отпустил меня. Лошадь, корову, то-се я продал и — в Питер. Повезло — скоро работу нашел, только не в самом Питере, а поблизости, в Сестрорецке, на заводе. Год этот хорошо прожил, сорок рублей оброку отослал барину. Да. А паспорту срок. Попросил, написали приказчику, чтобы и на другой год паспорт выдал, выслал. Жду, работаю.

Да вишь, с мастером не поладил я маленько, такой он, не тем будь помянут, дьявол, прижимистый был, особенно к нам, которые из деревень, барские, оброчные. Бывало, с каждой получки по четвертаку ему собирали на опохмелку, как говорилось. А тут — разговоры о воле, вот-вот, мол, даст ее царь. Все промеж себя об этом толковали. Ну и решили: не давать мастеру на опохмелку, скоро сами вольными будем. И не дали! Он давай к нам придирается. Глядь, в одно время по нашим казармам полиция пошла паспорта проверять, верно мастер подучил. Ну, и до меня черед дошел. И погнажи нас по своим деревням по этапу.

— Ну и что же? — позевывая, спросил Лядошкин, видя, что дед задумался.

— Да что? Ну, пригнажи нас и прямо на барский двор. Барин Иван Павлыч сам вышел. В халате. Здоровенный барин был, тушистый. Генерал! Глянул на нас, баеет приказчику Якову Ионычу: «Отвести на конюшню этапников, каждому по двадцать пять розог, потом в людской накормить. А утром им от меня решение выйдет».

— Но? Стерва у вас был этот генерал! Довелось мне видывать его. Да мне наплевать, не больно я его и боялся, я крестьянин государственный! Ну-ну, рассказывай.

— Вот и говорю — посекали нас, потом накормили. Не скажу — накормили хорошо. А наутро привел нас Яков Ионыч к террасе. На ней, за белыми занавесками, барин сидит, кофей кушает. И барыня рядом. Она то худущая, злая была. Нас в ряд перед террасой поставили. Стоим, ждем. Подходят девки, бабы — все из барских деревень. Свой, бабий оброк принесли. В воскресенье дело было. С баб — по холстине тонкой белёной полагалось, с девок — по полумерной корзине черники. Малина поспеет — своим чередом и малины принесут. Это, значит, в барынин счет. Барыня каждый кусок холстины сама осмотрела, который по ейному не больно тонок, губы подождет да бабенку тем куском по лицу — хвись: «Чтоб было мне завтра принесено, что требуется, а не такая дрянь!». Ну, бабы ушли, девки остаются. Поставил их приказчик в один ряд, а барин нам говорит: «Которые женатые — отойдите в сторонку, а холостые, вдовы выбирайте себе жен — эвон девки какие у меня краснощекие, крепкие, что репки! Ну-ну, побыстрей, некогда тут с вами!»

— Много ли вас таких женихов оказалось?

— Пятеро, помнится. Девки стоят, помалкивают. Попробуй против барина слово выронить. Вот я Матрену наглядел и на нее пальцем: «Эту мне!». Яков Ионыч в книжечку записал — кто жених и кто его невеста. Вскорости и повенчали нас. На тягло посадили, стал я опять крестьянствовать...

— А лошадь, корову где взял?

— Барин дал со своего двора. Ну, само-собой, цену определил, к оброку причислил. В рассрочку, значит. Коровенка еще туда-сюда, средненькая, а кобыл-

ка старенькая, думал и жеребёночка не будет. Да вырастил все-таки Рыжка. Добрый мерин был.

— С Матреной первое время как жили?

— А ничего! Не мы первые, не мы последние в барской руке были, из горсти выглядывали. Конечно, всякое бывало. Матрена иной раз и попрекнет: «Разве пошла бы я за тебя, кабы не барский приказ?». А я ей: «И мне, мол, не больно хотелось тебя брать, вижу по лицу — ретивая, да куда бросишься? Приходится век терпеть». А потом ничего. Живем... Так, говоришь, и под осень вам деготь на сплав потребуется? Я приготавлию...

Но Ладоскин уже спал, уткнувшись носом в траву и положив на руки голову.



КЕДРОВЫЙ БОР

СТАРЫЙ мой друг прислал мне посылку с Дальнего Востока, из тех мест, где когда-то путешествовал Владимир Клавдиевич Арсеньев со своим проводником и товарищем Дерсу Узала. Была в посылке копченая кета, были маньчжурские орехи в крепчайшей скорлупе, поддававшейся только обуху. Друг мой — охотник, и мне, тоже охотнику, прислал хвост фазана: «Смотри, мол, на каких птиц охочусь я в Приморье». Кроме того, на самом дне ящика лежала спелая кедровая шишка.

К фазаньему хвосту я отнесся равнодушно. Ну что ж, красиво-то красиво, а все же у нашего тетерева хвост куда красивее — иссиня черный, как вороненая сталь, снизу белый, а главное, изогнут-то как — лирой!

А кедровая шишка привела мне на память одни мои поиски...



В нашем селе великим знатоком всех окрестных озер, рек и речек слыл Дмитрий Иванович Кранов. Повидал он за свои шестьдесят пять лет многое: и в сол-

датах бывал, воевал, и плотничать приходилось за три-девять земель от дома, но лучше своих родных лесов и озер ничего не признавал. Мы, рыбаки-удильщики, частенько забегали к нему за советами и справками... Дмитрий Иванович ничего от нас не таил, по-дружески делился с нами своим опытом, знаниями. Все, бывало, расскажет: и какая рыба в том или другом озере водится, и на что ее удить надо, и в какое время, и на какую снасть и приманку.

Зашел я как-то к нему:

— Иду я завтра, Дмитрий Иванович, в Переволоцкой сельсовет. Никогда я там не бывал. Так вот скажи, брать ли мне с собой лески и крючки, удастся ли на Переволоцком озере поудить и где именно?

Отложил старик сетевязную иглу, снял очки, закурил и, подумав, ответил:

— Отчего же лесы с собой не взять? Взять надо. На Переволоцком озере поудить можно. Окунь там жирный, крупный, язь имеется, щука, сорога. Правда, горчит сорога в это время, травки хватила, но ведь она тебе только живцом на щук нужна. Можно удить там прямо с берега. Берега плотные, но лучше с лодки, у отмелей. Хорошая каменистая отмель, луда, есть метрах в ста от Смоляного мыса. Еще лучше отмель против Кедрового бора.

— Откуда у нас, в вологодских краях, кедры взялись?

— Погоди, не торопись, дай обстоятельно расскажу, а то у воды останешься без рыбы.

Принес чистый листок бумаги, карандаш и мне карту озера составил, отметил крестиками все хорошие местечки для удильщика.

— Ну, а что о кедровом боре скажешь? — не отстаю я от старика.

— Что знаю, то и скажу. Есть такой бор на Перс-

волоцком. На мысу, что полее здания сельсовета, Сухой мыс, с камушком. Кедров там сотни три будет, здоровенных. Кора у них, как у нашей сосны, только темная. И хвоя похожая. Шишки крупные, во какие шишки! Видимо, этот бор не самородный, а саженный, — рядами кедров растут и все, как один. Однако увидишь сам.

— А кто и когда их посадил?

— Про это не знаю, я больше насчет рыбы знаок. А ты спроси в Переволоцком сродственника моего Максима Николаича, он, верно, знает. И еще запомни: окунь на Переволоцком, особенно на лудах, не столь на червя, сколько на кусочки рыбки клюет. Разрежь сорожку на кусочки, насади на крючки и забрасывай. Крупные окуни будут клевать.

* * *

В Переволоцком сельсовете при первой же возможности я познакомился с Кедровым бором. Ровными рядами стояли красавцы-кедров на каменистом мысу, что длинной косой вдался в озеро. Мягкий зеленый мох стлался по земле — ни ломаного сучка, ни какого-либо другого древесного хлама не было на нем; казалось, кто-то строго следит за тем, чтобы чисто было в роще.

Чуть шумели вершины кедров от летнего ветерка. Синело полуденное небо, и тихо плыли по нему облачка — не из далекой ли Сибири они, оттуда, где в тайге стоят такие же могучие красавцы-кедров.

Кто же, когда и зачем надумал посадить кедров здесь над озером?

В тот же день познакомился я с Максимом Николаевичем. Вслась поговорили мы с ним об уженье окуней, об охоте на белок и глухарей. Стал я выпы-

тывать у старика, не знает ли он чего о Кедровом боре.

— Немного знаю! Посадил его Клим-ткач, а давно ли и зачем — не ведаю.

— Может быть, кто-либо другой из стариков про это знает?

— Вряд ли! Старее меня в деревне никого нет. Одно скажу: уважают у нас этот бор, берегут — заветный! Может, заметил — мусору, лому, да и кустов там нет, кроме можжевельника. Молодежь наша там вечерами гуляет. Это исстари так ведется — молодежь и бор бережет. Изгородь вокруг бора всегда в исправности, за этим наши ребята следят. И я в молодые годы бор оберегал...

★ ★ ★

Дня через три после разговора с Максимом Николаевичем пришел я в деревню Глухарево в том же Переволоцком сельсовете. К моей досаде, председатель колхоза уехал в районный центр и должен был вернуться только поздно ночью. Пришлось ожидать в домике бригадира. Впрочем, и бригадира дома не было, только его мать — рослая говорливая старуха — катала белье на обеденном столе.

— Посиди, отдохни с дороги, — сказала она. — Вот с бельишком справлюсь, самоварчик поставлю. Одна я сегодня дома — дочка с невесткой в поле, ребятки по улице бегают, пуцай забавляются, им лето — золотая пора.

Скучать со старухой не приходилось — и меня обо всем расспросила, и сама многое рассказала. Так за разговором и работе конец пришел. Сложила бабушка прокатанное белье ровной стопкой и отправилась самовар ставить.

От нечего делать взял я деревянный «рубель», ко-

горым бабушка белье катала, и залюбовался резьбой, украшавшей его спинку.

В вологодских деревнях не редкость встретить тот или иной деревянный предмет крестьянского обихода, украшенный резьбой. Такая резьба попадает, что удивляешься искусству безвестного резчика — в музей бы иную солонку или ковш!

Но резьба на рубеле отличалась от всего, что мне приходилось ранее встречать. Сложное сплетение кругов, треугольников, квадратиков сплошь покрывало спинку рубеля, и всё это было включено в рамку из мелких цветов — незабудок. Работа была не простого мастера.

— Ивановна! — окликнул я хозяйку. — Кто этот рубель делал?

— Не знаю в точности. Мне он от моей матери достался, а матери — от ее матушки, значит, от моей бабушки. Помнится, говорила мне мать, Клима-ткач этот рубель делал. Сродственник он бабушке моей был.

— Да почему же Клима ткачом называли?

— Ткачом он и был, на фабрике под Москвой работал. Говорила мне еще мать о нем что-то, да я позабыла. Подросточком я была, когда мать у меня померла. Вот я и позапамятовала. А рубель старинный!

Действительно, был рубель от многих прикосновенных к нему человеческих рук темно-коричневым, блестящим, словно лакированным. А деревянные зубцы рубеля почти совсем износились.

Рассматривая узор на рубеле более тщательно, я увидел в одном квадратике букву «К», в другом «Г», а в третьем и дату «1833 год». И всё это было вырезано очень мелко — не сразу заметишь эти буквы и цифры в сплетении узора.

Так неожиданно удалось мне в чем-то связать кедровую рощу, Клима-ткача и бабушкин рубель.

Невеселое было время — осень 1941 года. Вражеские орды рвались к Москве, вся страна встала на смертный бой с фашистскими захватчиками.

Как-то вечером вышел я на берег нашего озера. На песчаной отмели горел, густо дымя, большой костер. Я направился к нему.

Оказалось, это жгли ненужные архивы районных учреждений. Бои шли где-то у Онежского озера, могли докатиться и до наших лесов. На всякий случай и мы готовились покинуть на время родные места, — об этом и шел разговор у костра.

Подвезли еще одну телегу с бумагами. Это был архив почты — бесчисленные пачки каких-то квитанций на заказные письма, запыленные справочники, «дела» — всё то, что накапливалось в шкафах годами.

Не сразу огонь охватил новую грудку бумаги. И, пока его струйки пробивались сквозь толщу «дел», я успел заметить пачку бумаг, совсем не похожих на современные. Я вытащил эти бумаги из огня. Действительно, были они давними — тридцатых и сороковых годов прошлого века.

— Эти-то как сюда попали? — вслух удивился я.

— С чердака я принесла, — объяснила мне уборщица почты. — Стали сегодня бумаги собирать, сказали мне — сжечь их надо. Ну, думаю, не попадайся гитлеровцам ни один клочок, все кладовые обшарила и на чердаке побывала. Эти с чердака. Только и было их там. Немного, в одной горсти принесла. Ты прочитай да и брось в огонь!

— Ладно, тетя Катя, брошу я эти бумажки в огонь, не беспокойся, — ответил я и присел на камушек, чтобы разобратся в своей добыче.

Были здесь и рекрутские квитанции по «четыреста рублей серебром» за сданного в армию новобранца, бы-

ли какие-то квитанции уездного казначейства, копии с «покорнейших» донесений волостного старшины о видах на урожай в 1844 году...

Много чего тут было от давно прошедшей жизни наших дедов и прадедов...

Подошел ко мне Дмитрий Иванович — руки в смоле, на пиджаке волокна пакли — лодку старик починал.

Рассказал я ему о своей находке.

— Пожалуй, я знаю, откуда эти бумажки взялись, — заметил Дмитрий Иванович. — Почта у нас помещается в том здании, где до революции волостное правление было. Архив правления на чердаке лежал, вывезли его потом в губернский город. Наверное, эти бумажки от архива остались. Вишь, в глине, в грязи без внимания валялись, пока их тетка Катя не подобрала.

И вот в этой пачке старых бумаг нашел я такую, которая многое мне рассказала, если не о Кедровом боре, так о том, кто его посадил, — о Клим-ткаче. Это было донесение кого-то кому-то — ни начала, ни конца его не сохранилось, а датировал я его лишь приблизительно, в связи с текстом.

«... крепостной человек, ранее бывший в собственности государственного преступника... работавший на... Клим Егоров Громов самовольно от новой своей владелицы госпожи вдовы коллежского асессора Анны Измайловны Кураковой в 1827 году из поместья госпожи Кураковой самовольно бежал по слухам в Сибирь по месту ссылки бывшего господина... к коему его жена дворянка Александра Игнатьевна... генваря 19 дня сего 1834 года опять в своей волости проявился и, бродя по крестьянам, всякие нелепые и вредные слухи и измышления и явно преступные басни рассказывал и многое... других смущает... живет, а иные,

кои перечислены ниже, потворствуют оному ткачу и его придумки повторяют, и нижайше просим...»

Больше ничего не смог я разобрать на этом листе плотной синеватой бумаги, густо испещренной пятнами жидкой глины, повавшей на нее при ремонте печных труб на чердаке.

Почему Клиим бежал и бежал в Сибирь, к своему бывшему господину — «государственному преступнику»? Почему Клиим счел нужным вернуться на родину через несколько лет, что такое рассказывал он крестьянам? И, наконец, причем тут Кедровый бор?

Долго сидел я на озерном берегу, долго пытался хоть еще что-нибудь узнать из найденной бумаги. Тетка Катя дожгла архивный костер и ушла, ушел и Дмитрий Иванович. Солнце садилось за черную тучу, лениво вспухавшую над озерной ширью, сладковато пахли сохнувшие водоросли на обмелевших песчаных косах, копошились в них молчаливые вороны. Тихо было на берегу, тихо было и в селе. И вот оттуда, с северо-запада, докатился глухой гул. Это за сто километров от нас били по врагу советские пушки, там, у Онежского озера...

★ ★ ★

Прошла зима. Ранней весной сидел я в правлении одного колхоза и вместе с его председателем разбирался в одном запутанном деле. Колхоз готовился к севу — уже подсыхала на буграх земля, и хотя в лощинах еще плотно лежал грязный снег и всю бурлили мутные вешние ручьи, но все знали: еще неделя — и пора в поле.

В правлении были мы только вдвоем. Председатель ворчал на счетовода, заболевшего в самое нужное время, но я понимал, что дело не в счетоводе, а во мне: пришел и заставил председателя возиться с бу-

мажками, вместо того, чтобы находиться ему либо в амбаре, где готовят семена к севу, либо в кузнице, где от зари до зари гудели меха, ковали молоты, — с ремонтом плугов и борон задержались...

С шумом открылась дверь, в правление ворвалась пожилая колхозница, в криво повязанном платке на встрепанных волосах, и с криком принялась обвинять кого-то, а в чем — ни председатель, ни я сразу и понять не могли.

— Да разве это порядок! — наступала она на председателя, — да разве так можно! — поворачивалась она ко мне. — Разве я не работница? Он-то, косой черт, хорош, ему всё можно! Почему он меня обижает? Нет, не то теперь время, я ходы найду! Вот товарищ из района, пусть-ка он скажет — справедливо это или нет?

Насилу-то мы разобрались, в чем дело. Крикунья работала на сортировке семян, после обеда все вышли, как и наказывал бригадир, к двум часам дня, обиженная — явилась только к четырем. Бригадир не допустил ее к работе, резонно предложив идти снова домой и доспать на печи оставшееся до вечера время. Голосистая тетка никак не объяснила причин своего опоздания на работу, а стремилась лишь доказать, что ее, вдову, у которой муж погиб на фронте, бригадир высмеял всенародно.

Убедившись, что мы ее не поддержим, и выпалив: «Ах, так? Вы тоже с ним заодно! Я концы найду!», тетка с растрепанными волосами грохнула дверями и исчезла.

— Фу! — председатель вытер вспотевший лоб. — Не баба, а рвотный порошок! Настоящая Курачиха! Гнать бы ее из колхоза — первый лодырь, пустомеля. И вовсе она не вдова, — от нее муж лет десять тому назад ушел, развелся с ней, на другой женился. Дей-

ствительно, он погиб на фронте, так у него законная вдова имеется и трое ребят осталось. Это она на вас рассчитывала, что, мол, поддержите вдову солдата. Любиг путать людей! Курачиха и есть!

— Это что — ее фамилия? — спросил я.

— Нет, ее фамилия Копылова. А это в старину, еще в крепостное время, в наших местах барыня была Куракова. Вместе со своим приказчиком ходила мужиков на работу выгонять. Кто чуть только замнется или слово поперек скажет, Курачиха палкой его — раз! Да еще так отругает, что не слушали бы уши. И людей порола. Убили ее свои же крестьяне.

— А не слыхали, кто такой был Клим-ткач?

— Слышал что-то, да позабыл. Ну, так будем продолжать?

И мы опять занялись разбором запутанного дела. А когда покончили с ним и председатель ушел, я открыл окно.

Был уже вечер с полымем зари на полнеба и одной только звездочкой в нем. Деревня затихла, наработавшись за день, даже огней не было видно в окнах. Только собаки побрехивали скороговоркой и не так по надобности, как по долгу службы, да изредка на чьем-либо дворе мычала корова — скот истомился за зиму, рвался на пастбище из душных помещений.

Попыхивая сигарками, к правлению колхоза подошли два старика, остановились, разговаривая и посмеиваясь над чем-то. И опять я уловил слово «Курачиха».

Деревенские знакомства завязываются быстро — и вот я уже беседую со стариками, сначала о том о сем — не сразу же к делу подходить. Наконец, допытываюсь и до «Курачихи». Но ничего нового, кроме того, что сообщил мне председатель, деды мне не сказали. Верно, была в старину барыня Куракова, пога-

ная барыня, по правде сказать. Клим Ткач? Тоже был такой. Говорили о нем, что он бор в Переволоцком посадил. Из Сибири он семена привез. А зачем посадил — деды не знают...

Так по крупинкам, по кусочкам собирал я давнюю историю о Клим-ткаче и о Кедровом боре, что был им посажен. Но полной картины не получалось. Да и как составишь ее из того, что удалось узнать? Еще раз-другой пришлось мне слышать о Клим, но только одни упоминания о нем. Впрочем, я узнал и любимую песню ткача.

... В проходной каюте третьего класса, вплотную набитой пассажирами, всех развеселил старичок с такой чистой седенькой бородкой и такими седыми, ну прямо серебряными волосами, что, казалось, чем-то особым был вымыт этот дедушка. Да и одет он был хоть и по-деревенски, но как-то особенно чисто и аккуратно — всё было по нем и всё на своем месте, даже редкая в наши годы войлочная шляпа. Старичок этот уже несколько раз поведал, что был он в гостях у внука, мастера железнодорожного депо, и вот едет домой, к своей старухе. Нечего греха таить — выпил две рюмки на дорогу, много ли старику надо, да и вино хорошее, красное, сладкое!

И старик начинал, потопывая ногами, подпевать:

Не последний был красильщик —
Я по фабричкам ходил,
Я по фабричкам ходил,
Кумачи, ситцы красил.
Зарабатывал немало —
Девяносто рублей в год,
Не хватало мне, мальчишке,
Десяти рублей в оброк...

На этом песня обрывалась, старичок опять рассказывал всем, как гостил он у внука, и опять приплясывал, повторяя песню о красильщике.

В третьем классе пассажиры народ простой и благодарный. Никто не обижался на веселого старичка, а когда допытались, что ему уже сто второй год, то старичку и место полежать устроили и чайку ему принесли, и каждый старался хоть что-нибудь сделать для старого и такого приветливого человека.

Подсел к старичку и я — хотелось записать песню о красильщике — по всему было видно, что сложена она в стародавние времена, еще при крепостном праве. Старичок охотно пропел мне ее и раз, и другой, а потом оказалось, что он из нашего района, Переволоцкого сельсовета, а песню эту певал Клим-ткач.

— Он от худых господ убежал к хорошему барину, тот в Сибирь был сослан царем. И обратно Клим в свою деревню вернулся. Кедровый бор посадил, это точно.

Помнил старичок этот бор, когда кедры всего в два человеческих роста были.

Тут старичок попытался было пропеть еще раз свою песню, но махнул рукой и стал забираться на лучшее место, в чем мы ему и помогли...

★ ★ ★

«А нет ли чего-нибудь о Климе-ткаче в областном музее, в его архиве?» — подумал я, проходя по улицам города Вологды и увидев здание музея.

— Об этом мы наших студентов спросим, — сказал мне директор музея, когда я рассказал ему о своих поисках. — В нашем архиве работает несколько студентов. Как раз один из них изучает восстание декабристов.

Мы долго шли гулками и мрачными коридорами старинного здания, построенного чуть ли не во время Ивана Грозного, нагибаясь пролезали в низенькие двери и, наконец, добрались до архива. Здесь, в угрюмой комнате со сводами, окнами в узорчатых решетках и кирпичным полом, немножко странными казались яркие электролампы и молодые лица студентов, сидевших за столами, тоже какими-то особенными, стародавними. На эти бы столы медные чернильницы и гусиные перья... Впрочем, студенты обходились авторучками.

— Вам очень повезло, — сказал мне студент «декабрист». — Здесь есть дело о Климе-ткаче. Его фамилия — Громов. Дело интересное. Есть только одно обстоятельство, которое меня смущает..

Протрещал телефонный звонок. Моего нового знакомого вызвали куда-то. Он вручил мне синюю папку — «Дело №. . . .», извинился и исчез.

До вечера я познакомился с этим «делом». Стояло оно из разного рода донесений приказчиков госпожи Кураковой, полицейских дознаний и прочего в том же духе. Но история Климата стала мне ясной.

* * *

Летом 1826 года в одну из деревень Переволоцкой волости явился из Петербурга дворовый человек Яков Батулин, до того бывший в услужении у своего барина-офицера. Офицер этот оказался замешанным в восстании декабристов и после суда был сослан в Сибирь. Одно из его имений, бывшее в Переволоцкой волости, вместе с другими перешло к его родственнице — госпоже Кураковой.

Дворня офицера после допроса была направлена в свои деревни.

Крестьяне Переволоцкой волости — а она почти целиком входила в одно поместье — задумались. До сих пор жилось им терпимо — барин держал их на умеренном оброке. А вот если новая госпожа барщину введет, то это будет совсем плохо.

Глухие вести о событии в Петербурге дошли и до деревни, но вести эти были путанными, что к чему — никто разобраться не мог, всякое говорили. Поп в одной из проповедей намекнул на бунтовщиков, которые, мол, хотели погибели государству, но царской властью зело покараны, да будет и другим неповадно.

Слыша это, крестьяне в один голос решили, что господа между собой вздорят и не мужицкое дело в этих спорах разбираться.

Яков Батулин по приезде на родину повел себя скромненько, лишнего не болтал. Но, видимо, человеком он был знающим и осторожным, поэтому умело, и тому, кому надо, шепнул кое-что. И пошли по волости разговоры с уха на ухо, тайком от одного верного человека к другому:

— Хотели, мол, бунтовщики крестьян из крепостной петли вытянуть!

Осенью того же года в родную свою Переволоцкую волость заявился и Клим-ткач, а по отпускному на работу билету — Клим Егоров Громов. До этого он, бестяглый крестьянин-бобыль, был отпущен баринком на заработки в Москву и работал на какой-то фабрике.

Привели Клима по этапу — паспорт у него был просрочен, а новый получить не от кого — барина не стало, барыня еще не приехала, без нее же староста и приказчик не решались никому давать выхода на оброк за пределы волости.

Наверно, было у Клима за душой и кое-что побольше беспаспортности. Иначе не вызвал бы его к себе приказчик, не сказал бы, погрозив пальцем:

— Смотри, ткач! Знаем и мы про тебя кое-что! Ходи ниже травы, тише воды. А пока — живи, как можешь. Приедет барыня — получишь работу.

Занялся Клим набойным ремеслом, чудесные набойки делал, узорчатые, яркие.

Яков Батулин, тоже человек одинокий и от крестьянства отвыкший, без дела до приезда барыни гулял. И вот сошлись два бобыля, два друга. Без слов договорились. Ходили вместе по волости — Яков Климину помощником стал, и где побудут, то после них разговоров вполголоса у мужиков хоть отбавляй. Но разговоры эти были не для господ, а про свой расход.

По первому санному пути прикатила в свое имение и барыня Куракова, а проще говоря — Курачиха. Круто взялась она за наведение порядка — барщину завела, конюхов с розгами. Вскоре приказала приказчику:

— Батулина и Громова — ко мне. Оба бунтовщики и крамольными речами народ возмущают. Сидишь ты, приказчик, на теплом месте, как бор в хлеву, ничего не видишь и не слышишь! Не знаешь того, что до полиции батулинские да громовские разговорчики дошли. Приготовить подводы — завтра их в город отправим, сдам бунтовщиков в солдаты. С полицией связываться мне убыточно и не к лицу, а так две рекрутских квитанции выправлю!

Пока приказчик старосту вызывал да подводы наряжал — добрые люди шепнули, что надо, Громову и Батулину. Хватились их поутру — ищи ветра в поле!

* * *

Вторая половина дела была занята полицейским дознанием «О появлении в Переволоцкой волости беглых крестьян госпожи Кураковой и о их крамольных речах».

Датировано это дознание было уже не 1827 годом, а 1833.

О Батулине говорилось в дознании немного. На родину он вернулся больным, мечтая умереть у родного озера. И умер он через несколько дней после своего прихода.

Вместе с ним пришел и Громов. Похоронив друга, он побывал у нескольких мужиков, еще не забывших его, рассказал, что вместе с Батулиным ходили в Сибирь — хотелось им повидать своего прежнего барина, посоветоваться с ним о горе-горькой крестьянской жизни. Но барина им видеть не удалось — был он в тюрьме, в кандалах. Однако и без барина дело обошлось — такое рассказывал и такое советовал Клим крестьянам, что по мнению уездной полицейской власти надлежало «оного Клим Громова немедля схватить и, связав, как наизлейшего преступника, доставить к господину уездному исправнику».

— Не там Сибирь, где я был, — говорил Клим-ткач крестьянам, — а здесь у вас Сибирь! В Сибири живетсЯ трудно, да народ вольный, а вам живетсЯ трудно и в барском хомуте ходите.

Клим, несомненно, знал, что за смутьянские речи ему от полиции не поздоровится. Поэтому он времени не терял, а громко говорил, что ему хотелось сказать, и вновь исчез из волости, прежде чем староста и приказчик успели его схватить.

Но перед уходом своим вышел Клим с двумя верными мужиками на пустой мыс Переволоцкого озера и посадил здесь ровными рядами четыре сотни семян кедра, принесенных им из далекой Сибири. А посадив их и прощаясь с друзьями, сказал:

— Берегите эту рощу, не давайте ей погибнуть! Не обо мне в память будет она расти, а вспоминайте тех, кто за простой народ в Сибири страдает, кому канда-

лы кости переели. Тысячи народу там в рудниках кровью исходят. И ваши братья там есть, и вашим сынам бывать, пока царя и господ со своей шеи не сбросите!

* * *

— Нашли что-либо новое, интересное? — спросил меня студент, который дал мне «Дело».

— Нашел всё, что мне хотелось узнать, — ответил я вставая. — Благодарю вас! Но разрешите задать вам только один вопрос...

— Пожалуйста. Какой именно?

— Как фамилия того декабриста, которому принадлежало именье в Переволоцком?

— Представьте — именно это обстоятельство не могу установить. А ведь в этом я заинтересован даже больше вашего. Я же статью о декабристах пишу! Так вот, ни в том деле, ни в других материалах я не мог узнать, что это за декабрист. Везде его именуют только «государственным преступником», словно полиции был дан строгий наказ — вести дело так, чтобы имя того «преступника» было навсегда позабыто.

* * *

Заседание бюро райкома партии шло обычным порядком, как и в тысячах других райкомов. От довоенных оно отличалось только тем, что научились вопросы решать быстрее, определеннее, много меньше стало словесной воды.

— Слушается отчет директора леспромхоза о ходе заготовки и вывозки леса, — объявил секретарь райкома.

Посыпались цифры, цифры. Но члены бюро настояжились. По опыту известно: если человек хочет в

чем-то оправдаться, особенно если он незадачливый хозяйственник, то он рассчитывает именно на этот поток цифр, «авось, запутается дело, и я вывернусь».

Но нашего секретаря не проведешь. Постучал он карандашом по стакану и сказал директору:

— Твои цифры мы в сводке видим. Ты нам скажи, почему у тебя вывозка отстаёт? Весна на носу, с крыш каплет, воробьи дерутся, вот-вот реки зашумят, а у тебя на нижних складах древесины все еще маловато.

Директор поблек и начал оправдываться. Лесосеки, мол, лесничество отвело неудачные, далекие от речных берегов. Подумайте сами — почти восемь километров приходится бревна возить от лесосеки до склада. А лошадей маловато...

— Ну, лошадей тебе дано ровно столько, сколько по твоему же плану полагается, — перебил его секретарь. — А вот ты скажи, почему...

Одним словом, началась атака...

— Так что же ты намереваешься предпринять, чтобы исправить положение? — спросил секретарь директора, когда тот был вынужден признаться, что действительно по его вине в первую очередь занялись только заготовкой, решив, что вывезти лес можно и в конце сезона, особенно если привлечь к этому делу и колхозы.

— Ах, вот на что был расчет! А помнишь ли ты о том, что у колхозов и своих забот достаточно? Весна, повторяю, на носу! Нет, ты скажи, что надо сделать без расчета на колхозных коней? — не давал пощады секретарь.

— Есть и еще один выход, — утирая пот на лбу, заявил директор. — Пусть отведут нам делянки поближе к берегу речки Сивельбы и Переволоцкого озера. Точнее, пусть разрешат нам рубку прямо по берегам.

Тогда за две недели мы так развернемся, что сезонный план выполним и по рубке, и по вывозке.

— Не согласен! — прогудел кто-то в углу.

— Лесничий не соглашается, — улыбнулся секретарь. — Почему?

— Не имею права разрешить! По нашим, советским, законам нельзя вырубать леса вдоль берегов рек — это же водоохранная зона! Знает это директор, но хочет против закона идти, чтобы свои грешки замазать!

— В военное время можно кое в чем уступить, — выкрикнул директор.

— Тише! — секретарь укоризненно покачал головой. — Наоборот, в военное время законы надо соблюдать так, как солдат устав соблюдает! Ты об этом забыл?

— Пусть так, но берега Переволоцкого озера не входят в водоохранную зону. Мы лес в Сивельбу из озера выведем кошелями.

— Тогда мы не согласны! — со стула у двери поднялся секретарь Переволоцкой территориальной парт-организации.

— Кто это — мы? — спросил секретарь райкома.

— Переволоцкие колхозники! Не туда лезет директор! Забывает о том, что лес на берегах озера тоже в охранную зону входит. Это раз! Конечно, мы бы не поспорили — нужен государству лес, так сами бы срубили и вывезли его. Так нет — директор прошляпил, а теперь хочет не делом заниматься. Пусть иные выходы находит, а пока что нет надобности этот лес рубить. А то директор своих десятников уж подсылал наши леса осматривать. Да что там! Кедровый бор — заветное место — и то директор облюбывал, чуть ли не караулить этот бор приходится.

— Всё понятно! Садись, директор, — сказал секре-

тарь. — Это в порядке реплик тебе подносили, а теперь мы как следует в прениях поговорим.

Последним взял слово я и рассказал членам бюро и всем, кто был на нем, историю Кедрового бора.

— Точка, — сказал секретарь поднимаясь. — Подытожим выступления... Кстати, сообщу. Директора за плохое руководство леспромхозом трест снял с работы. Вот телеграмма — час тому назад ее передали. Поэтому решим, что сделать, чтобы дать лес родине к сроку...

— Мы, колхозы, поможем в вывозке... — откликнулся переволоцкий секретарь.

— Знаю, что колхозники помогут. Правильно. Но кроме этого надо решить, а что же леспромхозу делать, чтобы упущенное наверстать.

* * *

С бюро я вышел вместе с Финогеновым, так звали секретаря Переволоцкой парторганизации.

— Ты вот что, товарищ, — сказал он мне, — обязательно приезжай к нам и поскорее, сделай докладик о Кедровом боре и о Климе-ткаче. Ладно? А этот бор был у нас заповедным — заповедным и останется. А умен был Клим. Хорошее дело сделал и вроде как и нас поучил: сажайте, мол, леса, выращивайте их, землю украшайте! Так приезжай, ждать будем!

РЕЗНОЕ ТРЕПАЛО



ТРАКТОР чихнул и перестал работать. Перерыв на обед. Из гумна, где столбом стояла кисловатая пыль — без нее у льноагрегата не обойдешься, — звонко переговариваясь выходили колхозницы, как золотистой паутиной покрытые тончайшими волоконцами льна, и паутина эта радужно посверкивала под скупыми лучами низкого зимнего солнца.

Я шел за ними до колхозного правления. Рослая старуха, отделившись от товаров, обогнала меня на крыльце, рванула дверь в контору.

— Ты вот что, начальник-председатель, дорогой Иван Семеныч, долго ли Нюрке Клюквиной потворствовать будешь? — энергичной скороговоркой начала она. — Второй день на работу не выходит. Ты почему мер не принимаешь? Нет, ты не помалкивай, а отвечай! Бабы, которые с ребятами, и те на работе, а она, ишь, какая барыня! Дома у окошечка сидит, семечки грызет, на грязный пол сплевывает!

Трудно было отвечать председателю — старуха не давала ему слова сказать, стояла подбоченившись. Седая прядь волос выбилась из-под ее ветхого платка, серые строгие глаза смотрели не мигая. Одетая старуха

была, как и все колхозницы, в ватную фуфайку, подпоясанную брезентовым солдатским ремнем. Но всё это было обычно — другое заинтересовало меня — за ремнем этим, словно кинжал, торчало деревянное трепало да не простое — глянцево-бурое от старости и не в форме узкого меча, как их делают теперь, а широкое с косо срезанным концом. И всё оно, кроме рукояти, было покрыто ажурной резьбой.

«Музейная вещь, — подумал я. — Как бы его у бабки заполучить да в музей? Где теперь такую редкость, такую красоту найдешь!»

Старуха вдруг перестала кричать, устало присела на лавку, сняла платок с головы и обыкновенным голосом завела речь о каких-то других непорядках.

— Правильно, правильно, Фаина Матвеевна, — торопливо соглашался с нею председатель, человек полный, грузный и по всему видно — любитель тишины.

— Ох, времечко-то идет, катится, — вздохнула старуха, поднимаясь. — Теперь и нам, крестьянам, на часы поглядывать приходится, как в городе. К машине по часам иди, на обед — тоже по часам! Машина она к часам приучает. Приучает, батюшки, и старых! А молодым-то тем более надо. А ты на Нюрку надеешься, что понимает она это?

— Сделаем, сделаем, Матвеевна! — бормотал председатель. — Дадим ей, толстобокой, и парку и припарку! Сделаем, Матвеевна!

А Матвеевна так решительно зашагала к двери, что я не успел окликнуть ее, завести разговор о трепале.

★ ★ ★

Впрочем, разговор этот состоялся и в тот же вечер. К своему удивлению, на ночлег я попал именно к Фаине Матвеевне,

— Старуха аккуратная, чистюля, порядок любит, — нахвалил ее мне колхозный счетовод по пути к моему ночлегу. — Сердита, верно, только со смыслом. Справедливая старуха! За правду лешему глаза выдерет — вот какая!

Он с особым усердием обметал голиком снег со своих валенок. У входа в дом даже пошаркал ногами по половичку. А как только мы уселись за столом и с бабкиного разрешения закурили, тут же появились две пепельницы, — каждому из нас, мне — блюдечко с отбитым краем, счетоводу — консервная банка.

— Места не жалко, ночуйте! — согласилась Фаина Матвеевна. — Сейчас ужинать будем, чай пить...

За чаем — старые люди за ним благодушествуют, характеры их смягчаются, я завел речь о резном трепале.

— Заметил? — с гордостью спросила Фаина Матвеевна. — Его еще моей бабушке делали, потом матери моей досталось, а теперь мне. Узористое! И работать им легко, а удар им по льну — в самый раз! Кому-то оно после меня достанется? Дочка дояркой работает, любит свое дело, вишь, и к ужину запоздала. А внучка — она положила сухую жилистую руку на светло-волосую головенку сероглазой девчушки, усердно, до бисерного пота на носу, схлебывавшей чай с блюдечка, — а внучка не знаю кем будет!

— А вы это трепало, Фаина Матвеевна, передайте мне или продайте. Я его в город, в музей отправлю. Вам оттуда квитанцию пришлют и благодарность, — сказал я.

— В музей? Это как учительница наша, Анна Васильевна, тоже говорила — в музей. Там, мол, на трепало тысячи людей любоваться будут, удивляться, как оно неграмотным мужиком в старинные годы изузоре-но. Да нет, не отдам. Семейная вещь, памятная. Да и

привыкла я к нему. Нонешними трепалами пробовала я работать — палка да и только. Нет настоящего удара, чтобы и волокно не рвало и костру до последней костринки выкидывало. Да и не по руке мне новые трепала!

— Теперь, бабушка, я слышал, такие машины для обработки льна будут, что вручную волокно и подтрепывать не придется, — вмешался в разговор бабушкин внук Саша — паренек лет шестнадцати.

— Не мели! — оборвала его Фаина Матвеевна. — Что ты во льне понимаешь? Хоть какую машину ни выдумай, а без человеческой руки у нее не обойдешься! Да разве может машина так лен очистить, чтобы он как шелковый был? Нет, пусть пока трепало у меня останется. Вот помру, тогда уж...

— Бабушка, бригадир дядя Сеня приходил, говорит — тебе завтра в овощехранилище марковку перебирать, если хочешь, — пропищала внучка.

— Чего он, сдурел что ли? Ишь ты — марковку перебирать! Нет уж, я на лен опять пойду! Так молодым не сделать, как мне! А марковку пущай Нюрка Клюквина перебирает! А мне бригадирова приглашенья не требуется, по своим годам куда хочу, туда и пойду! Вот как! Марковку! Выдумал тоже, Бригадир Иваныч!

★ ★ ★

Наступала радостная северная весна. Зима старалась наверстывать свое по ночам, каленые морозы жестко схватывали всё то, что успело за день оттаять, отогреться. Но стоило подняться солнцу, и мороз снижал, отступал, с крыш сначала робко, потом все задорней падали капли, буравили грязный, слежавшийся снег у стен домов. Дороги темнели..

Колхозники торопились использовать последний

санный путь. Обозы за горючим для тракторов, за обменным семенным зерном и за многим другим, что потребуется в дни сева, выезжали в ночь, по морозцу. К утру они были уже в райцентре, у складов, а вечером, опять по морозцу, направлялись домой.

Как-то рано утром среди колхозников, толпившихся у чайной, я увидел Сашу — внука Фаины Матвеевны. Был он, как и полагается возчику, в пышном тулупе до пят, с кнутом в руке.

— А ты почему не в школе? — спросил я его.

— Каникулы! — самостоятельно сплюнул он на сторону, как заправский старик-возчик. — Выдумали тоже — каникулы по календарю устраивать! По погоде надо! А погода каждый год разная. Сейчас в школу по насту любо бегать, а вот — каникулы! Зато, как ручьи зашумят, занятия начнутся. Написать об этом в газету надо!

— Это бабушка Фаина так говорит?

Саша потупился:

— Ну и она... И я. Делать сейчас мне нечего — поехал с подводой. За горючим. И себе заодно кое-что купить.

— Что же именно, если не секрет?

— Секрета нет. Электролампочек надо штук шесть. Патронов к ним, выключателей. От нашей ГЭС ток будет, слышал, что заработала она? Ну вот, линию протянули к нам в деревню, проводку устроили. А лампочек не завезли. Скоро ли наши кооператоры развернутся? Приходится самим в райцентре покупать.

— Также бабушка так говорит?

— Ну уж — бабушка да бабушка. У меня своя голова есть!

— Ну-ну, не сердись! А свезешь ты от меня бабушке подарок?

— Какой подарок?

— Электроутюг. И розетку к нему. Ты парень деловой: сразу разберешься что и к чему... Понял? Думаю, что понравится бабушке мой подарок. Есть у вас электроутюги в деревне?

— Не-ет.

А вручая Саше подарок для Фаины Матвеевны, я сделал последний «ход конем»:

— Скажи ей, что это от того, кто у нее зимой ночевал и резным трепалом интересовался.

Саша понимающе прищурил глаза:

— Скажу! Это можно!

* * *

Вот почему трепало оказалось сначала в моих руках, потом в музее и занимает в нем одно из самых выигрышных мест в отделе народного искусства.

Летом Саша привез мне трепало. Передавая его, он рассказывал:

— Бабушка тебе сто спасибо прислала. Первый раз белье гладила — со всей деревни к ней колхозницы сбежались. Иные даже свое бельишко приволокли. Потом бабушка утюг на комод поставила, рядом с зеркалом. Я молчу, и она молчит. Потом, с неделю, этак, прошло, говорит: «Сделай мне, Саша, точь в гочь такое же трепало, как это. Видно придется старое за утюг в отдаренье послать. Узоров-то не выжоривай. где уж тебе, а чтобы было в тот же размер и по тому же виду!» Ну, я сделал — долго ли мне? Так первым недовольна осталась — легкое. Я и второе сделал. Тут она со старым трепалом и рассталась, принимайте его!

— Значит, в точности такое же сделал?

— В точности. Только вот узор: бился, бился — не выходит. Узлы да петельки и все переплетены, пере-

виты. Я все-таки узор на бумагу переснял, уже как-нибудь займусь, добьюсь своего — вырежу и на новом.

— Вырежешь ли?

— Вырежу! У меня терпенья хватит!



ОГОНЬ В НОЧИ

МЫ прошли мимо электростанции, под ярчайшими фонарями над ее воротами, спустились под береговой откос и сразу нырнули в ночь. Ветер заныл, запел в стволах наших ружей, захлопал лапами полушубков.

Злой и деловитый, он гнал и гнал шуршащий снег по озерному льду, крутил, взметал мириады снежинок, летевших и летевших из туч.

Дорогу то и дело перекрывали снежные косы, надутые метелью, а порой наши валенки скользили по темному гладкому льду — это тоже ветер постарался, смел начисто снег со льда. А потом — опять косы, и ноги в них вязнут по колено.

Монотонный свист, шорох поземки и завывание ветра не располагали к разговору. И трудно было разговаривать на такой погоде, и не о чем — всё решено было еще вчера. Выходим вечером после работы, добираемся до села Соколово, переночуем там, а утром, когда можно будет видеть мушку на конце ствола, — на охоту с гончими по русакам.

Я оглянулся. Огни нашего села уже скрылись за метелью — только розовое светлое пятно еще виднелось над ним — слабый отсвет уличных фонарей. А впереди — снежная мгла.

Мой товарищ остановился:

— Покурим! — прокричал он и, сгорбившись, повернувшись спиной к ветру, стал крутить сигарку. Потом вспыхнула робким огоньком спичка — таким милым в темноте.

Ветер скоро раздул, разметал наши сигарки — красные искорки попрыгали, поплясали на снегу, умчались куда-то. Еще мутнее, еще неприятнее показалась нам эта волчья ночь.

Иногда совсем неожиданно из мглы появлялись наши собаки. Завидев нас, они крутили хвостами и опять исчезали. После этого становилось почему-то веселее.

Ветер донес до нас обрывки звонких голосов, смех. Нас кто-то догонял. Это школьницы старших классов торопились домой на выходной. Занесенные снегом, закутанные платками фигурки обгоняли нас:

— Девочки! — окликнул их мой спутник. — Идите вместе с нами, как бы вам с дороги не сбиться!

— Что ты, дяденька! Разве мы дороги не знаем? Не в первый раз. Да вы тихо идете!

Промелькнули и исчезли — еще раз донес до нас ветер их голоса.

А потом мы догнали обоз. Сани были нагружены льноволокном, а на нем неподвижно восседали закутанные в тулупы молчаливые люди. И всё бело — только спины лошадей темны от пота и снега, тающего на них.

Нам надоедает идти за последним возом, хотя за ним и теплее. Усталые лошади не торопятся, и мы, прибавив шаг, обгоняем обоз.

Всего-то километров десять надо нам идти — два часа хода. Но путь кажется бесконечным. Так всегда бывает, когда идешь дорогой скучной, однообразной, без кустика и деревца. А мы идем именно такой доро-

гой — озерным льдом, в полукилометре от берега. Там, на берегу, лес, но разве увидишь его такой ночью.

А дороги на озере теперь и совсем не заметишь. Всё чаще начинают тревожить меня сомнения, ладно ли мы идем. Сбейся с дороги, уйди «в озеро», и будет перед тобой почти сорок километров ледяной равнины, да вправо и влево столько же. Где ты сможешь отдохнуть? Чем можешь согреться?

Но спутник мой шагает и шагает вперед равнодушно и уверенно. Он — местный человек, рыбак. Мне ли не доверяться ему?

Впереди что-то смутно чернеет. «Лес?» — думаю я. Нет, не лес, но я понимаю, что мы остановимся на минутку, передохнем.

Года три назад осенним штормом сорвало с якорей в озере огромную деревянную баржу, посадило ее на отмель. Видимо, баржа отслужила свой век, и работники пароходства, сняв с нее груз, покинули старуху на отмели на радость прохожим — все-таки можно покурить иногда в затишье под смолеными бортами.

Укрываемся за баржой и мы. Закуриваем, развязываем шнурки у шапок, прислушиваемся, будто можем услышать что-нибудь иное, кроме унылых завываний ветра в ружейных стволах. Наши собаки, отыскав хозяев, сворачиваются клубочками в снегу.

— Дуры, заблудятся! — бормочет мой товарищ. — Каждый год о подвозке школьников говорят, а занимаются этим только в марте.

— Ты о школьниках, что ли?

— О них. Пробежали мимо нас и задержать не сумел. Ишь ты — знаем дорогу, дяденька! Да кабы днем или тихой ночью, когда дорога наезжена...

Вдруг он поворачивается ко мне и приказывает:

— Снимай ружье, ставь к борту! Давай досок из баржи наломаем да огонь разложим побольше.

— Зачем? Неужели ты озяб или ночевать тут собираешься? Так ведь мы половину пути уже прошли!

— Ладно, делай, что говорю. Вон кол лежит на льду — этим колом как ломом доски отворачивать можно. Вон тут борт крепко поломан!

Удивляюсь выдумке товарища, но знаю, он упрям и на своем настаивает. Знаю и то, что человек он серьезный и если что делает, то не без основания. А спрашивать его нет смысла — молчун.

Доски отламываются легко — давно уже выржавели в них гвозди. И горят они отлично — дымным, но ярко-багровым пламенем. Казалось, большой костер мы уже развели, но Семеныч, так зовут моего спутника, не прекращает работы — подносит и подносит топливо, укладывает его не в кучу на огонь, а вытянуто, штабелем.

Впрочем, он снисходит до объяснения:

— Дольше гореть будет. Вдоль ветра уложено!

Потом Семеныч садится к огню, греет руки, закуривает.

Собаки вылезают из снега, совсем было их замело, и тоже придвигаются к огню, пятясь, если пламя начинает полыхать особенно ярко.

— Не близко от баржи огонь разложили? — беспокоюсь я. — Не сгорит?

— Не сгорит, — спокойно отвечает Семеныч. — У меня рассчитано...

Но мы не долго засиживаемся у огня и опять то скользим по льду, то бредем снежными косами, — ветер плотно укладывает их, идти по ним тяжело, а путь, как и до этого, кажется бесконечным.

— Леший нас, охотников, носит за тридевять земель, — негодную я сам на себя. — Как будто у нашего села охотиться не на кого, так нет, обязательно со-

блазнишься дальними, нетронутыми местами. А там своих охотников полно!

Я припоминаю бугристые, в мелком кустарнике, самые заячьи места у села Соколово. Вспоминаю и уже исчезает досада на самого себя. Нет, ладно выдумал Семеныч, наславу завтра поохотимся. Вот только как погода?

— Добрались! — доносится до меня голос Семеныча.

Перед нами — темная стена леса. Мы поднимаемся с озерного льда на берег. Грозно режут вершины деревьев, но это не страшно — под ними плотная, накатанная дорога, идти по ней тоже, что по полу. Скоро и село.

★ ★ ★

Ночуем мы у Константина Петровича, колхозного счетовода, такого же заядлого охотника-зайчатника, как и мы. И вечер идет незаметно в чистой избе, в тепле, за самоваром и охотничьими рассказами.

Но хозяйка обеспокоена, часто подходит к окну, вглядывается в него.

— Дочку из школы жду! — объясняет, наконец, она. — В девятом учится. Не знаю, пошла ли из школы на выходной или в интернате осталась. Ведь у них, словно у коз, вздумает одна по такой погоде идти и остальные за ней. Вот и беспокоюсь.

Я вглядываю на Семеныча, хочу рассказать о школьницах, обогнавших нас там, на озере. Но Семеныч равнодушно бросает:

— Придут, дорога знакомая!

— Знакомая-то знакомая, да переметает ее сегодня. И мутно уж очень!

Но тут хозяйка прислушивается — в сенях слышны легкие шаги.

— Никак она? Нюрка, да что ты как поздно! Я вся расстроилась из-за тебя! Сидела бы в интернате — всего тебе привезено, нет обязательно в такую погоду домой надо!

Но сама рада и тому, что дочка пришла, не побоялась трудной дороги, и тому, что кончилась материнская тревога.

А Нюрка, быстро переодевшись, садится за стол. Налив в чашку чаю, говорит:

— Мы шли, шли, весело так, всё смеялись, смеялись. А потом страшно стало — мутно так и дороги нет совсем, совсем, не знаем куда и идти. Танька Морева как з-а-плачет! А я не плачу. Я говорю: «Чего плакать, надо идти, идти, куда-нибудь и выйдем». А Танька говорит, что волков боится. И опять пошли, пошли, куда не знаем. Потом смотрим: огонек — далеко-далеко. Мы как обрадовались! Танька плакать перестала, только носом фыркает. Шли, шли до огонька — устали даже. А потом видим — баржа старая, знаешь, что на Слободской мели, и костер у ней горит. А у костра подводчики со льном стоят, ломают баржу, кидают доски в огонь, греются. И мы погрелись. Обозники поехали, а мы сзади за лошадьми. Тепло!

— Надо, надо в правленье колхоза сказать, чтобы вешки по озеру поставили, — озабоченно говорит Константин Петрович, — каждый год вот так только в середине зимы об этом вспоминаем. А случись что в озере — пропал человек!

— Не рано уже, спать, кажется, пора, — позевывая, сказал Семеныч. — Устрой-ка нам местечко где-нибудь. Погода к утру затихнет, погоняем зайчишек всласть. Не зря мы сюда шли!



СТЕПАН-ПРОСТОТА

ТИШАЙШИЙ день золотой осени. Синее-пресинее небо, кое-где на нем белые пушинки облачков, темная стремительная вода лесной реки, а по берегам — несказанной красоты осенние леса и алым кружевом по их опушкам — гроздья рябины.

Пахнуло дымком костра. Тропа вывела меня к речному мыску. Среди валунов лениво курится небольшой костер, у костра — люди. По баграм вижу, сплавщики. Ну да, так и есть, залом разбирают. Ишь, как наворотило бревен, словно плотина поперек реки.

Подошел к сплавщикам, поздоровался, присел к огню, закурил. Прислушался к разговору:

— По одному бревнышку артелью из залама выдергивать — это же на месяц работы, река замерзнет к тому времени, — безнадежно бубнил длинный и какой-то нескладный пожилой сплавщик.

— Всё дело в коряге, — рассудительно замечал широкоплечий парень без кепки на голове — буйные вихры белокурых волос, которыми, видно, он гордился, были лучше всякой шапки.

— Ясно что в коряге, — поддерживал его третий сплавщик, человек пожилой и бородатый. — Кабы летом, можно бы ее подрубить. Тут неглубоко, по грудь. А кто теперь, когда олень в воду ступил, в реку поле-

зет? Прямая простуда. Кабы еще после этого водки стакан!

— Ты за водку и на дуну по соломинке слазашь! — язвительно сказал длинный. — Ты на такие дела мастер!

— Что ж, так сидеть и будем? — спрашивал еще кто-то.

— Нет, вот кабы взрывчатки килограмма два-три! Всё бы разворотили, — мечтательно вздыхая, ответил белокурый.

— Взрывчатка в этом случае оно бы неплохо, — подтвердил еще один сплавщик, сушивший портянки над костром. — Только два килограмма на такое дело мало.

— Хватило бы! Не такие штуки взрывчаткой поднимали.

Разговор оживился. Почти все побывали на войне, было о чем вспомнить и рассказать. Белокурый парень поведал историю о том, как он нес на себе двадцать килограммов взрывчатки — надо было в тылу врага взорвать железнодорожный мост.

— Да еще три диска автоматных в мешке было, ну хлеба там буханка и еще кое-что. Всего пуда два. Досталось мне!

— Взорвали? — поинтересовался длинный.

— Только бухнуло! Так балки в разные стороны и полетели! Мы — дралка, знаем, будет сейчас нам весело. Ну, без груза бежалось хорошо! Ушли благополучно.

— Как ты от двух пудов не надорвался! — иронически покачал головой сушивший портянки. Теперь он покончил с этим делом и обувался — по-солдатски споро и ловко наматывал на ногу портянку, подбирал штанину, а потом натянул резиновый салог.

— Какие голенища длинные, а всё равно воды черп-

нешь, — вздохнул он и повторил: — Не надорвался, говорю, от двух пудов?

— А что — ты больше носил? — обиделся белокурый.

— Случалось! Это, кажется, в сорок четвертом было. На Первом белорусском. Весной. Такая грязища — ног из земли не выдрать! Мы всё в наступленьи да в наступленьи. Сами понимаете, народу поубавилось да и остальные притомились. Отвело командование нашу часть в недалний тыл, на отдых, денька на три. Вот и посылает старшина нас двоих и еще третьего с повозкой в село, забыл как оно называется, да, впрочем, от села немного и оставалось, одно звание, печные трубы. Посылает нас старшина за десять километров за продуктами на всю роту. Мяса получить, крупы, махорки. Дело хорошее.

Он обул вторую ногу, разгладил голенища и присел поближе к огню.

— Вот, доставились мы в село, честь по чести. Пешком шли, на повозку не присаживались, лошадь пожалеть надо, ей же обратно по такой грязюке груз везти. Получили мясо, махорку, а в остальном отказ. «Нет никаких круп! Как так нет, почему? Солдатам одной похлебки мало, им и каша нужна! Говорят: отстала часть обоза — дороги плохие. Завтра крупу привезут, завтра и получите. Вот и поговори со снабженцами! Делать нечего. Отправили мы мясо и что остальное было получено, а сами задержались на полчаса, узнали, что свежие газеты сейчас легковая машина доставит. Думаем — надо обязательно газет на роту взять. И что ты скажешь, газеты получили и вдруг окликают нас: «Идите крупу получать, рис или гречу. Грузовики с продуктами пришли!» Тьфу! Что ты будешь делать — подводу-то мы отслали.

Получили мы крупы семь пудиков! А на чем ее везти? Туда-сюда — грузовика нам не дают, к вам, мол, только на лошади добраться можно. И лошадей тут в селе нет. Хоть бросай крупу! А не бросишь. Ребятам каша нужна. Вот мой товарищ и говорит: «А понесем, Васька, крупу на себе. Всего-то семь пудов и путь недалёкий, десять километров». Что ты, говорю, ошалел? По такой-то дороге да такой груз? Лучше еще похлопочем, может чего придумаем. «Трудно, говорит, придумывать, а вдруг нашу часть с отдыха да опять в бой? Не раз так бывало. Лучше понесем крупу и всего-то по три пуда с лишним на спину. Нельзя ребятам без каши!»

Уговорил. Рассыпали мы крупу поровну в два мешка, лямки приспособили и поперли. Ноги скользят, на сапоги грязь комьями липнет, хоть ножом ее, проклятушую, срежай. Идем, пыхтим, батожками, что нищие, подпираемся. Не то мы солдаты, не то верблюды! Так километра три прошли, вижу — не могу больше. И груз, и грязь — кругом тяжело! Мой товарищ на меня сердится: «Слабучина ты, Васька!»

Присели покурить. Тут он из моего мешка в свой еще с пуд или больше отсыпал. Опять пошли. Ну что ж, принесли, каши наварили, а наутро и верно — конец нашему отдыху, опять в бой.

— Ну вот, ты тоже два пуда нес, а говоришь! — заметил белокурый.

— Ничего про себя не говорю, я про товарища — пять пудов нес!

— Эй, эй, давай сюда, тут мы! — завопил длинный, вскакивая и махая кому-то рукой. — Здесь мы! Давай сюда!

Береговой тропинкой шло еще несколько сплавщиков. Они спустились к нам, к костру.

— Кукуете, зимогоры! — спросил один из пришед-

ших. — А мы свой участок в порядок привели. Можем теперь и домой, время не раннее.

— Вам — что! А нам тут ночевать придется, — откликнулся белокурый. — Скажите на рейде мастеру, что застряли мы тут. Коряга посреди реки на отмелом месте весь залом держит. Как ее уберешь? Придется по бревну разбирать. Подослал бы мастер завтра к утру еще человек десяток. Да хлеба пусть принесут, чаю да сахару и еще там чего. У нас продукты приходят к концу.

— Коряга, говоришь? — спросил задумчиво коренастый, плотный парень с извилистым шрамом на левой щеке. — Вы бы ее подрубили. Топоры у вас есть и пила, если надо.

— Ловок ты! Ведь не лето! Сунься-ка в воду, ошарит!

— Велико дело — вода! Это только в бане горячая бывает! Ну, озябнешь — выскочи, у огонька погрейся. Зато не надо тут сидеть, по бревнышку залом раскачивать! И вместе домой пойдём, артелью.

— Кабы водка — хватил бы стакан и согрелся! — вставил свое пожилой с бородкой. — Тогда бы и я в воду полез. А так...

И он безнадежно махнул рукой.

Парень со шрамом подошел к топорам, выбрал себе один по руке и стал неторопливо раздеваться.

— Брось, Степан, застынешь, — заговорили остальные. — Из-за чего простуду наживать? Разберем и по бревнышку!

Но Степан уже разделся, а потом, обув сапоги без портянок, зашагал по скользким камням.

— Верно, холодно! — пробормотал он, когда вода залила голенища его сапог. Вот он погрузился почти по шею, вот идет всё дальше, дальше, вот стал на месте, пробуя ногою дно, передвинулся ниже по те-

чению и, видно, нащупал отмель — показался из воды по пояс.

Все молча следили за ним, опираясь на багры.

— Правей, правей бери! — крикнул ему кто-то. Коряга вон под тем сосновым бревном!

Но Степа, стоявший теперь в воде только немногим ниже пояса, присел и начал орудовать топором под бревнами — только вода вскипала вокруг его белого и плотного тела.

— Готовь багры, становись к бревнам! — крикнул он, с усилием выворачивая корягу из реки. — Давай, не ленись, сейчас рванет!

И рвануло! Раздался глухой шуршащий гул. Бревна залама закачались, зашевелились, ожили...

— Степа, берегись! — отчаянно завопил кто-то, и все подхватили: — Берегись, пошло, пошло! Брось топор, плыви!

Залом дрогнул и, словно нехотя, стал выгибаться своей шершавой спиной, быстрее, быстрее замелькали в черной воде отдельные бревна. Гул нарастал.

— Берегись, Степа! Эх, парень!

Но Степа уже плыл саженками, фыркая и отдуваясь, а его настигали бревна, вырвавшиеся из плена.

— Эх, сомнет его! Зачем только полез!

— Ты не полез бы — робок! Держись, Степа!

А он уже был у берега, посиневший от холода, но довольно улыбающийся, с топором в руке.

— И топор не бросил! Головушка! Мог бы пропасть из-за него!

— Вот еще! Топор человеку первый помощник, — бормотал Степа, вылезая на сухой берег. Он подошел к костру, снял сапоги, хлюпавшие водой, и стал, подрагивая, одеваться.

Остальные в это время орудовали баграми, скатывали с берега обсохшие бревна — споро и дружно шла

работа. Глухо постукивали друг о друга, трещали иногда, ломаясь, бревна, но река несла и несла их всё дальше и дальше.

Одевшись, Степан присел у огня, негнуцимися от холода руками свернул сигарку и с наслаждением закурил.

— В сапогах тяжелее плыть. — сказал я.

— В случае чего их скинуть можно, — ответил он. — На босу ногу обуты. А без сапог нельзя по камню идти — ноги поранишь. Я теперь их на палочки поставлю, вода из них выбежит, зато у меня портянки сухие, согреются ноги.

Он блаженно растянулся у огня, как человек честно заработавший свой отдых.

— Здоровенная коряга меж камней заклинилась, — заметил он. — А в воде рубить трудно, в ударе силы мало. Подрубил главный сук, пришлось его обламывать.

— Ранение? — спросил я, кивнув на его шрам на щеке. Шрам ярко горел на бледной от холода щеке.

— Осколком, — коротко ответил он.

— Есть-таки у вас силенка!

— Была! Пойти разве к ребятам, а то у огня с одной стороны жарит, с другой ветерком берет.

И, подняв багор, зашагал к берегу.

★ ★ ★

Вместе с бригадой и я возвращался домой. Давно уже была ночь — звонкая и тихая по-осеннему. Лунный свет косыми полосами падал на дорогу среди соснового бора.

Поровнявшись с Васильем — это он рассказывал о том, как несли крупу — я спросил:

— Что же в дальнейшем с вашим товарищем ста-

до, с которым вы ребятам крупу несли? Жив он остался после боев?

— Это кто? Степка-то? Жив!

— Степан, сказали вы? Не тот ли, который сегодня корягу рубил?

— Он самый! Хороший мужик! Мы его все Степаном-простотой зовем. Он такой — без выдумок, без ехидства, что ли. Со всеми заодно!

Под ногою тоненько позванивал первый ледок. Быть утром белому инею!

ПЕТУШИНЫЕ ГОЛОСА



ЕДУ Никите — без трех девяносто. Но он еще крепок.

Была в свое время у деда большая семья, но, вот, раскидало всех близких по белому свету — есть сын на Камчатке, есть дочка на Кавказе. Два сына на войне погибли, бабушка умерла. И дожидать бы деду свой век в одиночестве — никак не хочет он с родного севера к сыну или дочке ехать — да опять семья, завелась: внук и внучка. От сына Николая, что погиб под Сталинградом. Жили ребятишки сначала при матери, потом мать умерла, оказались они в детдоме.

Дед об этом узнал, выхлопотал, чтобы ребятишек поближе к нему перевели, тогда у нас в районе свой детдом был. Ходил туда дед каждую неделю, ребят навещал. Подросли они — сами к дедушке в гости набегать начали.

Выучилась внучка, портнихой стала и живет при дедушке. Внучек тоже хорошо учился. Дед свой столярный инструмент сберегал:

— Внуку. Кончит учиться, я из него столяра первой руки сделаю! Спасибо мне скажет за науку и инструмент.

Не так немножко вышло — внука не на дерево.

на железо потянуло. Приехал к дедушке слесарем и токарем. Но старика обижать не стал:

— Ладно, дедушка, учи и на столяра, не пропадать же твоему инструменту!

В свободную минутку внук — к столярному верстаку.

Ничего живут, хорошо, дружно. Одно не по душе деду (известно — человек старого закала): не тянет внучат хозяйствовать, скотину заводить. Дед бы и коровушку завел да внучка:

— Вот еще новости! Буду я с коровой возиться! Молоко и в магазине есть.

А о внуке и говорить нечего:

— Я, дедушка, в колхоз бы пошел да только шофером или трактористом. А с коровами возиться да с огородами скучно!

Дедушке без скотины все-таки скучно. Вот и держит он петушка и курочку. Хлопот с ними немного, а забава есть — летом курочка каждый день яичко приносит, а петух и летом и зимой в трудах — ночью за часы отвечает. Все-таки дедушке веселее — есть живность в доме.

И вот, случилось по осени, окошел петушок. Вышел утром дедушка на двор, а петушок лежит под нашестом, глаза заведены и совсем уже остыл.

Поохал дедушка, повздыхал да что поделаешь? Надо нового петушка покупать. А дохлomu петушку известная честь — за хвост да на улицу, может, кошки или вороны подберут.

Вышвырнул дедушка дохлого петушка и стоит на улице, рассчитывает, где бы петушка купить и сколько за него возьмут. Дедушка счет любит, у него копеечка в уваженьи.

Идет улицей соседка Татьяна, маленько помоложе дедушки:

— Чего, Петрович, горюешь да еще и без шапки на морозе?

— Загорюешь тут, Татьянушка! Петушок сегодня околел!

— Ты бы его так попусту под забор не швырял, а похоронил бы в земельку. Этак честнее будет и петушку уваженье!

— Тьфу! Сказала тоже! Чего это я с дохлятиной возиться буду? И без меня его кошки или вороны подберут!

— Ой, неладно! Петух по ночам нечистую силу криком отгоняет, а ты к нему без уваженья относишься..

— Брось-ка ты! Скажи лучше, не знаешь ли петушка продажного?

— Пока не знаю, а прознаю — скажу.

Тут внуки обедать пришли. Пожалели петушка — первый забияка на всю улицу был, всегда гребень в крови, а не уступит никому.

Пообедали, посмеялись и опять на работу помчались.

А на второй день после этого и началось.

Уйдут утром молодые на работу, дедушка пол в домике подметет и на теплую лежанку. Можно под старость и отдохнуть.

Тихо в избе, только часы одиноко почикивают. Только дедушка задремал, как вдруг рядом, где-то в дому:

— Ку-ку-ре-ку!

Звонко, залиvisto, а в конце с протягом и завертушкой. Так дедушку и подкинуло.

— Господи, твоя сила! Да, никак, петух ожил и домой пробрался? Как же это так?

Вышел дедушка на улицу. Нет, дохлый петух под забором лежит. Не утащили его кошки и вороны.

Улегся опять на лежанку, задремал, а петух снова как хватит:

— Ку-ку-ре-ку!

Сел дедушка на лежанке. В ушах прочистил. Думает:

— Что ж это такое? Вина или водки, да что там! — пива лет двадцать капли в рот не брал. А чудится! Тьфу! Добро бы ночью...

Какое — ночью! За окнами солнышко, день ясный, морозный.

Покрестился дедушка. Какие молитвы помнил — все перечел. Нет, не помогает. Орет петух.

К полудню петь перестал. Внучка пришла — дедушка ей о чудесах ни слова. Думает: «Может, это спросонков казалось». Спрашивает:

— А что же Валентин обедать запоздал?

— Он с бригадой слесарей в колхоз «Красное знамя» уехал. Молотилка там сломалась. Послезавтра приедет.

Жутко было дедушке ночью. В свои, урочные часы орал петух где-то вот рядом. Под утро стало казаться дедушке, что уже не один, а три петуха орут вперейбой. Сна лишился старик.

А внучке что? Дело молодое, сон каменный. Ей хоть сто пегухов кричи — не проснется.

Утром отправился дед по знакомым старушкам. Советоваться, в чем дело. Они, старушки, иногда в таких делах лучше прокурора разбираются. И средства знают.

Аксинья Ивановна старика кофеем напоила. Выслушала его жалобу, головой покачала и полушепотом заговорила:

— Не к добру это, Никита Петрович, не к добру, миленький! Кабы попы близко были, они бы тебя отчитали. Есть такие молитвы. А я что? Заговор от зло-

го духа знаю, это верно. Ужо пошепчу, да тебя водичкой с уголька сбрызну.

Верно, сбрызнула, всю бороду Петровичу замочила. Приходится терпеть.

Пришел старик домой, улегся на лежанке. А петух опять орет, звонче прежнего.

Пришлось к другой старушке идти, к Анне Семеновне.

А лучше бы и не ходить! Вот что она Петровичу отрезала:

— Делов у тебя нет, спишь, как кот, круглые сутки, вот тебе и грезится несуслазное. Прогулялся бы в лес, что ли, метел бы связал двор подметать. И спал бы после этого без петушиных голосов!

Спасибо за совет! Анна всегда такая невера была. Многим ли моложе Петровича, а еще в клуб ходит, в старинном хоре запевалой состоит, любую молодую перепоеет. Ведь знал это дедушка, а пошел. Зачем?

Пришлось на самый дальний край села идти, к Евдокии Мартыновне. Эта бабка не простая. Она кое-что знает!

Знать-то знает, а наотрез старику заявила:

— С пустыми руками такого дела не распутывают!

Тяжелехонько вздохнулось дедушке, когда вытащил он из кошелька двадцатипятирублевку. Меньше, как на зло, бумажки не было. А Евдокия эту бумажку, что вороньей лапой, сгребла — только синее мелькнуло.

Завела старика в чулан, поставила его на доску, руки приказала крестом сложить и начала шептать, бормотать, что тетерев на току. И дунет, и плюнет, и опять бормочет. Под конец вырвала у старика сивый волос из головы, разорвала его на четыре части, в воздух метнула и еще раз плюнула:

— Иди домой и спи спокойно! Не услышишь петушинных голосов! Прогнала я дьявола из твоего дома, от четырех столбов, от печища! Тьфу, тьфу, тьфу!

Жалко денег, зато дома тихо будет! Идет дедушка Никита, торопится на свою уютную лежанку.

После такого похода за два километра да по морозу хорошо полежать старику. Подушку повыше подоткнул, полушубком закрылся и стал видеть первый мягкий сон. А петух:

— Ку-ка-ре-ку!

С протягом в конце и завертушкой.

Дедушку что шилом с лежанки скovyрнули. Какой тут сон!

В каком углу избы ни присядет — везде слышны петушинные голоса!

«Придется, — думает дедушка, — опять к ворожейке идти, еще бумажку нести несътой рожее! Пусть до конца дело доводит, а то я с ума сойти могу!».

Утром, только внучка печь затопила, и внук является:

— Вот как наша бригада развернулась! Ночь не спали, а дело сделали! Гудит молотилка, как реактивный самолет, работает лучше прежнего! Нашу бригаду, трое нас было, председатель за это на легковушке домой доставил!

Тут петух опять заорал.

— Дедушка, а петуха-то что же ты и не видал?

— Какого петуха?

— Да что я тебе купил? Я его в подполье пустил, зерна ему сыпнул да воды в тарелке поставил. Забыл только тебе сказать — срочно уехал. И сестра не знала! Это тебе взамен дохлого!

Откинул люк, лезет в подполье — оттуда слышно, как петуха ловит и подносит его дедушке. Славный петух — черный, что головешка, а гребень красный,

что калина на морозе! И видно по всему — великий драчун!

Ну, вот и вся история. Дедушка с Евдокии неделю целую двадцатипятирублевку обратно требовал. Не отдавала, пока прокурором не пригрозил. А прокурора Евдокия побаивается.



РЫБОЛОВЧКА

ДЫМ костра, прямым столбом поднимавшийся к вершинам сосен,

вдруг метнулся в сторону, другую и пополз над росистым лугом, смешиваясь с туманом. Пламя костра вспыхнуло ярче, затрещало искрами.

Это — первый порыв предрассветного ветра. Разобрав удочки, я спустился с берега к омуту. Высокая трава, свесившаяся над темной водой, кусты ивняка да и сам омут еще жили своей ночной жизнью — что-то попискивало, шуршало, суенилось; вздрагивали высокие стебли пахучей таволги, а по воде расходились медленные круги — ночные хищники торопились с выгодой для себя использовать короткую летнюю белую ночь — беззвездную, налитую пепельным сумраком.

Поплавки закачались на воде. С каждой секундой я всё лучше различал их, и каждая секунда была полна для меня чудесного ожидания, знакомого только удильщику.

Туман сгустился, качнулся, стал розоветь, золотиться, и пряди его потянулись над рекой. Еще страстнее, настойчивее заскрипели дергачи. Некрасива их песня, да без нее нет настоящей рыбацкой зорьки.

И вот... поплавок одной из удочек привстал, кач-

нулся, прилег, опять привстал, помедлил и стал скользить под воду. И через удилице моей руке передалась не только тяжесть рыбины, подсеченной крючком, но и ее живое, напряженное сопротивление тому, кто не дает ей броситься в глубину, уйти.

Вот эти-то секунды — самые дорогие, самые прекрасные для рыбака! Гнется вершина удилица, леса со звоном режет воду... А потом что-то смутно блеснет в черной воде, исчезнет, сверкнет еще ближе и темно-золотистый лещ ляжет «на плашку», обессиленный, ошеломленный.

— Не торопиться, не торопиться, — мысленно повторяю я. — Ни одного резкого движения. Спокойней, спокойней! Вот так!

Лещ подведен к берегу. Не оборачиваясь, протягиваю руку за сачком, чтобы поддеть им свою добычу. Но сачка нет! Оглядываюсь...

Девушка в синем, с белым горошком, платье, в зеленом платочке, босая уже подводит мой сачок под леща, подводит умело, без шума, ловко поддевает им рыбину и, не говоря ни слова, быстро относит ее на берег, подальше от воды. Присев на корточки, она освобождает крючок из вялого рта рыбы.

— Давайте рюкзак! — шёпотом командует она мне. И лещ оказывается в рюкзаке.

Я насаживаю на крючок нового червя, искоса поглядывая на неожиданную помощницу. Она моет руки и делает это, как подобает настоящему рыбаку, без шума. Потом шепчет:

— У вас три удочки. Дайте-ка, я за одной послежу!

Приносит полено, устраивает себе сиденье и замирает в той же позе, как и я, — согнувшись, глаза на поплавок, правая рука готова в любой миг лечь на удилице.

Всё правильно! Тишина, порядок, никаких разговоров за удочкой на заре... Откуда взялась тут этакая синеглазая рыболовочка? И почему она с полным знанием дела, мало того — с настоящим рыбацким интересом отобрала от меня удочку? Посмотрим, что у нее получится, когда клюнет.

Совсем рассвело. Теперь вода омута кажется огненно-золотой, в синих зыбких полосах — вот-вот взойдет солнце.

Я вывожу второго леща — на этот раз девушка не подсачивает рыбину, ей не до того — поплавок ее удочка начинает вздрагивать, покачиваться.

— Сачок! — слышу я сдавленный окрик. Молодец девка! Губы сжаты, прядь светлых волос свесилась ей на глаза, она нетерпеливо встряхивает головой, но лещ на ее удочке уже выведен на плашку. И рыболовочка подсачивает его.

Лещевая заря кончается. Начинает клевать, обжираться червей мелочь — окуньки, ельцы, вороватая бесстыжая плотва. Сидим молча еще с полчаса, но разгуливается ветер, мелкая рябь бежит по реке. Пора кончать!

Смотав удочки, с удовольствием разогнув спину, выбираюсь к почти погасшему костру. Подбрасываю топлива, подвешивая чайник. Девушка откровенно позевывает, жмурится — так приятно после того, как посидел у воды среди росистой травы, погреться, обсохнуть у огонька. Да и солнышко, едва успев выкатиться из-за леса, уже пригревает по-настоящему — добрый будет денек!

— Вот, думала, приду домой и спать, спать, — смущенно говорит рыболовочка. — А увидела, что вы леща поймали — не утерпела, навязалась в товарищи!

— Что-то я вас не знаю, — осторожно начинаю разведку. — Не местная вы, наверно?

— И я вас не знаю, — улыбается она. — Вы-то, конечно, здешний?

Называю себя. Закон требует порядка, как говорилось в старину. И девушка рассказывает, что зовут ее Аней, что фамилия ее — Бойцова, а в наших местах она еще первый месяц. Назначена зоотехником в колхоз «Колосово». Вчера, возвращаясь в свой колхоз из районного центра, она по совету какой-то бабушки решила идти не большой дорогой, а тропой вдоль реки; бабушка сказала, что так ближе километра на три.

— Ну, вот и всё. А далеко мне еще идти?

— Через час дома будете.

— Вот и хорошо! А знаете что: я прилягу на полчаса, так спать хочется, так спать...

Раскидывает старенькое пальтишко, прикрывает подолом босые ноги, туфли и узелок укладывает под голову и готово — уснула.

Чайник вскипел. Отставляю его в сторону, с кружкой ухожу в еловую чащу — надо черники набрать, угостить рыболовочку.

Когда я возвращаюсь, девушка уже проснулась, умылась и теперь причесывается.

— Оводы летать начали! — обиженно говорит она. — Не дали выспаться. Кусаются. Вот, встала, обулась. Да мне немного сна требуется. Теперь и спать не хочу, а то было разморило на заре. Ой, вы черники набрали? Уже спелая?

Снова подогреваю чайник. Девушка, не стесняясь, как и полагается истому рыбаку, принимает кружку с чаем, берет ломоть моего хлеба.

— А вы моего печенья возьмите, — предлагает она, развязывая узелок. — И пряники тут у меня есть. Только, по-моему, у костра с хлебом да черникой самый настоящий чай. И хорошо, когда он чуть-чуть дымком пахнет!

И рассказывает о себе:

«Отца у меня в армию призвали в сорок втором году. Вот и остались мы; мама, я — самая старшая из ребят, да еще два братишки и сестренка годовалая. Сами знаете, как трудно в те годы было — мама и дояркой работала, и пахать ей пришлось, и косить, и жать. Очень трудно, а от нас помощи никакой. Мне тогда одиннадцатый год только еще пошел. Потом у нас в колхозе для ребятишек площадку устроили, кормили их там, и старушки за ними приглядывали, а для самых маленьких — ясли. Мне очень хорошо, а то я летом за няньку отвечала, а так хотелось с ребятишками самой побегать, поиграть. Мне-то легче, а маме все равно тяжело — придет вечером, от усталости сама с ног валится, да нас еще накормить, уложить надо. А в доме кроме хлеба да молока из еды ничего нет. Нам-то, ребятишкам, это самая еда, а матери, понимаю, этого мало, работа у ней мужская и извелась она — страшно глянуть — одни кости, лицо худущее, темное. Ей и работа, и обо всех забота.

И так мне хочется маме помочь, а чем — не знаю. Ну, по дому всё справлю и даже корову обряжу, доить научилась. А что дальше? В колхоз работать еще мала. Ходила колоски подбирать, да разве это работа?

Вот раз полезла я на чердак за чем-то. Вижу — отцовы удочки лежат, в пыли, в паутине. Отец у меня — рыбак, охотник. Поглядела я на удочки и заревела — отца вспомнила. Он веселый у нас, неунывный. И реву я потихоньку, чтобы не услышали, не заметили...

Вот тут я и придумала с удочкой на реку сходить — вдруг да рыбы наловлю? Мама придет вечером с поля, будет чем поужинать, горяченьким. Вот она силы наберется, а то с куском хлеба за столом засыпала.

Говорят, не женское дело удить! Мало ли чего раньше не женским делом считалось, да теперь этого

нет! Вон, капитан дальнего плавания есть — Воронина. Так ведь — капитан!

Червей я днем накопала. Дело знакомое — отцу их тоже добывала. Он мне по двадцать копеек за банку давал — первый мой заработок. Легла спать, жду, когда мать уснет. Дождалась — и тихонечко из дома с удочками в огород да задворками к реке. Никто меня не заметил, а то бы высмеяли. Ну, да этого не очень-то я и боялась!

И что скажете? Так мне для первого раза повезло, так повезло! Двух подлещиков выудила, ершей порядочно, а под конец и лещик попался, килограмма, этак, на полтора. Пока его тащила — думала от волнения сердце разорвется! Уложила его в котомочку, а сама села на траву и успокоиться не могу, даже руки трясутся. А вдруг бы сорвался? Даже страшно стало! Заглянула в котомочку, нет, здесь лежит, рот разевает. Мой!

С этой ловлей перемазалась я в земле, в рыбьей слизи. Ужас! Еще до солнышка домой побежала, удочки в кустах запрятала. Бегу и думаю, только бы до меня мать не проснулась, а то попадет мне за ночное бродяжничество. А все-таки бегу, бегу да от радости и подпрыгну! Не ушел лещик от меня! Не ушел!

Мать еще спала. Я платьишко свое скинула, наскоро, без мыла, выполоскала его, повесила сохнуть на жердочку. Переделалась, стала рыбу чистить. Потом картошки в котел накрошила, соли бросила. Затопила печь, варю уху. Да у печки и уснула!

Мать будит:

«Нюрка, откуда у нас рыба в котле взялась? Повариха! У печи уснула! Кто рыбы дал?»

«Я сама наудила!»

«Не ври-ко ты, девка! Приснилось тебе!»

«Да сама же! Ночью на Яровой омут ходила с па-

ниными удочками. Леща поймала, двух подленников да ершей сколько-то. Не считала...»

«Брось сказки рассказывать! Это, чтобы ночью да на реку!»

«Да, мама! Чего ты не веришь? Я правду говорю! Платье на реке испачкала, измазала. Выстирала его, вон на жердочке, на улице сохнет. Удочку я в кустах спрятала — на вечернюю зорю схожу!»

Мать — на улицу. Ну, думаю, нахлещет она меня мокрым платишком! Шмыг — на кровать и завернулась в одеяло. Мать у меня не злая, только под горячую руку ей не подвертывайся. Потом и сама пожалует, да мне-то не легче... Слышу: мать идет. Я — голову под подушку.

«Нюрка, да как ты насмелилась?»

Голос не сердитый. Я нос из-под подушки высушила:

«Верно я тебе, мама, говорила? Верно? Платье-то мокрое? Ты только не сердись! Ладно?».

Смолчала мама. Слышу у печки ухватами застучала, стряпней занялась. А я — спать. Расстраиваться, вижу, нечего!

На завтрак уха была. Мосго старанья! А леща мать зажарила. Как при отце. Бригадир забежал, на покос маму торопит. Собралась она, говорит мне:

«В другой раз на реку пойдешь — сапоги обязательно обувай. И пальтушку мою старенькую бери!»

И стала я, уже не таясь, не только по зорям, но и днем удить. Ребятишки начали надо мной смеяться, так я одного-другого удилицем отволтузила, и смешкам конец. Стали меня уважать, и я на реке среди них вроде старшины была, порядки наводила. Мальчишки они такие, если рыба не клюет, так у них и терпенью конец, крик поднимут, шум, а я всегда тихо-тихо сидела, вот мне и везло на рыбу. И мальчишки мне под-

чинялись. Девчонки тоже посмеивались, только больше от зависти — иная боится червя в руки взять, не то что ночью у омута в одиночку посидеть...»

Рассказала и пошла своей лесной тропинкой — легкая и стройная.

Я залил водою дотлевший костер и тоже пошел своей тропой. Лес уже по-дневному шумел — усердно трудился ветер-работяга. А в чащах в тени еще сверкала на травах роса. Иволга, как золотой самородок, мелькала в березняке, свистела радостно и беззаботно. И Аня-рыболовочка на миг показалась мне похожей на эту солнечную птицу.

БОЛЬШОЙ КОЛОС



НЕТ, старики, погодка эта — надолго, вспомните мое слово! Надолго! У меня свои приметы есть. Верные!

— Сиди ты со своими приметами! Кабы ты наперед погоду угадывать умел, ты бы не в нашем колхозе конюхом был, а в Москве, в как его... имени Штернберга. Вот что по радио в последних известиях передают.

— Его туда приглашали, да ставка ему мала. Не согласился!

— Кто меня приглашал? Молчал бы ты! А погоду я хорошо понимаю. Погниет теперь весь хлеб на корню! Шабаш! При таком дожде ни комбайну, ни жнейкам ходу нет. А что и уберет — одно зерном созреет, другое — в валках.

— Ветер заиграл — разгонит тучи.

— Кабы так — хорошо! Обдуло бы хлеба, вода бы с них скатилась.

— Ефрем, ты же сейчас трубку выколотил и опять ее набиваешь! Гляди-ко, почернел от табаку, помрешь до сроку.

— Не помру. Копченое, соленое, да што в спирту — дольше стоит, не портится.

— Это ты себя в свиной окорок переделать хочешь? Так, что ли?

— Ему, старики, и соль в пользу, и спирт. Каждый день чукушку выпивает и селедкой закусувает. Он долго проживет!

— А кто тебе мешает так-то делать?

— Не вижу в том надобности. Да хоть бы курить сократили: председатель придет — ругаться будет.

— Эк, напугал! Да он сам папироски из зубов не выпускает. А гляди-ко, на улице светлей становится.

Курили, докуривали, швыряли окурки в угол, в лохань и опять запаливали самокрутки. Несколько стариков, собравшихся в колхозной конторе — кто по делу, кто лишь для того, чтобы на людях быть, наслаждались именно этим людством, возможностью поговорить. Всё они давно отработали, что им было на роду положено крестьянской жизнью, и теперь колхоз давал им работу стариковскую. Обидишь старика без этого. А стариковская работа такая, что времени свободного оставалось достаточно, чтобы вот так собраться компанией, то на завалинке в теплую погоду, то вот тут, в правленьи, которое кто-то давно прозвал стариковским клубом.

Да и как не собираться старикам в правленьи? Именно они, эти старики, четверть века назад после мучительных раздумий и колебаний вступали в колхоз, ломали в себе то древнее, что досталось им в долю от многих поколений пахарей. Молодежь не испытала этого, но старик не может и помыслить себя в стороне от колхозной жизни — она его сущность. И пусть уже слезятся холодной слезой глаза, ноет поясница, дадут себя знать к погоде натруженные руки и ноги, пусть и всей-то работы у иного старика — с колотушкой и ржавой шомполкой побродить ночью у колхозных амбаров или в сенокос отбивать косы, но что ж поделаешь, коли сила не берет?

И никто так не переживает плохую погоду в дни

уборки, как старики. Иной парень даже легкомысленно рад непогоде — можно слезть с железного трясучего сиденья жнейки, выспаться как следует под шум дождя по крыше сеновала. Но старики хмурятся, если нахмурилась погода, и горестно вздыхают вот в такой дождь:

— Всё погниет, пропадет, останемся без хлеба!

— Вот еще! В магазине сельпо покупай печеный! — зевнет иная беспечная молодая душа.

— Дурак! — застучит на него старик вересовым костылем. — А кооперация-то откуда хлеб берет? От нас, от колхоза! Дурак, дурак!

— Ну, чего ругаешься? — отступает молодой.

— Мало ругаться, бить тебя надо! Кабы до колхоза да ты моим сыном был, я бы тебе показал, как на печеный дядин хлеб надеяться. На свой надейся!

А сегодня старики в правленьи были полными хозяевами. Ах, какой хорошей была погода с утра. Ни облачка на небе, тишина! И колхоз опустел, даже старушонки уплелись куда-то на ближние участки теребить лен на углах, где его не захватывали льнотеребилки. Но старики не доверяли утреннему солнцу, твердо зная, что лучше восход солнца в облаке, чем его закат в нем. А вчера солнце село в тучку, сегодня поднялось чисто. И вот, как по-писаному, к полудню — дождь.

У печи, прислонясь к ней спинами, сидели на корточках братья Огурцовы Никита и Семен с лицами, словно сделанными в одной форме — узкими, бурыми от загара, одинаковыми узкими рыжими бородками. На лавках вдоль окон полулежа вольготно устроились Макар Курицын, Василий Гребнев и Иван Отводишев, председательским стулом завладел конюх Николай Туричев, а на пороге двери сидел некурящий Егор Солодов, почему-то в новом ярко-оранжевом тулупе и ва-

денках. Когда в правленьи становилось совсем туманно от табачного дыма, Егор приоткрывал дверь, покачивал ее, чтобы дым скорее вытянуло.

— Прикрой ты ее — помещенье выстудил, по ногам холодом тянет! — ворчали Никита и Семен.

— А вы не курите! — отвечал Егор и, выждав нужное, по его мнению, время, тихонько, чтобы все же оставалась щелочка на волю, дверь прикрывал.

— Что у тебя в мешке? — нет-нет и спрашивал кто-либо из стариков Егора. — Тот клал руку на мешок, набитый чем-то рыжлым, вроде соломой, отвечал нехотя:

— Так. Заделье одно. Председателю надо показать.

— Какое заделье?

— Ужо придет — покажу.

И опять начинался разговор о дожде, об уборке и о многом другом, что всех задевало, огорчало.

— Вот тебе — и машинами убираем, а не справляемся, — замечал конюх.

— Кабы погода получше...

— То-то что погода. И машина погоды боится. Ежели бы у нас посевов было, как в первый колхозный год — за два дня машины всё бы подчистили. А мы широко развернулись. Вот машинам и не осилить, — продолжал конюх.

— Сравнил — первый год и нынешний! Тогда по серпу равнялись.

— А что, старики, вот слышал я, вроде как сказка, от отца своего. Про самые древние времена...

— При царе-Горохе и царице-Чечевице?

— Нет, погодите. Вы послушайте, — настаивал конюх. — Вот будто в стародавние времена не такой хлеб рос как нынче, без соломы. Прямо от земли колос начинался, а был тот колос длинной, как вы думаете? Был он длинной во всю теперешнюю соломину!

— Здорово! Вот урожайность-то была! Пудов, наверно, пятьсот с гектара!

— А слушайте Туричеву сказку!

— Нет, сказка забавная! Вот бы такой хлеб вырастить!

— Вы дальше слушайте. Столько хлеба у мужиков стало, что завалились зерном. Продавать тогда хлеб было некому, вот и растили себе на еду да скотинке что полагается. И стали мужики хлебом пре-небрегать! И вот сошел с неба бог, оделся по-мужицки, ходит и смотрит, что мужики с хлебом делают. Видит: вышел мужик на крыльцо с мешком пшеницы, высыпал его весь поросенку и курицам — ешьте, мол, без меры, да еще по зерну по этому в сапогах прошелся без надобности...

— Нехорошо!

— Чего и говорить!

— Вот, вот! Да это что! Зашел бог в одну избу, а там по полу ребеночек ползает, играет, ну, ребячьим делом, и обмарался. Тут мать подбежала и не то, чтобы ветошкой подобрать, подмыть, а схватила со стола, с блюда горсть блинов и давай ими как грязной тряпкой орудовать!

— Ай-яй-ай!

— Дать бы ей за такое хулиганство!

— Дура!

— Тьфу!

— Рассердился бог и говорит: «Коли вы цены хлеба не знаете — убавлю вам колос, чтобы каждое зернышко большим потом доставалось!

— Всё?

— Всё. Чего тебе еще надо?

— Сказка, оно, конечно, сказкой и будет. Дура баба! И все-таки не плохо бы и нам такие старозаветные колосья иметь.

— Комбайну бы не справиться. Застрял бы сразу!
— Ну, да! Поставили бы сильный мотор — справился!

— С сушкой бы зерна затерло!

— Справились бы и с этим! Зато много меньше площадей бы под хлеб понадобилось. И пахать немного и прочее. А зерна было бы невпроворот.

— Чего о пустом говорить, о сказке, когда с теперешним хлебом на уборке путаемся, как курица в пакле!

— Погода — всё дело в ней. Вот в третьем году осень была — полтора месяца ни дождинки! Как хорошо тогда убрались!

— Такие хорошие осени на редкость! Из десяти одна!

— Чего и говорить!

— Дождь-то никак и перестал, старики?

— Верно, не шумит. Вот и хорошо, может прояснеет.

— Время — обед. Домой бы надо. Сейчас с поля народ ворочаться будет.

— Обед хорошо, да никак я сегодня не евши буду?

— Что так?

— Видишь — в валенках! Сюда шел по пыли, а теперь грязь на улицах развело.

— Как же так: говорил, что погоду заранее узнаешь, а сам в валенках из дома ушел? Для себя погоду узнать не мог?

— Он у нас вроде цыганки-гадалки. Та тебе всю твою судьбу вперед на сто лет расскажет, а того не знает — подадут ли ей за гаданье?

— Чего там, старики, мы ведь и все в валенках. Придется домой босыми идти.

Вошел председатель колхоза в гремящем от сырости плаще, в сапогах, заляпанных глиной.

— Ну и накурено! — замотал он головой, но тут же достал из кармана свой кисет. — А с утра и про табак забыл. Всё погода! Теперь — налаживается. Сиди, сиди на моем троне! — махнул он конюху, выбирающемуся из-за стола с председательского места. — Сейчас домой обедать пойду.

Он присел на лавку.

Егор Солодов торжественно положил свой мешок перед председателем:

— Диковинка тут одна для тебя и прочих наших правленцев в этом мешке, Василий Петрович!

— Что за диковинка? Ёж, что ли? Так я ежей видал.

— Вроде ежа. Давай, тебе сам покажу и расскажу. Приходил я к тебе вчера утром, говорил, что в поле пойду и по колосьям урожайность нашей пшеницы установлю. Говорил?

— Говорил.

— И ты согласие дал?

— Отчего не дать? Дело хорошее. Одно — агроном установит, другое — хлебороб, как ты. Установил?

— Установил. Не знаю, как агроном устанавливает. А я по-своему. Выбрал участок со средней, по моему, урожайностью, вымерял гектар площади, по углам гектара серпом по квадратному метру пшеницы сжал, да в середине тоже в один метр. В пяти, значит, местах. Вот — пять мешков свернуты, видишь? В каждом колоски с метра посева, я каждый колосок вручную с соломы снял и на земле ни одного даже маленького колоска не оставил.

— Понятно!

— Слушай дальше! Я эти колоски дома на печи высушил, в руках растер, зерно от мякinki отдул и в отдельный пакетик с каждого метра ссыпал. Потом в магазин сходил и там самыми мелкими гирями зерно

перевешал, опять-таки с каждого метра отдельно. Гирь мелких не хватало — мы копейками бронзовыми пользовались. Ведь каждая копейка ровно один грамм.

— Знаю! Что же получилось?

— А то получилось, что ежели дочиста, до зернышка, пшеницу со среднего любого гектара убрать, то уродила наша земелька по сто двадцать семь пудов с гектара!

— Брось-ка ты!

— Чего брось? Давай, завтра опять с любого гектара обмер сделаем по моему образцу — сам убедишься! А ты вот что нам скажи: почему мы с гектара от силы по полсотни пудов получаем? Куда зерно девается? По восемьдесят семь пудов теряем. Вот ты что скажи, председатель!

— Н-да! Восемьдесят семь пудов! Только нам никогда так не сделать, чтобы весь массив, как ты, руками по колоску собрать да на ладони, опять по-твоему, обмолотить. Это только для опыта!

— Ладно, согласен. Хоть маленькие потери да должны быть. Не без этого. Кладу от силы — двадцать семь пудов на мышей, на ворон и на людей-растяп. И то должны получить стопудовый урожай. Нет, давай об этом серьезно говорить!

Председатель видел перед собою насторожившихся стариков — иные даже рты пооткрывали, в нетерпении ожидая, что он ответит.

— Дело серьезное. На него сразу вот так не ответишь. А вот что — сегодня вечером как раз правление собирается. Вот ты и расскажи как, что. Обсудим, увидим, в какие дырки у нас зерно течет...

— Согласен! Мешки эти опытные я вот тут в шкафу оставлю, а подсчеты свои — вот в книжечке записной у меня — с собой возьму. Поговорим!

Председатель поднялся:

— Ну, тогда обедать! Вишь — и солнышко заиграло! Пойдемте, старики, по хатам! Да вы что в валенках? Грязища такая!

— Придется босичком, как ребятишкам.

— Вот что сделаем — у крыльца конь в телеге, на нем я в поле был. Все равно его Николаю Туричеву на конюшню отводить надо. Вот он вашу валеночную команду по домам и развезет. А я в сапогах — и так домой дойду.

Усевшись в телеге поудобнее, Егор Солодов запахнул в тулуп и сказал, ни к кому не обращаясь:

— А то «Большой колос», «Большой колос»! В старину, при дедах! Шиш он был такой колос! В сказке только! У нас колос не хуже, а зерно из него всё еще взять как следует не можем!

КОЛХОЗНЫЕ РОЗЫ



ВЫ, наверно, удивляетесь, проезжий товарищ, что вот старик в очках, а цветочками торгует в ларечке на пристани? Угадал? Вы правы — обычно в городах цветы продают девушки, женщины молодые. Старушки и то от этого дела больше в стороне. Как-то уж так принято: цветы и девушки. Цветы от этого приятнее становятся, и девушки среди цветов особо хороши. Кто и не понимает, но либо цветами и девушками полюбуется, приостановится на минуточку, либо вытянет деньги и букетик приобретет — милой в подарок... А тут — колхозный ларек, цветы, и командует ими такой седобородый сморчок, как я.

Всему свое объяснение имеется. Если у вас время свободное есть, пароход еще не скоро прибудет, то и у меня свободного времени достаточно, а покупателей до прихода судна не предвидится. Садитесь вот сюда, на скамеечку, и раз вы любопытствуете — расскажу, почему колхоз цветами торг ведет, а продавец — старик.

Надо вам сказать, что родом я из этих мест, точнее — из той самой деревни, где и теперь проживаю. Это в той самой, где теперь правление нашего колхоза. Однако лет пятьдесят я в этих краях не был. Мальчишкой увезли меня в Петербург, в люди, как тогда

говорилось, и пошла моя жизнь не по крестьянской, а по пролетарской линии. До восемнадцати лет и сапожное ремесло изучил, и на других работах был, но в конце концов стал я слесарем на Путиловском, теперь Кировском заводе. Ну, о жизни своей много распространяться в данный момент не буду. О ней толстую книгу можно бы написать. Хватил я шилом папки и при забастовках, и в первую мировую, всю гражданскую винтовки из рук не выпускал, а потом — опять на свой завод. Блокаду Ленинграда вместе с женой пережил. Ну, всего в моей жизни было. А три года назад на пенсию вышел и потянуло меня помирять на родину. Жена — не против, тоже этих мест уроженка. Правда, ни у ней, ни у меня здесь близких, родных не осталось, но знакомства с земляками не теряли. Дети мои в Ленинграде — кто инженер, кто доктор, а кто, как и отец, — на производстве. Но я не о детях. О себе. Вот собрались мы со старухой — и сюда. Приобрели на краю деревни домик маленький, отвел нам колхоз три сотки земли и зажили мы потихоньку. Ну, спасибо колхозникам! Но и я со своей стороны от людей вдаль быть не умею. Сил уже теперь нет, но по слесарной части нет-нет да и справишь колхозу одно, другое, либо совет молодым кузнецам дашь, а иногда и трактористам. Жена моя — та вообще любительница животных, птиц и пристрастилась бывать на колхозных фермах. «Я, — говорит, — в девушках первая старательница у отцовской скотинки была!» Ну — это дело ее.

Да! Я всё вам по биографии своей жизни. А надо то о цветах! Скажу вам, что цветами я издавна интересовался, однако и до революции и немалое время после нее мне не до цветов было. Вплотную я этим занялся уже тогда, когда старший сын университет окончил. Мое цветоводство невелико было — на четы-

рех окнах квартиры что можно вырастить? Но — выращивал. В Ботаническом саду знакомство с садоводами завел, литературу о цветах стал почитать.

А здесь, в деревне, мы с женой три сотки своего огорода так разделили: две трети ей — под молодой картофель, лук и огурцы, а третью часть мне — под цветы. Тут у меня полное пристрастие к этому делу появилось, готов у гряды и клумб хоть сутки напролет сидеть. А когда мои цветы распустились, стал народ у изгороди останавливаться, любоваться. Девушки только и просят — подари да подари то розу, то гвоздику махровую, то настурцию либо флоксы. Как свадьба — ко мне за цветами, встреча — опять ко мне, провожают кого на пристани — опять цветы нужны. Оказалось, что все о цветах мечтали, да не знали, как к ним подступиться.

Всё это кончилось тем, что пришел я в правление колхоза и говорю:

«Отведите мне в колхозном огороде участок небольшой, и я без платы, а просто из интереса, разведу вам колхозный цветник. Можно будет цветы на пристань вывозить — в сутки четыре парохода пройдут, и многие пассажиры цветы купят либо для встречи-проводов, либо так в каюте на столе подержать!» Ладно. Согласие дали. И с весны прошлого года вот этот ларек на пристани оборудовали, стали цветами торговать — в иной день на сто рублей оборот делали. А продавцом колхоз девушку назначил, Розу Васильевну Китову. Замечаете? Имя-то, имя-то какое? Цветочное! Да и девушка хороша была. А чем кончилось? Проезжал какой-то морской лейтенант, выбежал на пристань ягод купить, а купил три букета цветов, на нашу Розу до того долубовался и такие с ней разговоры завел, что чуть на пароход не опоздал — уже сходни были сняты, когда он с пристани на борт

с букетами прыгал. Это раз. А второе то, что лейтенант на своей родине отпуска не догулял и явился к нам в деревню. А потом — с Розой в загс. У меня на садовом участке на свадьбу чуть ли не все цветы срезали. Одним словом, исчезла Роза из колхоза — ишь, прямо-таки в рифму у старика получилось!

Вторую девушку в ларек назначили продавцом — Нюру Поленову. Конечно, в отношении красоты далеко ей до Розы, но девица миловидная, характер на редкость приятный, тихий, умница. И.. вот что значит, цветочное окружение! Опять свадьба, опять мои цветы в ход, а Нюра из Поленовой стала Артюшиной и уехала с буровым мастером куда-то на север.

Тут на меня не только председатель колхоза, но и всё правление озлилось. «Это что же получается, Павел Васильевич, — говорят мне. — От ваших цветочков, конечно, колхозу доход и людям приятность, но зачем же колхозных девиц из колхоза терять? Этак полгода не пройдет, как у нас ни одной девушки-колхозницы не останется! Невыгодно!»

Хотели было с цветами бабушку Иринью наладить, попробовали даже, но бабушка эта практическая женщина — цветы в сторону, а выставит перед собой корзину с клюквой, да кринки с молоком... Одним словом, не то, не то! Да и личность у бабушки не цветочная — вернее сказать уксусная. Какие тут розы! Совсем торговля не пошла. Ну, тут правление ко мне с подходцем: «А чтобы вам, Павел Васильевич, самому в ларьке поторговать? Личность у вас симпатичная, борода, очки и поговорить можете, тем более иные не только цветами интересуются, но и тем, как их выращивать. А увезти вас не увезут...» Вот и дежурю — два раза в день выезжаю. Ничего, дело идет!



НА ДАЛЬНИЙ ЗОВ

НА утренней заре старый лось выходил к озеру на водопой. Шел, не хрустнув и малым сучком, не стряхивая росы с ветвей. Долго стоял на озерном берегу, настораживая уши, шевеля ноздрями, прислушивался, приглядывался — нет ли чего недоброго?

Становилось всё светлее и светлее. Над озером, пошевеливаясь и покачиваясь, плыл густой туман. На середине залива купалась со своими детенышами старая хитрая гагара. В еловой чаще, над ручьем-говоруном, посвистывала матка-рябуха, сзывая к себе юрких рябков. На коряге, над темной водой, серебряным столбиком стояла чайка и стерегла — не всплеснется ли рыбка. И лось спокойно входил в воду, погружался в нее по плечи, вздрагивая от наслаждения, пил; пил, зорко косясь на ближний мыс, на его непролазные чащи.

Только и было зверю отдыха от оводов, что в эти утренние часы...

Но в это утро что-то потревожило лося. Прошумел в вершинах елей слабый ветерок, стряхнул росу с ветвей ивы, нависшей над заливом — показалось будто брызнула в стороны, спасаясь от бойкого окуня, стайка мелкой сороги. И этот же ветер донес до чутких лоси-

ных ноздрей запах человека. Лось с шумом выскочил из воды, вломился в кустарники, но тут же словно пропал — умеет зверь неслышно бежать родным лесом.

Этот же ветерок донес тревожный запах и до медведицы, учившей своего детеныша охоте на муравьев. Она замерла на миг, принюхиваясь, и даже ощерила желтые зубы, чуть слышно заворчала. Медвеженок, подражая матери, оторвался от муравейника, смешно поводя черным носиком, тоже принюхивался, учился распознавать тревожный сигнал, принесенный ветром. Но дымом и железом не пахло, а это самый страшный для зверя запах. Медведица успокоилась, но всё же неслышной торопкой поступью словно показилась лесной поляной в кусты, подальше от беспокойного места. Покатился за ней и медвеженок...

Белка сбегала вниз по чешуйчатому стволу ели к грибку, что заметила она еще вчера и даже успела попробовать его — на шляпке гриба остался след ее зубов, будто кто частым гребешком провел. Но тут же сердито цокнула, рыжим пламенем метнулась обратно в вершину ели — там были ее бельчата. А с вершины ели белка перемахнула на такую же соседнюю, на третью, четвертую — и всё с сердитым цоканьем, щелканьем отводила врага подальше от своей семьи.

На беличий цокот примчалась лесная вестовщица и болтунья — сорока. Еще не разобравшись в чем дело, она затрещала на весь лес и всполошила его обитателей.

А тревожиться и не следовало бы. Правда, пахло человеком, но каким? Не охотником с ружьем и собакой, не проезжим колхозником, не рыбаком с его трубкой и табаком. Нет, ветер принес зверям весть о том, что есть где-то вот тут, недалеко, маленькие люди. И не пахнет от них ни железом, ни порохом, ни табаком, а просто человеком.

... Их было трое одногодков-пареньков, что еще грядевого дня вышли из своих домов в ближайший лесок за малиной. Надо было перейти по лавинкам сонное моховое болотце, перевалить большую дорогу-каменуху, пропахшую бензином, по лесной тропинке добраться до Пастухова лаза, до старых порубок. Вот тут-то и была ребячья благодать — густые заросли лесного малинника, осыпанные спелыми, сочными, сладкими ягодами.

От добра добра не ищут, говорится в пословице, но ведь это правило для лентяев. Крупна и сладка ягода на Пастуховом лазу, но слышали ребята от взрослых, что красным-красно от ягоды на Лоушенде — у большой горы, где лет пять назад были лесозаготовки. Правда, никто из ребят там не бывал. Каждому из них исполнилось только по десять-двенадцать лет и далеко от своего поселка ходить не приходилось. Значит, надо забраться подальше, на таинственную Лоушенду, на ее валуны и кустарники, где малина сама в рот сыплется.

— Пошли? — предложил Венька.

— Пошли! — поддержали его Федя и Вася. Опять-таки от старших они знали, что с Пастухова лаза есть прямая тропа на Лоушенду — перейдешь три болотца да лесной ручей и вот она, Лоушенда.

— Корзины у нас маловаты, — вздохнул Федька.

— Ну и что ж? — возразил Вася. — На первый раз сами наедемся и по корзиночке наберем, а завтра по знакомой дорожке опять туда.

— К вечеру дома будем. И торопиться не надо, — заверил Венька. — Хлеб у каждого есть, а дома никто о нас и не подумает — отцы на работе, матери в колхоз ушли, помогать на сенокосе.

— Значит, пошли?

— Спрашиваешь! Конечно, пошли. Только тропу не терять.

Вот с этого всё и началось. Сначала тропа была как тропа — набитой, хорошо видной. Вот и первое болотце, и второе. Вот и ручей, и третье болотце. А за ним тропа исчезла куда-то. Начались не холмы и старые рубки, а какие-то скучные осиновые рощи, потом перед ребятами раскинулся сосновый бор. За бором — опять болото и большое. Переходить его ребята побоялись, пошли искать обходной путь и окончательно запутались...

А тут еще день поскучнел, всё реже и реже стало проглядывать из-за облаков солнце и, наконец, вддали прокатился величавый гул.

Надвигалась гроза.

Парная духота стояла внизу, в лесных чащах. Как всегда перед грозой, остервенели оводы и комары, словно торопясь напиться про запас человеческой крови. Ребята подняли воротники пиджачишек, нахлобучили кепки на уши по самый нос, устроили себе по веничку — отмахиваться от летучей лесной пакости, но от поднятых воротников стало еще жарче.

А Лоушенды, ее просторных старых вырубок, поросших малинником, больших валунов всё не было и не было. Началась настоящая еловая тайга, где под деревьями даже трава не росла, где всё чаще и чаще приходилось перелезть через давным-давно поваленные ветрами деревья.

Грозу пережидали под толстенной елью. Сначала пробовали шутить друг над другом, храбрились, но ливень пробрался и через еловые лохматые лапы, прикрывавшие ребят.

Пролетела гроза и оказалось, что наступил вечер — сырой и мгlistый, с туманом, до краев напоившим лесные поляны. Мокрые, озябшие жались ребята друг к другу и то задремывали, то просыпались, боясь вылезти из-под ели.

Пришло утро — ясное, росистое, звонкое. Ребята побрели теперь наудачу, уже не думая о Лоушенде и ее малинниках. Только бы поскорее выйти хоть на какую-нибудь тропинку или дорожку, только бы согреться и поесть!

Ходьба скоро согрела их, пиджаки и рубахи стали просыхать, но есть хотелось всё сильнее и сильнее. А хлеб был прикончен еще вчера. Никто не думал ни о супе, ни о молоке — хлеба, только краюшку хлеба с поджаристой корочкой со снежным налетом соли!

Хотелось и пить. Но выручил ручеек — напились, умылись, посидели на валежнике. И плакать не приходилось — мужчинам это не положено, хотя то у одного, то у другого и начинали дрожать губы, и слезы затуманивали глаза.

Не до разговоров было. Не хотелось языком пошевелить. Поесть бы и уснуть!

Всё же удалось немножко и поспать — на лужайке, на солнечном припеке. Да не дали выспаться оводы, опять разгулявшиеся по солнечной погоде.

Что дальше, то глуше, дичее становился лес. Хоть бы пень встретился, пень от дерева, срубленного человеком, и то бы легче было. Но кажется, в этих местах и люди не бывали. Нашли охотничью ловушку «пасть» — две плахи, настороженные палочкой, но видно, давным-давно забыл об ней охотник, поросла ловушка зеленым мхом...

Пробовали кричать, но что толку, если вольно шумел ветер, гнул вершины елей, перебирал листву осин, гудел в соснах. Кто услышит слабый человеческий крик в мощной песне летнего ветра?

Брели наудачу, часто присаживаясь. Ели ягоды земляники, костяники, черники, попадались иногда кусты малины и смородины — всё шло бы в толк, но толку-то и не получалось. Хороши ягоды, когда хлебом на-

перед закусишь, а без хлеба они как бы водянистыми становятся. Только животы заболели.

Задолго до вечера почувствовали, что ноги стали изменять. Кое-как добрались до ручейка, напились через охоту, все-таки будто что и есть в животе, и забылись, задремали чутким и больным сном под вывороченным еловым корневищем...

Вот отсюда утром третьего дня и нанесло запахом человека на лося и на медведицу. Вот здесь-то и увидела ребят вертлявая белка. И о трех маленьких чело-вечках по всему лесу начала трещать, болтать сорока.

— Вставай, вставай, ребята! — будил своих товарищей Венька, — он проснулся первым. — Вставай! Что мне приснилось-то!

— А что, что?

— А приснилось... — но Венька осекся, взглянув на дружков. Осунувшиеся серые лица со следами слез (все-таки каждый про себя ночью поплакал), изодранные в лесной чаще пиджачки и рубашки... Эх, и зачем было звать ребят на Лоушенду! А дома-то, дома-то как беспокоятся родные!

Венька все же сдержал слезы. Подошел к ручью, с показным удовольствием напился, даже крикнул, подымаясь. Потом заявил:

— А мне приснилось, будто забрался я на самую высокую елку и оттуда наш поселок увидел. Заводская труба у нас, ого, какая! Ее за двадцать километров видно! Надо бы нам еще вчера на ель взобраться. Пошли искать место повыше и самую высокую ель на нем.

Первым на ель полез Венька. Но когда добрался до вершины, то увидел, что следом за ним с ветки на ветку перебираются Федька и Вася.

— Куда вы? Куда вы? — сердито окрикнул Венька ребят.

— А тоже посмотрим, — ответил Вася. — Втроем, может, лучше трубу увидим.

Как вольно, прохладно было здесь, на вершине ели. Как близко пронеслись над головой облака! Вершина ели покачивалась, но ребята крепко вцепились в шершавые суки и жадно всматривались вдаль.

Ничего! Никаких следов человеческого жилья. Не видно и заводской трубы. Лес, лес и лес... Только кое-где мерцали серебряные пятна лесных озер.

— Самолет! — крикнул зоркий Венька. — Вон, вон! Почтовый!

— Верно, самолет! — подтвердил Федя. — Значит там, куда он летит, наш райцентр.

— А ты почему так считаешь? — спросил Венька. — Может, он обратно в область с почтой летит.

Попробовали было махать кепками — может, летчик заметит ребят, но самолет, сверкнув под солнцем, как огромная стрекоза, гудя, пронесся высоко над ребятами.

Медленно спустились вниз. Полежали под елью, хотя взялись опять за ягоды. В животах урчало. Но что же будешь делать?

Наступал третий вечер.

Ветер улегся. Перестали кружиться, тыкаться в чужие лица назойливые оводы, зато прибавилось комаров. Ноги ребят смочила роса.

Но они брели, брели, сами не зная куда. Брели, думая только об одном: упасть, уснуть. Даже есть не хотелось, только ноги стали слабыми-слабыми. И вдруг Венька остановился:

— Тише! Тише! — погрозил он пальцем своим друзьям, хотя они и не разговаривали.

Он обождал немного и радостно спросил:

— Слышали?

— Нет. А что?

— Гудок. Наш. Заводской! Вот отсюда звук прилегал. — И он махнул рукой на низкое солнце.

— Послышалось тебе, — сказал Федька.

— Нет, правда, и я вроде гудок слышал, — поддержал Веньку Вася.

— Тише, тише! Слушайте! Вон опять.

Да. Это был знакомый гудок. И пошли, нет, побежали на дальний зов. Но скоро запыхались, сбавили шаг. Часто останавливались прислушиваясь.

А гудок пел и пел с перерывами. Отдохнет и снова три раза подряд:

— У-у-у-у-у! У-у-у-у-у! У-у-у-у-у!

— Теперь совсем ясно слышно! — радовался Венька. — А вот почему на заводе в неуточное время гудят. Не пожар ли? Завод у нас особый, лесопильный! Кинет какой-нибудь дурак окурок в непоказанном месте — беда!

— Беда! — хором подтвердили ребята.

— Пожар, а нас там нет! — вздохнул Федя. — Вот тебе и Лоушенда.

— Ничего, потушат! — ответил Вася. Он всегда и во всем старался видеть только хорошее. — Помните как в третьем году на бирже горело? И гудков много не давали — своя команда раз-раз и потушила. Буксир с пристани прибежал, у него насос не нашим чета, а пожара уже и нет. Гудит еще?

— Гудит! — ответил Венька. — Я и на ходу хорошо слышу. Только давайте твердо запомним, откуда звук наносит.

— На три ладони левее солнца, — уверенно заявил Федя.

— Что-то ты из-за леса видишь? — усмехнулся Венька.

— А вот вижу. Ты лучше меня слышишь, а я лучше вижу. А что, скоро опять ночь, ребята. Н-да!

— Еще придется ночевать.

— Ослабеет — завтра и до завода не дотянуть.

— Надо сегодня сколь можно больше пройти!

После заката, когда лесные ложбины опять затянуло туманами, силы изменили ребятам. Улеглись рядком у большого валуна.

Тяжелая дремота заволакивала мысли. Но опять Венька первым вскочил и неожиданно во всю мочь закричал:

— Э-ге-г-ге-ге! Э-гей!

— Ты чего? — всполошились ребята.

— Неужто не слышали? — возбужденно спрашивал Венька. — Выстрелил кто-то, вон там, за березняком.

— Да, слышал я, — ответил Федька. — Только думал это гром.

— Нет, выстрел! В лесу он всегда раскатывается. У вас отцы не охотники, а меня папа уж сколько раз в лес брал. Ребята, это не нас ли ищут? Давайте кричать все вместе, разом. Ну, раз-два-три!

И опять заорал во всю грудь. Ребята пристали к нему...

★ ★ ★

— Сначала по кружке молока выпейте, потом вот — по куску хлеба, опять с молоком. И собирайте дровишки для костра. Я чай вскипячу — сразу вас прибодрит. Так, говорите, на Лоушенду направились, за малиной? Хороши! Совсем в другую сторону убрели. Вам до деревни еще семьдесят километров оставалось, да и то если знать, как идти. Пейте, пейте, бродяги, пейте, а я ракету запущу! Еще фронтовая! В заводоуправлении нам веем по две ракеты выдали, в случае кто найдет вас — сигнал дать...

Иван Петрович — это он стрелял, рассчитывая, что

ребята услышат выстрел — вытянул руку, и ракета с греском взлетела в потемневшее небо с первой робкой звездочкой на нем, очертила тонкую светлую дугу и вдруг вспыхнула над лесом зеленым пламенем, а потом рассыпалась сотнями быстро потухших звезд.

— Ну вот, всё в порядке, хорошо видно, пожалуй, вторую и тратить не придется. Ничего, в лесу со мной еще раз переночуете, а утром домой. Я тут все тропы знаю. Мигом дойдем. Ну, малость, конечно, попадет вам от отцов, от матерей.

— От матерей больше! — вздохнул Вася, берясь за кусок хлеба.

— Пускай больше! — согласился Федька. А Веняка спросил:

— Иван Петрович, а почему такие частые гудки наш завод давал? Не пожар ли был?

— Какой пожар! Из-за вас, лешманят, чтобы вы гудки слышали и на них из леса вышли. Значит, слышали? Ну и хорошо. Да еще нас, охотников, человек тридцать в лес вышло вас искать. Вот мне и посчастливилось.



НЕ ТАК НАПИСАНО!

Он с уважением смотрит на мою книжную полку:

— Много, много книг! И все прочитал? Да что ты? Этих книг, говоришь, для тебя мало? Брось-ка! Я, вон, внуки принесут какую книгу, возьму от них да недели две и читаю. Да и то сказать: какое наше, стариковское образование, — две зимы только и ходил в школу, потом отец меня на лесозаготовки с собой взял. Нельзя иначе было, старшим я рос в семье.

Водя пальцем по корешкам книг, он разбирает их названия:

— «Записки охотника» — вот это по мне, ты дай-ко почитать, я бережно с книгой живу, не попорчу. «Археология» — впервые вижу. «Русские летописи» — вот об этой слышал. Насчет старинной русской жизни, так что ли?

— Так, Егор Петрович.

— И всё в летописи правда истинная написана?

— Как сказать? То, что летописец сам наблюдал, хорошо знал — то описано правдиво, но чаще всего ему приходилось от людей разузнавать о тех или иных событиях. Сам понимаешь: из третьих рук правду помятой получишь, всё что-нибудь да не так.

— И-да! Бывает и в нашей жизни! Убьет охотник

медведя — полпуда в разговоре к настоящему весу прикинет, а который нестеснительный, — то и пуд. Попадет эта новость на зубы другому охотнику — этот третьему скажет и еще пуд доведет. К вечеру доходит до тебя — такой-то медведя на пятнадцать пудов на лабазе подсидел. А какое пятнадцать? Помогал я ему медведя шкурать — семи пудов начисто не вытянул.

Он отходит от книг, садится на корточки к стене, закуривает:

— Ты вот что мне скажи: есть в летописи про Рюрика? Как к нему наши деды приходили, звали его к себе князем быть, нам, мол, русским, самим не управиться, бестолковы очень?

— Есть такой рассказ о Рюрике и братьях его Синеусе и Труворе. Но давно уже известно, что это неправда...

— Так. Правильно! Летописи, говорю, мне читать не приходилось, а в старой школе про трех этих братьев нам учитель говорил. Мы было и поверили, ребяташки — известно! Прибежал я домой, поужинал, меня дедушка мой Никифор — легкое ему лежанье — любопытный старик был, хоть и совсем неграмотный, спрашивает: «Чему вас сегодня, Егорша, учили?» Я ему про Рюрика и его братьев и расскажи. Помолчал дедушка и говорит: «Может, оно в книгах и так, да у нас, мужиков, о том Рюрике иначе бают. Другое». «А что, дедушка?» «Расскажу, только ты этого господам, барам всяким да чиновникам с ясными пуговицами, упаси бог, не рассказывай — не любя им мужицкая правда! А тебе знать ее надо! Вишь, Рюрик не княжеского звания был и не из господ каких, даже не из попов либо купцов, а был он простым новгородским мужиком да еще бедней бедного — на ладьях батрачил, у богатеев. Только бедно жил — одна избенка от отца и досталась и та кривобокая в одно оконце. А

двор травой порос — не было у Рюрика скотинки. Одиноко жил, бобылем. Лето — на ладьях, зимой кой-где кусок хлеба зарабатывает. И вот случилось в Новгороде такое дело — помер старый князь. Нового надо. А нового тогда выбирали. И не попросту, а выгонят на улицу общественного быка и идут за ним, следят. В какой двор бык завернет, травки щипнет — быть хозяину этого двора новгородским князем! Ну, вот, выгнали быка — за ним старички идут новгородские, старшина разная и другой простой народ. Бык туда-сюда. На какой двор ни заглянет — нет свежей травки, вытоптано дворище скотинкой. Да и люди к богатым часто заходят — какая уж тут на дворе трава? Добрел бык до Рюриковой развалухи, а вокруг нее травища по пояс! Бык ею и занялся. Помялись старички, а нельзя закон-порядок рушить. Рюрик на ту пору дома был, ел кашу без масла. Старички к нему в избу, кланяются — быть тебе нашим князем! Рюрик чуть не подавился от удивленья, ложку выронил. Однако, просят. Согласился!

Он выколотил трубку о твердый, как кость, ноготь своего пальца и, поднимаясь, спросил:

— Этого нет в твоей летописи? Нет? Ну, значит, это только в мужицкой летописи значилось. Господам не по нутру было, что Рюрик — мужик, они и заставили своего летописца не то написать!

БЕЛОЙ НОЧЬЮ



ЕСЛИ слушать издалека, то равномерное гуденье трактора не только не нарушает тишину белой ночи, но гармонически, ладно вплетается во все звуки и шорохи этого полусонного часа. Слышно, как в ивовых кустах у реки щелкает, посвистывает соловей, на лугах скрипят дергачи да какая-то пичужка в кустах попискивает тоненько и равномерно. Шумит вода на плотине электростанции, слышно даже и глухое побрякиванье шиханов — колокольцев на коровьих шеях.

Но вот трактор смолк, и сразу явственнее зазвучали и соловьиные пощелкивания, свисты, и дергачинные скрипы, и коровьи колокольчики. Инструктор райкома партии Медников, неторопливо ехавший на велосипеде вдоль речного берега, прислушался. Почему замолчал трактор?

Можно было бы и не идти по только что вспаханному полю к машине, не любопытничать, почему она замолкла, но Медников, еще недавно работавший в райкоме, не знал многих людей именно в этом сельсовете, не знал, чем они живут, как работают и считал своим прямым долгом до всего докапываться самому.

Тревога оказалась напрасной — навстречу Медникову шел паренек с ведром в руке.

— В радиатор подлить? — спросил Медников.

— Ага! — коротко ответил паренек.

Тракторист, сидя под кустом, закуривал. Бледная вспышка спички на миг осветила коричнево-бурое от загара хмурое лицо, белесые солдатские усы, расстегнутый ворот рубахи. Медников узнал тракториста Комарова, работавшего на тракторе уже лет тридцать, великого знатока своего дела. Не раз дирекция МТС заставляла Комарова перейти на работу механика, не раз уговаривали его об этом и в райкоме и в райисполкоме — упрямый тракторист заявлял:

— Трактор знаю, а на остальное грамотности не хватит. А зачем я из своего колхоза пойду? Я там каждую кочку знаю. Все равно на мое место другой тракторист придет, неопытный, так лучше я...

Молча кивнул он инструктору и кивком же показал на пень у куста, садись, мол, отдыхай. Медников, осторожно положив велосипед на росистую траву, блаженно вытянул уставшие ноги.

— Как дела? — спросил он.

Комаров неторопливо затянулся папиросой, неторопливо выпустил изо рта дым и нехотя ответил:

— Идут! А что?

— Думаю — почему трактор остановился, поломка что ли?

— Нет. Полночь сейчас. Машине отдохнуть надо, поостыть. Воды зальем, кой-что подтяну, проверю.

— Самому тоже отдохнуть с часик надо.

— Не требуется. Ночной смене — отдых днем...

Тракторист поднялся навстречу прицепщику, взял ведро. Залив воду, откинул капот мотора и подвесил электрофонарик над мотором. Медникову показалось, что похож этот фонарик чем-то на светлячка, деловито помогавшего угрюмому человеку.

— Ложись. Васька, пока что под кустик, вздремни! — сказал Комаров прицепщику. Тот, не ожидая повторения, мигом юркнул куда-то под листву.

Вечером был небольшой дождь, и теперь земля словно дымилась теплым паром, пахла тонко и сладко, а может пахли и травы. И с этим запахом мешался и другой — сгоревшего керосина, горячего масла. Медникова стала одолевать дремота, он даже провел рукой по траве — нельзя ли прилечь, но трава была в обильной теплой росе. Да и неудобно вот взять да так и завалиться здесь, словно мальчишке-несмышленищу.

Кто-то сипло кашлянул за спиной инструктора. Он вздрогнул, обернулся. Низенький коренастый старичок в каком-то старомодном не то армяке, не то пиджаке стоял у велосипеда, осторожно пробуя дубинкой его резиновые покрышки.

— Крепко надуты! — удовлетворенно сказал он и присел на корточки, вглядываясь в лицо Медникова. — Незнакомый товарищ. Из района?

— Из района. Что, коров пасете?

— Пасу, пасу! Колхозное стадо. Два нас, пастуха. Стадо большое. А у вас нет ли папиросочки покрепче? У нас в лавочке только «Бокс», дрянь, два раза пыхнешь — один мундштук остается. И махорка какая-то слабая, третий номер, вроде опилок, никак мне не накуриться. Ага, «Север» у вас? Эти получше будут, самые мои! Значит, говорите, в райкоме работаете? Так, так. Степа! — окликнул он тракториста. — Спит твой помощник?

— Разрешено! — глухо отозвался тракторист. — Час простоим, пусть подремлет, а то на заре молодых людей сон крепко долит. Вдруг да с места свалится?

— Ох, ох, — закричал старичок, садясь на землю по-настоящему. — Очень уж мы молодых нынче балуем! «Учись, сынок, ходи в школу, да чтобы на пятерки!» — тонким голоском передразнил он какую-то воображаемую мамашу. — Учись, хорошую должность займешь! Вот сынок до восемнадцати годов в школьниках и

числится, на мамкиных пирогах состоит. А хватись что по крестьянству — ничего сделать не умеет! Вот как! Топора на топорище не насадит. А потом поедет в город, там учится, учится и больше его в своей деревне не увидишь!

— Не все так-то, — отозвался из-под куста недобольный голос прицепщика.

— Не спишь?

— Не сплю. Не все так-то, дядя Петя! Я среднюю нынче кончил и никуда не собираюсь. Вот в армии отслужусь и опять сюда.

— Не может того быть, что с образованием да в деревне останешься!

— Останусь!

— Посмотрю, коли не помру до того времени. У меня пятеро сыновей, — обратился он к Медникову, — двое на фронте погибли, это так. А трое выучились и теперь кто где. Ищи их!

Подошел тракторист. Он долго обтирал руки ветошью, потом уселся на меже, прислушиваясь к разговору.

— Я, вон, как-то в газете читал, — продолжал старичок, — вот, мол, есть какая особенная колхозная семья — пятерых дочерей старики вырастили, выучили, и все они дома не живут. За них, значит, старики работают.

— Ты не о том говори, Петр Семеныч, — заметил тракторист. — Теперь не так на дело смотреть стали и молодые даже. Конечно, закон жизни такой — молодым от старого гнезда отлетать...

— Какой там закон! Я от своего дома не бегал!

— Такое время было. Куда денешься? В город идти — безработица да и кому ты неграмотный мужик нужен? Вот и держались дома за свою полоску, за свой двор. А теперь этого нет. У молодых крылья выросли...

Он посмотрел на небо:

— Светать начало! Ты о другом, Петр Семеныч, скажи — специалистов у нас в деревнях не стало, а молодежь на это не идет учиться.

— Каких специалистов? Не пойму!

— Вроде тебя. Ты и бондарь, ты и шорник, ты и кузнец, и столярное дело понимаешь, не говорю плотническое. Вот каких специалистов у нас становится меньше. Сейчас была бы в колхозе своя кузница, свой кузнец, не надо бы из-за сломанного болта машину останавливать на сутки-другие, дома бы это сделали. Опять же — стыдно сказать — лошадей подковывать в леспромхоз гоняем, за двадцать километров.

— Это верно, верно! Хомута некому связать скоро будет, вот как я помру, корыта для куриц не выдолбить! — поддакивал старичок.

— Зато ты, дядя Петя, с колхоза за перевязку хомута столько берешь, что можно в магазине два новых купить, — слышался опять голос прицепщика.

— Чего ты там пищишь? — рассердился старичок! — Научись сначала сам шорничать! Кто третьего дня ко мне приходил: «Дядя Петя, насади топор, я не умею!» Кто?

— Ну я. А больше не пойду. Сам научусь!

— А вот что, товарищ, — повернулся тракторист к Медникову. — Вот я что думаю — надо бы такие ремесленные школы открыть...

— Ремесленные?

— Нет, ремесловые, ремеслам учить молодежь. — Ну там какие ремесла в деревне требуются — кузнечному, слесарному, шорничать, бондарить и прочее. Ну хотя бы одну школу на три района. Ты поговори-ка там, в районе, может что и придумают.

— Придумают, пожалуй, — ворчливо заметил старичок. — Почему не придумать? Раз в этом нужда есть —

придумают. Нужны колхозам свои мастера? Нужны! Вот и выходит — нужны такие ремесловые училища. Верно, ты скажи-ка там, районному начальству, а оно — в область. Коли нужно — область и до Москвы доведет. Нужны, мол, мастера.

— Скажу, — улыбаясь, обещал инструктор, зябко поводя плечами — перед восходом похолодало, туман гуще и гуще за клубился над рекой. — Скажу. А ты бы сам об этом в райком или исполком написал.

Но тракторист уже возился у своей машины. Из-под куста вылез, позевывая, прицепщик, завистливо подержался за руль велосипеда и побежал к реке умыться.

Выкатив велосипед на дорогу, Медников поставил ногу на педаль и оглянулся, прислушался. Соловей умолк, но дергачи скрипели рьяно, неистово. Стало совсем светло. Там, у куста, на пеньке сидел старичок — нахохлившийся, словно ночная птица, утомленная ночной охотой и присевшая отдохнуть. Коровы лениво выходили из леса, мотали головами — комары донимали их.

Зарокотал трактор и, казалось, от этого бодрого звука качнулись над рекой туманы, ожили, поплыли. Начинался новый день.



ЛУННЫЕ ИСКРЫ

ИОФЕР сердито поколотил носком валенка, обтянутого огромной галошей, покрышку переднего колеса. Покрышка вместо звонкого «бу-бу» издала глухой звук.

— Эх ты, макрида, нашла, когда лопнуть, — выругался водитель и, обращаясь к нам, сказал: — Придется вам, граждане пассажиры, по земле погулять, пока я свою аптеку разворачивать буду.

Ежели озябли, огонек разложите. Лес кругом, топлива хватит!

Пассажиры грузовичка, устроившиеся кто как мог, на ящиках и мешках, были и довольны и недовольны таким приглашением. С одной стороны — задержка в пути, с другой — приятно размять ноги, согреться. И они полезли через борт.

Как часто бывает на дорогах вдали от большаков, почти все пассажиры, случайно собравшиеся на грузовичке, были из одного района и знали так или иначе друг друга, как знали и шофера. Нашлись добровольцы помогать ему, другие, утопая в снегу по колени, отправились за дровами, и скоро все окружили веселый огонек, такой уютный и ласковый в тихом морозном лесу.

Днем было тепло, оттепель, даже что-то вроде дож-

дя сыпалось с низкого неба. Но под вечер захлаждало, небо очистилось, и солнце село тоже чистое, золотое — к морозу. Зимняя ночь уже осилила короткие сумерки, и всё больше и больше звезд рассыпалось над черными дремлющими лесами.

— Так или иначе, а домой мы должны попасть! — заявил пожилой человек в черном пальто. Он лучше всех, хозяйственнее, устроился у огонька, подложив под себя полено, и теперь был занят тем, что переобувался — поставил босые ноги на положенные перед собою валенки и грел над костром толстые шерстяные носки домашней вязки.

— Ногам-то холодно! — посочувствовала молодая женщина в полушубке.

— Вот еще! Да они против огня! Им жарко! А я сейчас носки прокалю да их на ноги, а потом валеночки натяну и хоть до утра вытерплю!

— Нет. Я иначе ноги согрею, — заявила женщина в полушубке. — Лучше сплясать, сдробить.

— Кругу нет! Тесно!

— А я на месте. Гармони нет, так я под свой язык! — и она, обняв другую женщину, под общий смех и языком заиграла и ногами заработала.

— Ух! Устала! Теперь и руки над огнем погреть можно! — наклонилась она над костром.

— Всех я тут знаю, а вот кто этот гражданин? — кивнул пожилой на человека, уныло шагавшего взад и вперед по укатанной дороге. Пройдет в одну сторону полсотни шагов и обратно, к машине, повернется — и снова марширует, похлопывая рукавичками. — Что же он в компанию, к огню не идет?

Все оглянулись на маршировавшего.

— Неужто не знаете? Да это Крутиков! С Песчанки! Домой возвращается! Опять путешествовал!

— Он думал, что его за одни красивые глаза ме-

дом кормить будут, а оно, оказывается, и на Кубани работать надо! — зло заметил старик, сидевший на корточках у огня, покуривавший и поплевывавший на угли.

— Не знаю такого! — заявил пожилой. Теперь он обул валенки и, встав, притопывал ногами, чтобы нога лучше чувствовала себя.

— Где же вам знать, вы второй год только нашим колхозом руководите, а он уж года три как уехал, — заметила молодая женщина.

— Ну не три, а поменьше, — сказал еще кто-то. — Да он и приезжал каждый год домой. Поживет с недельку, понюхает, какова у нас жизнь, и опять дралка на новые места, за белым хлебом. А там и на Кубани белый хлеб бесплатно не дают.

— И семья у него есть? — поинтересовался пожилой.

— Как же! Жена, Катерина, хорошая работница. Да вы слышали про нее — в своем колхозе первая доярка...

— А, знаю, знаю! Беленькая такая, тихонькая! Она нынешней осенью на районном совещании доярок выступала.

— Она самая. Двое ребятишек у ней, мальчик и девочка. И свекровь у ней, тетка Анна, женщина хорошая, добросовестная. А вот сам-то Николай...

— Чего замаялась? Говори прямо — лодырь, ловчило! — сердито буркнул старик, набивая трубку.

— Ну, лодырь, положим, не лодырь, а ловчило это верно, — вздохнула пассажирка, закутанная шалью так, что только нос чуть-чуть из-под нее виднелся.

— Это как понять?

— Просто! Ищет такого места, чтобы работы поменьше, а денег побольше. Тогда и он работает, старается.

— Он и шоферить может, — подал голос водитель машины, усердно шаркавший рашпилем по куску резины. — Но тоже смотрит — кельзя ли с особой выгодой...

— Пронюхал, видно, что в колхозах у нас теперь и деньжонки заработать можно и прочее, вот и подался домой! — заявила молодая, опять притопывая валенками. — Дядя Федя, скоро ты камеру запаяешь? Надоело ждать.

— Не торопись. Новый год еще завтра встречать будем!

— А пироги? Их сегодня завести требуется! Сам же в гости придешь — пирогом заинтересуешься.

— Не очень-то. Селедка с лучком лучше.

— Лучше! — поддакнул старик.

— И пирог хорошо! — пожилой поправил дрова в костре. — Значит, на кубанскую пшеницу этот, как его — Крутиков рассчитывал? А ежели у нас стопудовые урожаи получать можно — он об этом не думал?

— Для этого работать надо всерьез! — отозвался старик. — А стопудовый урожай у нас не диво. Только землю удобри, да обиходи ее по-человечески. Вы-то сколь нонче получили? — обратился он к пожилому.

— На крут по восемьдесят. Всё еще потери велики.

— Про что я и говорю! Опять торф на удобренье вывозите?

— А как же? Оправдал себя! И минеральных десять тонн уже вывезли.

— С хлебом будете! Ах, хороша пшеница у вас была! Успели убраться?

— Поднажали, успели.

— Семена, никак, у вас свои были?

— Доморощенные, проверенные. Хватит на чужбинку, на ссуды надеяться! Чужие семена — темное дело!

— Правильно! А с ленком-то как?

— Хвастать не хорошо, а тысяч полтораста на распределение придется, кроме того что по льняным трудодням. За этот счет рублей по пять на общий трудодень выдадим!

— Ну, в нашем колхозе хоть и поменьше вашего, а тоже ничего, обижаться не приходится. Мое дело — стариковское и работа такая, да и бабка у меня уже не та. А все-таки теперь при деньгах.

— Василий Иванович, — просунулась в круг молодая. — Верно что у вас доярки по восемьсот, по девятьсот в месяц зарабатывают?

— Почему не верно? Верно! И не только доярки, свинарка Антонова Раиса тоже при неплохом заработке...

Крутиков стоял за людьми, прислушивался, понимал, что говорят с председателем какого-то колхоза. Но какого? Он не знал этого пожилого человека, но видел, что человек этот умеет всякое дело в руках держать твердо.

— Ну, пассажиры, по местам! — крикнул шофер, подходя к костру. — Я руки чуть погрею, папиросочку выкурю — и за баранку. Ах, ночь-то какая дивная! — повернулся он к лесу.

Над черной стеной ельников плыла полная луна. Зелено-золотой свет ее заливал снежные поляны, а подлесок, кусты сверкали мириадами радужных огней. На каждой веточке, на каждом сучке застыла схваченная внезапным морозом дождевая капелька, и теперь они сверкали, переливались синими, алыми, оранжевыми искрами.

— Эх, хорошо! — вздохнул пожилой. — Век бы смотрел на эту красу!

Молча постояли, потом также молча разместились на ящиках и мешках в кузове машины. Мотор уже

ворчал, прогревался. Сверкал, искрился сонный лес, а у дороги багрово рдели, дотлевали угли костра. Но вот мотор взвыл, фыркнул и заговорил мерной скороговоркой. Машина качнулась, и лесные, лунные огни и искры замерцали, закружились, понеслись вдоль дороги.

— Вы что же, председателем колхоза будете? — прокричал кто-то над ухом пожилого, поднявшего воротник пальто.

— А? Что? Да — я председатель.

— Какого же колхоза?

— «Первый май». А что?

— Не знаю я вас что-то. Приезжий?

— Из Ленинграда. Партией направлен.

— Вот, думаю, не вступить ли в ваш колхоз?

— В колхоз? Вы что — в городе где-нибудь до этого работали?

— Всяко было. Решил дома пожить, в колхозе. Так?

— Я вас не знаю, да не мне этот вопрос и решать. Пишите заявление, а там колхозники решат, если вас знают...

И опять закрылся воротником.

Лунные огни и искры мерцали, неслись вдоль дороги...



УТРО НА УНЖ-ОЗЕРЕ

ЛЮСЯ давно намекала матери, что хочет сходить со мною на Унж-озеро. Но моя жена сердилась на то, что я подбиваю дочку на дальний и опасный, по ее мнению, поход:

— Ты — известный лесной бродяга! — ворчала она. — А вот куда девчонку за собой тянешь? Что ей в лесу делать?

Я помалкивал, уверенный в том, что Люся лаской и ревом добьется у матери согласия. Ведь так мы мечтали об этом походе! Не раз зимними вечерами изучали с нею карту района, пути к заветному Унж-озеру!

За утренний чай сели молча, как бывает перед семейной грозой. Сегодня намечено у меня идти на Унж-озеро. Обдумываю, как начать разговор с женой о том, чтобы взять с собою Люсю. Люся вертится на своем месте, поглядывает на меня. Знаю — ждет, когда я заведу речь о походе. И вдруг жена говорит:

— Ты, Люся, в дорогу возьми мою старую ватную пальтушку. Ночевать в лесу придется, ночи теперь холодные, пальтушка пригодится.

Радостный визг Люси. Она выскакивает из-за стола, обнимает и целует мать и пускается в пляс.

— На место! За стол садись! — притворно сурово

кричит на нее мать. Но я понимаю жену — она и сама бы не прочь в лес, да вот хозяйство и прочее...

Пьем чай торопливо — вдруг хозяйка передумает. А она портит уже нам потихоньку настроение:

— Люся, воды наноси. Шесть ведер — я стирать буду! А ты — это ко мне — сухих дров приготовь, помельче наколи. И кадушку, Люся, вымой...

Все поручения выполняются с небывалой быстротой и точностью. Важно поскорее удрать. Вот почему я помогаю Люсе, а Люся мне.

За селом чувствуем себя свободными птичками. Люся опять танцует «танец дикаря» и невежливо показывает язык какой-то рыжей собачонке, с удивлением смотрящей на развеселившихся людей.

В путь, в путь! На Унж-озеро!

Полевая тропинка, потом тропинка поскотиной, потом мелкий лесок, потом и пыльная большая дорога.

Тут мы присели отдохнуть, и я осматриваю Люсин рюкзак — уж очень он набит. С таким рюкзаком далеко не уйдешь. И действительно, чего только в нем нет! Толстенный самодельный блокнот — вести дневник похода, блокнот поменьше — в запас, сковородка — рыбу и грибы жарить, кухонный щербатый нож — им я обычно щеплю лучину для растопки. Нож столовый — тоже в запас, гряда вареной картошки, пук зеленого лука и, наконец, пучки моркови, еще не отмытой от земли.

Большую часть содержимого Люсиного рюкзака прячем в кустах, прикрываем травкой:

— На обратном пути всё это возьмем, — утешаю я приунывшую дочку.

Скучновато идти знакомой дорогой — это я говорю о себе. Но Люся довольна — для нее за каждым поворотом большака всё новые и новые открытия. Вот огромный серый валун — «Старухин камень». На не-

го можно залезть и постоять в гордой позе со сложенными на груди руками — совсем как Айртон из «Детей капитана Гранта». Вот еще незнакомые Люсе лесные цветы, вот какая-то птичка перелетает с куста на куст, отводит людей от своего гнезда.

Но самое приятное открытие — это заросли лесной малины вдоль дороги. Столько ее, что прохожие не могут обогнуть сочные, ароматные ягоды.

— Люся, хватит тебе! Пойдем! Если у каждого куста останавливаться, так мы и за неделю до места не доберемся!

— М-м-м... минуточку! Папка, да разве дома такую благодать увидишь? Ты поешь ягодок тоже — вот тот куст, смотри, весь в ягодах!

А у самой руки так и мелькают — ягодка за ягодкой летят в рот.

— Оставайся здесь — поешь и домой вернешься, а я пошел! — сердито говорю я и решительно иду вперед.

Помогло! Люся бегом догоняет меня, с сожалением поглядывая на малиновые кусты.

— Ничего, — утешаю я ее. — Вот на обеденном привале поешь ягод. А сейчас — в путь, в путь!

Привал на обед устраиваем под елями у звонкого лесного ручейка, что пробивает себе дорогу к далекому озеру — светловодный, холодный и веселый.

— Хорошо бы искупаться! — мечтательно говорит Люся, зачерпывая в ручье полный котелок воды. — Да уж очень маленький ручеек!

Она запрокидывает голову, чтобы напиться, но котелок выскальзывает из ее рук, и вся вода — на Люсином платье.

— Вот и искупалась! — говорю я. — Каково?

— Бр-р-р-р! Ну и холодная! — переводит Люся дыхание. — Вот холодища-то! А хорошо! Ничего, платье высохнет! Папка, хочешь я и на тебя котелок вылью?

— Как-нибудь в другой раз.

Платье сохнет на сучке ели. Мамина пальтушка пригодилась. С ломтем хлеба в руке Люся забирается в малинник.

— Все твои теперь кусты и ягодки, — разрешаю я Люсе и ложусь в тень подремать и обождать, когда спадет полуденный зной.

★ ★ ★

Идем мы на Унж-озеро не просто так, а по делам краеведческим.

Узнал я, что на берегу этого озера, там, где из него выбегает речка Унжа, часто находят странные черепки — обломки какой-то посуды. Украшены они ровными рядами глубоко вдавленных ямок, отпечатками чего-то вроде гребенки. Местное население обычно называет их «лешевыми пирожками».

На самом деле черепки эти — обломки древних глиняных сосудов, что были сделаны две-три тысячи лет назад людьми неолита — нового каменного века. Значит, там, где черепки, можно найти и кремневые орудия, и даже изделия из кости, и многое другое, что осталось после людей на месте, где было когда-то их поселение.

Вот мы и отправились искать «лешевы пирожки».

Люся уже не перепрыгивает придорожные канавки, завидев куст малины в сочных ягодах. Устала. Всё чаще спрашивает, далеко ли до Унж-озера.

— В экспедицию пошла — терпи! — отвечаю я.

Это подбодряет Люсю. Экспедиция — значительное, важное слово. Это тебе не школьная экскурсия на ближний луг. Экспедиция — вроде путешествия в неизведанные места и страны. А экскурсия, что ж! Так себе, школьный урок, только не в школе!

Свернув с большой дороги, идем береговой тропой, вдоль той самой речки, что выбегает из Унж-озера. Вьется тропа то среди черных таинственных валунов, то спускается в моховые болотца, то ныряет в еловую чащу. А лес здесь такой, какой в рисунках к сказкам бывает — дремучий, немножко угрюмый. Нам приходится иногда перелезть через толстенные осины и ели, поваленные ветром. Совсем иструхли эти деревья, но покрыты бархатисто-зеленым мхом. Ступишь на такую валежину — нога проваливается в бурую древесную труху.

Солнце всё ниже, тени длиннее, пряно пахнут багульниковым болота. До озера недалеко — оно вон там, за той грядой сосен. Но вдали что-то глухо гудит, перекатывается. Быть грозе!

— Пришли! — заявляю я и сбрасываю с плеч на доевший рюкзак.

— А где же озеро? — осматривается Люся.

— Озеро рядом, но мы туда сейчас не пойдем, там нас гроза застанет. Да и поздно уже. Мы тут ночевать будем.

— В лесу?

— Ну, конечно! Самое подходящее место. Река — вот она. А на полянке видишь — сеновал с сеном. В нем мы от дождя и укроемся.

И Люсин рюкзак летит на землю. Разводим крохотный костер, только чай вскипятить. Люся растянулась на траве, рада отдыху. А по вершинам леса уже нет-нет да и пронесется порыв ветра. Но вскоре все замирает. Над лесом плывет чугунная туча, седые пряди свисают с нее. Вот туча наползает на солstice, и вмиг становится мрачно и уныло. Раскаты грома становятся все злее.

Чай допит, угли костра залиты его остатками.

— Люся, умеешь по углам домов лазить?

Люся хихикает. Смешной папка! Прекрасно знает, что в лазаньи по углам деревенских домов да что там по углам! — хоть на любое дерево, Люся никому из мальчишек не уступит. Чего же и спрашивать?

— Тогда — марш на крышу сеновала! Я тебе рюкзаки подам и сам туда же заберусь.

Люся еще не знает, что лесные сеновалы в наших местах особенные. В них просто не попадешь. Правда, есть у них и ворота, но перед тем, как заполнить сеновал сеном, эти ворота закладываются жердями, затем на крыше сеновала раздвигается несколько досок и в отверстие сбрасывают сено. Набил сеновал дотуга, сдвигай доски, и все в порядке. Надо лишь узнать, какие доски сдвигаются. Ну, это дело нехитрое.

Вот мы и под крышей сеновала. Вовремя! Несколько минут мертвой тишины, и во все щели сеновала льется фиолетово-розовый, дрожащий, нестерпимо яркий блеск молнии. Погасло. Темень. Обвал грома, и по доскам крыши застегал веселый ливень.

— Сухо, тепло! — радуется Люся, забираясь в сено поглубже и вмиг засыпает...

* * *

Туманное, росистое утро. Трава — седая от росы, седые кусты ив и ольхи по берегу. Молодые сосенки в этой росе кажутся бледными.

— Папка, дай еще одну минуточку поспать! Ну самую маленькую! — бормочет Люся.

— Люся, мы в экспедиции!

Опять помогает волшебное слово.

Торопливо пьем чай. Пора и на озеро.

— Люся, пойдешь до озера босиком. Туфли и чулки спрячь в рюкзак.

— Папка, да ведь роса холодная! Я озябну!

— Ничего не поделаешь! Если в туфлях и чулках по росе пройдешься — и ноги и обувь мокрыми будут. Весь день придется в такой обуви ходить. И тесно, и неприятно, и для здоровья нехорошо. А босичком хорошо! Ноги хоть и покраснеют, но разогреются на ходу. На месте же ты обуешься в сухое.

Убедил. Пошли.

Вот оно Унж-озеро! Узкая полоска песчаного берега, над нею свисают старухи-сосны, дремучие ели, корявые дуплистые березы. По песку грудями валуны лежат...

Начинаем обследование стоянки. Поднимаем каждый черепок, украшенный ямками, зубчиками, полосками, каждый кремешок.

Нам везет. У валунов я нахожу плоский черный каменный клин. Нет, это не клин, это — топор!

В диком восторге Люся пляшет вокруг валунов. Сплясал бы и я, но неудобно — все же начальник экспедиции.

— Ой, папка! Какая красота! Ты посмотри! Вот бы так нарисовать!

Первый раз в своей жизни Люся видит восход солнца в лесу над озером и в восхищеньи замирает. Над тростниками, над розовым и голубым туманом поднимается алый круг солнца. Под ним — озеро, синее и алое, над ним — небо без облачка. А вокруг — лесные чащи в сверкающей росе.

— Нет! Мне так не нарисовать бы! — признается, вздыхая, Люся.

Продолжаем свои поиски. Люся опять пляшет. Она нашла кремневый наконечник копья-дротика. С такими копьями древние люди выходили на охоту.

Находим мы и наконечники стрел, и скребки, и орудия из шлифованного сланца. Но больше всего черепков глиняных сосудов..

Проходит час, другой. Солнце стало золотым. Усиливается жной. Вижу — дочка уже устала. Ведь молодым хочется всё время находить интересное и еще более интересное. А тут — однообразная работа. Ну что же! Я понимаю Люсю. Ведь и научная работа не цепь радостных открытий и находок, а кропотливое и порою очень однообразное дело. Дело не только дней, но месяцев, а иногда и годов. Только тогда ты видишь плоды своего упорного труда.

Будет время, и Люся поймет это. А пока:

— Дочка, раскладывай костер, вари обед!

— А что варить? У нас только и есть, что хлеб да соль. Ну, еще чай и сахар. Ах, забыла — еще зеленый лук есть!

— Ну-ка, пройдишь берегом по лесу, набери грибов. Вот и похлебка.

Занятый своими поисками, я не замечаю времени. Но скоро уже полдень, а дочки все нет. Встревоженный, окликаю ее.

— Иду! — отзывается она. — Иду! Папка, здесь малины!!!

Показывается из леса. В подоле платишка — грудка белых грибов.

— Уф! Ну я и наелась! Даже губы свело! И малина, и черная смородина, и костяника! Даже черемуха поспевает! А грибов! Вот бы маму сюда. Она очень любит грибы собирать.

Грибной суп получился на славу! Только густоват, ложкой не провернуть. Но едим его в полный аппетит. Потом завариваем чай. К нему Люся приносит малины...

— Ах, как хорошо! — радуется Люся. — Ты, папка, бери меня всегда с собою. Ладно?

— Ладно, — соглашаюсь я, помалкивая о том, что не всегда бывают такие удачливые и хорошие деньки.

Иной раз и под дождем работаешь, и попусту сколько места зря пройдешь!

В ветвях березы над нами сердитое цоканье:

— Папка, папка — белка! — кричит Люся восторженно и уговаривает рыжего зверька: — Иди к нам! Мы тебе грибов дадим, хлеба, сахару!

Но белка недовольна, встревожена людьми. То спустится на самую нижнюю ветку и цокает, ругает нас по-своему, то рыжим огоньком взлетит на вершину дерева.

Пока заканчиваю работу, Люся успевает набить свой рюкзак отборными белыми грибами.

— Маме в подарок, — объясняет она.

— Донесешь ли? — сомневаюсь я. — Выбросишь на полпути. Да и перемнутся они!

Она упрямо мотает головой. Очень уж хорошие грибы — надо донести!

Устало бредем береговой тропинкой. До большака — три километра, подсчитываю я, да большаком двадцать пять до дома. Сегодня и думать нечего дойти до своего села. Придется переночевать в ближайшей деревне.

Опять-таки нам, как говорится, везет. Только выбрались на большак и присели отдохнуть — показалась автомашина со знакомым шофером. Не ожидая нашего сигнала, он сам останавливает машину, приглашает:

— Девицу — со мной, в кабинку, а вам придется на верхотуре, на мешках посидеть!

Надо ли еще приглашать? Люся снимает свой рюкзак с плеч, сует его мне:

— Вот видишь, вот видишь? И грибов привезем! А ты говорил — выбросить их!

И бегом в кабину! Какое счастье для нас — посидеть у рычагов, циферблатов и прочих таинственных

частей машины. И хотя Люся еще час тому назад уверяла меня, что, окончив школу, будет учиться на археолога, но теперь твердо знаю, — она готова быть только шофером!

— Ладно, ладно, — думаю я, перекидывая рюкзаки в кузов и сам карабкаясь за ними на «верхотуру». — Кем бы ты ни была, дочка, работай с увлечением, честно!



МЫШОНОК

ВЕЧЕРОМ дед захворал.
— Аннушка, — ска-
зал он Мишиной ма-

ме, — свалило меня. Сходи к Петухову, попроси его за меня эту ночь на острове посторожить. Я поправлюсь — за него вахты отстою.

Мать скоро вернулась. Петухова дома не оказалось, уехал на всю ночь на рыбалку.

— Придется, видно, самому идти! — вздохнул дед и полез с печи.

— Что ты, что ты, отец, — закричала мать. — Подумаешь, какие сокровища на острове охранять надо — бревна да тросы! Вот Мишонок за тебя ночь там у огонька посидит, не маленький! Я его сама туда на лодке отвезу, а утром тоже сама за ним съезжу. Подежурь, Мишонок, за дедушку, ладно?

Видно болезнь крепко прижала деда. Он не стал спорить, а опять улегся на печи, накрылся с головой тулупом и стал дышать часто и неровно.

— Вот беда-то! — вздохнула мать. — Отвезу тебя, Миша, на остров и за фельдшером схожу!

Мишу многие мышонком зовут — ростом не вышел, глаза темные, бойкие, нос востренький — ну мышонок и мышонок, такой же юркий и со смекалкой.

Сборы недолги — старую фуфайку на плечи, под-

поясать ее ремнем, зимнюю шапку на голову. Осень все-таки. В корзиночку мать поставила бутылку молока, краюшку хлеба. Миша от себя картошки добавил и соли в тряпочке. Будет печь картошку в горячей золе. На всю ночь забава!

Вот он и на острове посреди реки. Остров низкий, плоский, скучный. А река по обеим его сторонам быстрая, глубоченная. В правой протоке вдоль острова — гонки, толстые пучки бревен, перевязанные проволокой. По утрам буксирный пароход забирает сразу чуть ли не сотню пучков, уводит их далеко-далеко, чуть ли не до Каспийского моря. Миша хоть и в третьем классе учится, а знает по карте, где это море — большое синее и впадает в него тоненькая синяя жилка — река Волга.

Вверх по реке, за поворотом — сплавной рейд, запань. Там много рабочих и Мишин отец там работает, вяжет машиной бревна в пучки. Но теперь на рейде тихо, завтра выходной...

А ниже по реке, тоже за поворотом — большая пристань на судоходной реке. Отсюда пристани не видно, только стоит розовое зарево от ее фонарей.

Всё знакомо здесь Мише-мышонку. Бывал он и на пристани, и на рейде, и здесь с дедом не раз ночевывал. Тут посменно дежурят дед и Петухов, тоже старик. Они из горбылей построили навесик от дождя, у навеса — большое пятно золы от костра. И Миша занялся костром, натаскал всякого древесного хлама, чтобы на всю ночь дров хватило, и запалил огонек.

Вот теперь и совсем хорошо — тепло, светло и уютно. Ничего, что Миша маленький. Если воры заберутся — он так закричит, что в ушах зазвенит. Услышат и в селе, и на пристани, и на рейде. Впрочем, воры сюда не полезут раз огонек горит, подумают, что дедушка дежурит.

Медленно наползала осенняя ночь. Для порядка Миша обошел остров, сосчитал пучки бревен. Сосчитал и тросы, уложенные у сторожевой будки. А в конце острова повинка для Миши — недавно построенный из теса ларек. Миша вспомнил разговор деда о том, что ларек этот вроде столовой для плотогонов.

— Хорошая постройка, — подумал Миша и покачал рукою огромный висячий замок на двери. — Здоревенный замчище, ни одному вору не сломать!

Осмотрев ларек, Миша отправился к костру.

Тихо. Наполз откуда-то сырой, липкий и сонный туман. Только и слышно, как журчит вода среди бревен да разве иногда плеснется что-то — то ли рыба сыграет, то ли кусок берега, подмытый стремительной водой, шлепнется в реку.

Миша ужинал, не торопясь — ночь-то долгая, еще надоест сидеть у огня. Потом насыпал в каленую золу картошки, нагреб на нее угольков и задумался.

На будущий год пойдет он в четвертый класс, глядишь, и не заметишь как десятилетку кончит. А потом куда?

Ну, тут раздумывать особенно нечего. Давно у Миши решено стать моряком. Иначе — никак! Дедушка матросом был, отец матросом был, значит, и Мише та же дорога. И вот он будет сначала матросом, но потом пойдет в мореходку, станет штурманом, а затем капитаном. Сразу капитаном быть нельзя, отец это точно объяснил. Надо, говорит, очень много учиться, особенно математику знать! Вот тут-то у Миши не совсем ладно. Придется нажать, по лишней задачке решать, что ли? Или не торопиться, до десятого класса еще далеко? А может, все-таки поторопиться надо? И вдруг Миша клюнул носом, чуть ли не в огонь!

— Вот так капитан! — рассердился он сам на себя. — На вахте спит!

Сбегал к реке, умылся. Сразу заныли от ледяной воды руки и уши! Зато сон исчез. У реки было совсем-совсем темно и глухо. Вот высоко в небе словно про-свистело что-то. Это утиная стайка пролетела. Вон на пристани горласто затрубил пассажирский пароход, и ему певуче отозвалась самоходная баржа.

— Девять часов, — узнал Миша время по пароходному гудку. — Ой, далеко еще до утра!

Подкинул опять дровец на огонь, выгреб палочкой печеную картошку и всерьез занялся ею.

Потом стало совсем скучно. Время тянулось очень уж медленно. Пароход прогудел три раза — на отвал. Половина десятого. Визгливо перекликнулись какие-то буксиры. Это гудки с дальних пристаней...

Дремота опять стала слипать Мишины глаза. Пришлось снова бежать к реке. И здесь, сидя на корточках у воды, Миша услышал: кто-то едет в лодке, доносится шлепанье весел.

Кому бы это плыть в это время? Зачем? Куда он плывет? Миша насторожился. Плыли к острову. И пареня со всех ног бросился к костру, придвинул поближе к себе старенький топоришко. Все-таки оружие!

Слышно было, как лодка глухо стукнулась носом о бревна пучков, как лягнула ее носовая цепь — человек привязывал лодку.

Кто же это и зачем? Может, дедушка выздоровел и приехал?

Нет, это был не дедушка. К костру подходил незнакомый Мише человек, в летнем потрепанном пальто, в кепке с поломанным козырьком, в порванных грязных сапогах. Лицо серое, небритое, глаза какие-то нехорошие. Но — трезвый.

— Здорово, караульщик! — сказал он Мише и, присев, протянул руки к огню. Такой молодой, а уже при должности. Много ли зарабатываешь?

— Я — за дедушку, — ответил Миша и запнулся. Зачем он это сказал? Пусть бы незнакомец подумал, что дедушка где-то здесь, только отошел на минутку. Но было уже поздно.

Незнакомец вытащил из кармана смятую пачку, долго добывал из нее папиросу, ругнувшись, швырнул ее в огонь:

— Последняя и то пустая!

— А ты, дяденька, зачем на остров приехал? — набрался смелости Миша.

— Я-то? Рыбак я. Понял? Люблю ночью рыбу ловить, какая покрупнее!

— Ночью в одиночку не ловят, — сказал Миша. — Двоим надо!

— А я вот один люблю. Выгоднее. Вся добыча моя, ни с кем делиться не надо!

И поднялся:

— Вот, что парень, сиди здесь и не шевелись, от огня не отходи до утра. А я по острову пройду. Понятно? И чтобы ни звука, а то зарежу. Видишь, у меня какая игрушка для крикунов припасена?

В руке его сверкнул финский нож.

— Будешь сидеть молчком — жив останешься. Заорешь — тут тебе и конец. Зарежу и в реку брошу. Так что не ори!

Сказал и исчез в кустах. А что Миша мог ответить ему? В горле сразу пересохло!

Послышался какой-то скрежещущий звук с того конца острова.

— Замок ломает! На ларьке! — похолодел Миша. — Что делать?

Догадка пришла неожиданно. Скинув с себя фуфайку, Миша набросил ее на осиновый чурбан, поставленный дедушкой у костра — на нем старик обтесывал всякие нужные ему колышки. Снял Миша и шапку-

ушанку и ее на чурбан. Получилось, будто сидит у костра паренек. А после этого со всех ног бросился он к протоке, к гонкам. Самое важное — поскорее найти лодку.

Пучок, другой, третий! Ой, как много их! А где же лодка? Еще пучок, второй... Бревна мокрые, скользкие, того и гляди сорвешься в реку... Еще пучок, еще. Ага! Вот она, лодка!

Стараясь не брякнуть железом, Миша торопливо распутывал цепь. А она, как на зло, была в узлах. Скорей, скорей! Вон он идет, незнакомец, против тусклого света костра хорошо видна его сутулая фигура с узлом за плечами. Но он не видит еще Мишу.

Торопись, Миша, торопись, мышонок!

Цепь соскользнула с бревна, слабо звякнула, но река уже подхватила лодку, понесла ее.

Бесшумно Миша разобрал весла, вдел их в крючки и тогда рванул изо всей силы.

— Назад! Назад! — заорал незнакомец, швыряя узел на гонку. — Назад, дьяволенок! Стрелять буду!

Но Миша не очень прислушивался к хриплым крикам. Тяжелые весла казались ему легкими, а течение реки медленным. Мелькнули последние кусты на нижней оконечности острова...

— Посиди теперь там! — злорадно думал Миша о незнакомце. — С острова без лодки на берег не пойдешь! Посиди, посиди!

Заморосил дождь. Рубаха на Мише намокла, но он греб и греб к ласковым огням пристани, что сверкнули за речным поворотом.

Ну что ж потом? Ничего особенного. На пристани Миша бросился к дежурному милиционеру. Тот удивился:

— Что с тобой, Мышонок? В одной рубашке, мокрый или потный? Всё ли дома в порядке?

Не прошло полчаса, и зашумел мотор на пристанском катере. На нем — несколько милиционеров и рабочих с пристани. Подошли к островку.

Одним словом, незнакомца с финкой сразу же поймали, хотя и пытался он спрятаться в кустах. А прожектор на катере для чего? Он как брызнул зеленым светом по острову — все видно стало, как днем, только тени очень черные, угольные.

Катер пошел обратно на заре, когда всё было милиционерами осмотрено и записано в протокол. И Миша подписался под ним.

А на обратном пути капитан катера разрешил Мише подержаться за штурвал. Одному, совсем одному!

Лучше этой награды не придумаешь!

НИКИТИНЫ РЕЗОНЫ



Я ОПОЗДАЛ. Лодочка перевозчика черным стручком виднелась уже под тем берегом озера. Приедет он сюда только утром. А мне надо было в Гаврине быть пораньше. Что делать?

Присев на серый обомшелый валун, я просвистал какую-то бодрую мелодию, утешая сам себя. Но веселее от этого мне не стало. Или дожидайся утра и перевозчика, или обходи болотами северный край озера, по незнакомым тропам, чтобы к утру быть в Гаврине. А это — пятнадцать километров, верных четыре часа ходу. Кто их тут мерял эти километры?

Над приозерными лугами уже повис туман, и дергачи, спавшие весь день, теперь наверстывали упущенное. Казалось, то там, то здесь кто-то заводил ключом большие ржавые часы: «Тр-ррр, т-ррр, т-ррр!». И комары занули неутомимо, рьяно — пришла их пора!

Наезженная дорога скоро оборвалась, перешла в узкую тропинку, а вскоре и тропинка кончилась — вместо нее, натопанной людскими ногами, между кочек и валунов затейливо вились, перекрещивались тропы, набитые колхозными коровами. Впрочем, и эти тропы куда-то исчезли. И, махнув рукою, я пошел наугад, зная только одно — справа от меня берег озера и не надо терять его из вида, а то...

Лес теперь подступил к самому озеру, отгородившись от него густой чащей ивовых кустов. И в нем, в этом кустарнике, ночные тени казались еще темнее и гуще, а комариный писк особо свирепым. Где-то на дальнем моховом болоте перекликнулись сторожевые журавли, откуда-то издалека донеслось тарахтенье автомашины.

Но воздух был не по-вечернему глух и тепел — нет, нет да и потянет откуда-то парным теплом, запахами болота, багульника. Неужели будет гроза? Похоже на это. А туман? Это же верная примета завтрашнего вёдра. Впрочем, летняя гроза с туманом не считается, всяко бывает.

Мои опасения сбывались. Тяжелый глухой рокот прокатился над озером и замер в бору. Идет гроза! Хорошо пережить ее под крышей или даже под стогом. А в лесу... И я прибавил шаг, надеясь увидеть хотя бы стог. Но тут потянуло дымом и не от костра, а печным, с запахом какого-то варева. Откуда здесь жильё?

Вдруг все ярко осветилось розово-фиолетовым огнем молнии — с новыми силами трескуче раскатился гром после этой вспышки. Вот-вот хлынет дождь. Да он уже и приближался — слышно как все угрюмее и угрюмее нарастает шепчущий шум, ближе, ближе. Под какое бы дерево присесть?

Тут я заметил за кустами спокойный огонек человеческого жилья. Крохотная избушка притулилась под сломанной до половины сосною у самого берега озера. Только я добежал до нее, только взялся за дверную скобу, как в половину неба полыхнуло, ослепило меня огненно-дрожащее полотнище молнии. И сразу же — басовой раскат грома, а вслед за ним лес зашептался, заговорил со спорым теплым летним ливнем.

— Это кто? — спросил меня хозяин избушки, си-

девший на чурбане у глинобитной печурки, в которой рдели горячие угли. — Проходи, гостем будешь! А горюжить обожди — я делом занят.

Несколько минут он возился над чем-то у печки, потом устало вздохнул «у-ф!» и лишь тогда повернулся ко мне. Широкоплечий пожилой человек, усы солдатские, ершистые светлые, лицо загорелое. Инвалид, из левой штанины торчит деревянная нога.

— Человек незнакомый, — сказал хозяин избушки. — Как сюда забрел? С тропы сбился? Я и сам с нее сбиваюсь. Не хитро! Коровы постарались. Да ты открой дверь-то, натопил я сегодня жарко. Видишь, молочный бидон чинил, запаивал.

— Эх, как грохнуло! — удовлетворенно сказал он, когда над избушкой раскатился очередной удар грома. — Крепко! Давай, давай дождичка! Лучше нет для растения, когда дождь ночью, а днем теплое солнышко. Сам-то откуда будешь? Так, понятно!

Он проковылял к столу, достал из шкафчика краюшку хлеба, поставил на стол блюдо, положил ложку:

— Ночуй у меня, раз так вышло, место найдется. А вот, поужинай. Уха! Ешь сколько хочешь.

От такого простодушного предложения не отказываются.

— Спасибо, — сказал я. — Поем. А спать мне не придется. Надо в Гаврине до солнышка быть, колхозная машина рано в райцентр пойдет, я на ней и доеду. А то пешком двадцать километров идти.

— Шофер проспит! Знаю я Федьку! Да ты не горюй — утром я сети проверю, рыбу в корзину сложу и тебя заодно в Гаврино доставлю. К сроку.

— Хорошо на рыбе зарабатываешь?

— Когда как. Я не для себя ловлю, колхозу, за трудодни. Себе только на еду беру. Мне с женой немного надо,

— Разве детей нет у тебя?

— Есть да не при себе. Ростил, учил, а они — все-го хорошего, папаша, только их и видел. Теперь и самому обидно — зачем я в нитку вытягивался, себе во всем отказывал, когда их учил? Один сын — капитан на пароходе, другой — техник на заводе, дочка — фершлица. Да кабы при себе их видеть, а то раскидало их по Советскому Союзу — раз в три года видеть приходится.

— Это же очень хорошо, что твои дети образование получили. У самого, наверно, грамотность невелика.

— Три года церковно-приходской, полный курс, как говорится. Конечно, образование великое дело. Да вся беда в том, что не видим мы этих образованных в своей деревне, если и пришлют кого, так обязательно из другой области. Вот у нас агроном — костромской, зоотехник — новгородский. К нашему месту их ничего не вяжет — ни дом родной, ни знакомое место. А там в Костроме или Новгороде наши работают — вологодские.

— Где же так сделать, чтобы каждому на свою родину после учебы попасть?

— Это я понимаю. Иному и вообще после учебы в деревне делать нечего. Вон у меня сын — капитан, так он в Мурманске. Должность у него такая, что в деревне похожей не найдешь. А вот дочка моя могла бы и на нашем фельдшерском пункте работать. Да не в этом дело!

Он подошел к раскрытой двери.

— Прокатилась гроза! Наделала шуму, травку спрыснула! Гляди-ко, опять туман заподнимался, да еще гуще, чем с вечера. Парит! Спать, пожалуй, и мне не придется, светает. Скоро и сети поднимать. Председатель вчера просил: «Никита, рыбки подкинь, косить

начинаем завтра, если погода хорошая будет. Надо косцам уха! А погода будет — ведро!

Усевшись опять на свой чурбак, Никита продолжал:

— Образование для крестьянина — великое дело! Не только наши отцы, так и мы, теперь-то уж старики, еще об этом только мечтали. А нашим детям — счастье! Только то плохо, что не понимают наши детишки, да и мы порой, что образование не только для тебя, а для всех пользу должно дать. А тут кончит иной десятилетку и чувствует, что он от деревни отрезанный ломоть. Да из деревни — вон! Разве на дачу, вроде в отпуск, приедет шляпой да галстуком покрасоваться.

Он вздохнул:

— Мы-то, родители, радуемся: «Учись, сынок! Не придется тебе в земле носом копать, руками навоз набрести, как нам!». А хватились — нето! Мы, старики, все еще в земле роемся, навоз вилами ковыряем, а молодежь батистовым платочком нос зажимает. Легкая жизнь! А кто хлеб им, молодым, готовит? Мы, старики! Так наши годы короткие, наши силы к концу идут. Сейчас в колхозах много машин и все они разные, к ним без образования не подойдешь. А начнут набирать на курсы трактористов или механиков, а то вот теперь ГЭС у нас пустили — монтеры нужны, и набирать не из кого. Мы — малограмотны, стары, а с десятилеткой лезут в высшие учебные. Тоже, всякое и ученье бывает!

Он засмеялся:

— Вот в нашей деревне есть Степан Трунин, конюх, может слышал. Так у него сын учился, учился, а потом приезжает и бухгалтером в леспромхоз.

Я спрашиваю этого ученого, на кого выучился, что прямо в бухгалтерию попал? А он отвечает, что дол-

жен, мол, работать над историей кино, да пока нет надобности ее писать, есть один человек в Союзе, он этой историей и занимается, а нашему земляку работы не оказалось! Вот как! А пять лет учился!

— Что ж по-твоему надо сделать? Молодых не учить?

— Но, но! Этого не говори! Как не учить? Надо учить и еще лучше, строже. Только после школы надо подумавши им определение давать, так, чтобы ежели ты колхозным хлебом выкормлен, так колхозу и потрудись, а ежели у тебя особые таланты, тогда иди и в высшее учебное, да опять-таки на колхоз оглядывайся! Вон ты про шофера Федьку упоминал, а знаешь ли, сколько трудов колхозу стоило своего шофера иметь? Требуют человека на курсы, да чтобы у него семилетка была, а у нас во всем колхозе с семилетним образованием пять человек и те при деле, на курсы не отправишь. Кой-как уговорили начальство, чтобы Федьку приняли. Он все-таки пять классов кончил, на жнейке работал, прицепщиком на тракторе. Вот и выходит так, пока Федька до райцентра доедет, машина пять раз встанет. Федька около нее возится, копается, а в чем дело — не сразу доберется. Ну погоди, я чайку вскипячу да и поедем в озеро.

Подбрасывая в печурку щепок, пристраивая чайник, Никита продолжал:

— А я так и не понимаю, чего наша молодежь так в город тянется? Не понимаю! Культура, говорят! Культура! А что у нас ее нет, что ли? Вон почти по всему району электричество — и в домах, и на дворах. У каждой бабенки теперь электрический утюг. И кино у нас каждую неделю, и книги есть. Образованные люди не только городу, но и деревне нужны. Если бы да нам на село побольше специалистов — тогда бы, тогда бы...

Он не договорил. Чайник вскипел, зашипел, заливая горячие угли.

— Готово! Садись за стол! Тогда бы, говорю, у нас лучше всякого города было. Вот как! Воздух хороший, в поле, в лесу красота! Всякую работу машиной бы! А к машине умные руки нужны!

Вскоре мы плыли в осиновой долбленке, поднимали сети, и на дно челна то и дело шлепались то жирные ленивые лещи, то зеленоватые ехидные щуки, то красноперые окуни. На том берегу, в Гаврине уже барабанил пастух, перекликались звонкие женские голоса, деловито тарахтел трактор.

Туман редел, тянулся седыми волокнами, за густо-зеленой стеной тростников поднималось багровое, ослепительное, но еще не греющее солнце, где-то встревоженно крикала утка, собирающая своих птенцов.

Никита греб сильно и ловко, смотрел по рыбацкой привычке поверх меня, куда-то вдаль.

— Никита, — спросил я, — как же так, ты теперь говоришь — надо молодежь в деревне придерживать, а твои дети все из деревни ушли?

Он ответил не сразу, еще пристальнее вглядываясь в что-то далекое на том берегу:

— О сынах скажу — сам я виноват, в жизни еще не разбирался. А дочка — ну с дочкой разговор иной. Выхлопотали мы все-таки, что едет она в свой район работать и в нашем колхозе. Фельдшерницей. Тут у меня душа на месте.

— И давно у тебя такие мысли об образовании появились?

— Да как сказать? Давненько. Еще на войне я об этом задумывался. После ранения в госпитале лежал, думал. Там свободно для этого было, больше и делать нечего. И такая меня тоска по своей деревне брала. Вот и думал я — неужели нашу молодежь эта тоска

не мучает? И спохватится иной да поздно. И то я думал — стариками колхоз не поднимешь, это дело для молодых, для ученых! Ну, вот и приехали. Вон и Федька у машины своей копошится. Не опоздаешь! Он еще часа два проканителится. Парень трудовик, честный, да вот образование-то у него...

Челнок с хрустом врезался в прибрежную гальку.



ПЕЧАТНИКИ С ВОДОБЫ

К УТРУ мороз стал еще звончее, свирепее, гулко постукивал по стенам домишек рыбацкого села. Но то в одном, то в другом доме начинал светиться робкий огонек, в звездное небо поднимались столбы дыма — беспокойные хозяйки хлопотали у печей.

Охотник, свистнув собаку, спустился по скрипучим ступеням крыльца, довольно крикнул, вдохнув крепкий, как спирт, морозный воздух, и закинул за плечи шомполку. На крыльцо, с фонарем в руке, вышла жена:

— В такой-то мороз полесничать идешь! — недовольно сказала она. — Когда вернешься-то?

— День короток, придется в лесу ночевать, — отозвался охотник, осматривая лыжные ремни. — Кто спросит, скажи, завтра к вечеру буду.

Он быстро зашагал по накатанной до блеска дороге, свернул в проулок, перелез через изгородь и встал на широкие лыжи. Рыжий пес бежал за ним по лыжне, берег свои, собачьи, силы до леса.

Мерно шаркали лыжи по снегу, острым ветерком тянуло с востока. Казалось, не будет конца ночи, что облегла стылую землю, нависла над лесами, над заснеженными полями и озером, над деревушками. Но

охотник знал — скоро рассвет, уже играет звезда-заяница над черной стеной леса. А там и день, пусть и короткий, морозный, но все-таки день...

На опушке леса охотник остановился, прислушался. Тишина, такая тишина, что вот произнеси слово, и она рассыплется, как тонкое стекло.

— Все в порядке! — пробормотал охотник. — Хорошо морозец, куда с добром! А мне и лучше!

И мерным шагом двинулся в густую чащу елей.

★ ★ ★

В то же утро — кто часом раньше, кто позднее — еще два охотника вышли из своих деревень. Как и первый, они время от времени останавливались, прислушивались к зимней тишине, а потом шли и шли дальше, и только лыжня на снегу рассказывала, что полеснику и в лютый мороз дома сидеть не полагается.

★ ★ ★

Широки лесные просторы севера, чисты и не тронуты их снега ногой человека. Зато много звериного следа. Вот зайчьи — тропинку настоящую намяли копыта, пробираясь на пир к поваленной ветром осине, добела обглаживали ее тонкие сучки. Вот лисья цепочка следов. Вот белка спрыгнула с дерева на снег, чтобы поискать где-то внизу свои летние запасы и опять метнуться на дерево, залечь в теплое моховое свое гнездо — гайно. А вот и круглые следы рыси, и тут же рядом словно борозду провел лось. Много нынче снегу. Трудно зверям.

А потом все же и человеческий след пробежал лесом — широкая лыжня. И за холмом, что вгустую порос частым ельником, вторая лыжня на первую выбежала,

слилась с ней, подумаешь — один человек шел. А за лесным ручьем, что дремал теперь подо льдом, под снегом, и третья лыжня набежала на первые и тоже сошлась, слилась с ними.

Зазолотились вершины елей и сосен — пал на них первый луч восходящего солнца. Но внизу, под елями, еще синий колдовской сумрак и снег голубой, задумчивый.

На лесной поляне — охотничья избушка из бревен в обхват, с дерновой крышей. Стара она, да верно служит полесникам. Теперь под снегом не сразу и найдешь ее.

Лыжня подбежала к избушке и оборвалась. Три пары лыж прислонены к стене избушки, три ружья висят на ее углу, три собаки клубками свернулись на снегу у открытой двери, откуда медленно ползет пахучий смолистый дым.

Избушка топится по-черному — на очаге из валунов трещат, полыхают жарким пламенем сосновые поленья. На земляном полу, на свежей хвое сидят охотники, жмурят покрасневшие от дыма глаза, кашляют, отплевываются, но блаженно протягивают озябшие руки к огню, ждут, когда забулькает вода в жестяном чайнике. Не до разговоров — тело устало.

Дрова в очаге прогорели, чад улечувивается в открытую дверь. Здесь от раскаленных камней жарко, а там, за порогом — морозная ночь, тишина и над елями серпик луны, холодный, ледяной. Охотники прикрывают дверь, зажигают тоненькую свечу и пьют чай, лениво переговариваясь о разных пустяках, о сегодняшней добыче.

Давно сняты заскоруждые от звериной крови полушубки. Один из полесников даже расстегнул ворот своей зеленой заплатанной куртки, другой — расстегнул пуговицы жилетки из вытертой овчины. Самый мо-

лодой с белокурой бородкой — в городском пиджачке, синей линючей косоворотке. Черные брюки его из «чёртовой кожи» на коленях масляно лоснятся — такой лоск увидишь на брюках слесарей, мастеровых, что всю жизнь возятся около машин.

— Ну, Ларионыч, теперь рассказывай, что нового узнал из газет и прочего, — говорит тот, что в жилетке. — Сам знаешь, у нас в селе только один поп газетку выписывает, так нам она не достаётся.

Ларионыч — в пиджачке — не спеша допивает чай, выплескивает остатки из жестяной кружки на горячий камень очага и молча следит за тем, как шипит вода, исходит легким парком.

— Собак покормить надо, — отвечает он и, приоткрыв дверь, подзывает своего пса, бросает ему черствую горбушку.

И опять все сидят, курят, ждут. Тогда Ларионыч медленно, словно нехотя, начинает:

— В Москве, товарищи, большие дела делаются. Встал рабочий народ против царя. Бои идут на баррикадах, на Пресне. В газетах об этом мало пишут. Нелзя. Да и какие это газеты? Царскую власть поддерживают.

— Откуда же ты обо всем этом узнаешь? — допытывается полесник в зеленой куртке.

Ларионыч чуть улыбается:

— Есть и наша газета, есть и наша печать. В ней — правда. Ну, и по-другому ко мне правда доходит...

— Значит, поднимается все-таки народ?

— Поднимается, товарищи, поднимается! Кипит Россия!

— Там бы побыть! — вздыхает полесник в жилетке. — Так бы своими руками и пальнул! По царшке да господам!

Ларионыч опять улыбается:

— Горяч ты, Иван Григорьич! Мне бы тоже там, в городах, хотелось бы побывать. Да вот — не выходит пока! Нам тоже работенка партией дается — здесь на революцию потрудиться! Ты скажи, Григорьич, у тебя прошлый раз все ладно сошло? Что-то слухи доходили...

Иван Григорьич смущенно почесывает лохматую голову:

— Вся волость, весь приход наше изделие читали. Шуму теперь! Поп наш ходит, как шальной баран, бородой трясет, руками разводит, ночей с перепугу не спит...

— А поп тут причем? — хмурится Ларионыч.

— Так он же мне наши листовки помогал народу раздавать.

— Что ты говоришь? — Ларионыч возмущенно вскакивает, но стоит, сгорбившись — низок щелястый потолок избушки.

— Ты не сердись, Ларионыч! Ты сядь, послушай! — Иван Григорьевич тянет Ларионыча за рукав. Тот присаживается.

— Вот как дело было. Подрядился я отцу Федору десять сажен дров заготовить и вывезти. Березовых. Нужда пристигла — вперед у попа деньжонок забрал. Да. Санний путь установился, стал я дрова попу на двор вывозить. Воз привезу — и на кухню к нему, погреться. В канун рождества сижу так-то на кухне. Попадья тесто на пироги месит, поп по горенке похаживает, нет-нет со мной словом перекинется — дрова, мол, мои плоховаты, недомерки попадают, суковатые. Известно — цену сбить хочет. К лишнему возу подговаривается. Тут и люди разные заходят — то по одному делу, то по другому. Поглядываю, соображаю — успею ли еще раз до вечера в лес заехать. Вижу — на полочке у печи стопочка бумажек лежит. Тут

Попадья куда-то выбежала, а поп дверь в горенку захлопнул, опять пришли к нему. Я и глянул в бумажки эти. А это, значит, печатные поповские поученья о рождестве христовом. Крест напечатан и прочее. Тут меня и надоумило — как раз эти проповеди по размеру наших листовок, что мы прошлый раз печатали, точь в точь. Я, пока никого нет, и давай свои листовки в поповские пихать...

— Зачем?

— Знаю — поп после обедни будет свои печатные поучения верующим раздавать, читайте, мол, дома. Ну, думаю, и наши раздаст заодно. А у меня своих-то пятьдесят штук за пазухой с утра лежат, хотел их кое-кому, крепким людям, раздать или потихоньку у церковной сторожки ночью раскинуть — тут на празднике всегда людно...

— Ну, ну?

— Все ладно вышло. Поп обедню отгрохал и давай свои листки рассовывать и всё мужичкам, те пограмотнее, не бабы. И я в церкви стоял, как же — прихожанин! И мне, как на заказ, поп мою же работу в руки сунул! Я ее кому-то в карман. Зашел погода в сторожку — слышу кой-кто уж и вслух наше изделие читает. Урядник спохватился, да поздно — народ уж почти весь разошелся...

— Эх ты! Нашел тоже распространителя! Чистыми руками, нашими, трудовыми такие дела надо делать, а ты попа заставил!

— Не сердись, Ларионыч!

Но Ларионыч уже хохотал да так заразительно, что оба охотника тоже расплылись улыбками.

— Хватит! — утер глаза Ларионыч. — До слез ты меня рассмешил. Но в другой раз таких петрушек не выкидывай. А время идет — давайте, товарищи, за дело приниматься!

Орудяя топором, Иван Григорьевич, раскопав землю в углу избушки, с кряхтением вытащил оттуда тяжелый ящик. Откинув его крышку, Ларионыч достал из ящика самодельную типографскую кассу со шрифтом, еще две поменьше, банку с краской, плоский камень, резиновый валик на двух рукоятках. Из своей охотничьей сумы он добыл хорошо обернутый пакет с чистой бумагой.

— Ну, теперь сторожитесь, — приказал он. — Место хоть и глухое, а всяко может быть.

— В случае чужой кто — собаки голос дадут, — сказал Иван Григорьевич.

— Теперь о чем печатать будем? — спросил третий охотник.

— О том, что в Москве делается, в Питере и других местах. Эх, жаль, мала наша типография, много не напечатаешь! Обо всем коротенько писать приходится. Шрифта — на один листочек!

— В том сила, что один листочек сотни людей прочитают, — сказал Иван Григорьевич. — Ты, Максим, нет-нет да и на улицу выйди, послушай, а я краску растирать пока буду. Ларионыч, ты насчет наших рыбных закупщиков хоть словечко вставь, ладно?

— В этой листовке не поместится. Успеем — вторую сделаем. Ну, пошла работа!

Ларионыч зажег вторую свечу, и вот защелкали свинцовые литеры по верстатке...

* * *

На всю ночь хватило работы. Временами, когда в избушке становилось холодно — мороз на улице все крепчал, подкидывали полешко-другое на очаг, склоняли головы от дыма. Ларионыч рассказывал и рассказывал многое, о чем и не думали его товарищи —

простые крестьяне-бедняки. Вот почему так жадно слушали они его, питерского слесаря, высланного в Белозерье и работавшего сейчас на одном из лесопильных заводов купца Сукина.

К утру работа была закончена. Отпечатали две листовки — одну для крестьян прибрежных деревень, другую для рабочих лесопилки. Ящик с типографией был опять зарыт в углу, и Максим крепко утоптал землю над ним.

— До следующего раза! — сказал он. — Когда опять сюда соберемся?

— Договоримся! — ответил Ларионыч, тщательно отмывая руки керосином. — Отмойте и вы краску, печатники! Это — большая улика! Понятно? Ну, вам по сотне листовок. На завод я сам возьму. Но только верным, самым верным людям листовочки давайте, тоже понимаете? А над попами нечего шуточки выкидывать, не чеши бороду, Григорьич! Мы без попов в нашем деле обойдемся. И дома листовки так запрячьте, чтобы мышь и та не нашла. Даже при доме их и не храните, а где-нибудь подальше. По одной остороженько выносите. В случае попадетесь — упирайте на то, что, мол, на дороге для курева подобрали. Помните: мы с вами огромное дело делаем по приказу социал-демократической партии большевиков. Мы, как солдаты партии, а наши листовки — пули по врагу!

Опять трещали поленья на очаге, опять пили чай — были простыми охотниками, что случайно собрались в избушке. И чуть только побледнело небо, первым ушел Ларионыч. Немного погода и лыжи Максима зашаркали по хрусткому снегу.

Последним вышел из избушки Иван Григорьевич. Позевывая, он вдевал ноги в лыжные ремни, бормотал:

— Жёнка спросит, пошто мало добыл — всего пять

белок? Ах, скажу, не все полеснику удача — бывает метишь в тетерю, попадешь в сук! На том и разговору конец! А что за пазухой у меня лежит — о том и жене знать не надо! Так-то вот! Хорошо бы все-таки еще пару бельчонок сшибить, да больно морозно — крепко спит белка в гайне своем. Тепло ей! Может на куничку разбегусь — надо бы! Хлеб к концу — рублей десять не помешали бы!

Он подпер дверь избушки колом и ходко, согреваясь, понесся лесом, навстречу все шире и шире разливающимся багровому полымяю зари.

★ ★ ★

А было это в грозные дни 1905 года. Потом Ларионыч попался все-таки в лапы царских жандармов и погиб в тюрьме. Товарищи его — Иван Григорьевич и Максим успели перенести типографию куда-то в лес, запрятать ее до нужного времени. Максим вскоре утонул в Белом озере — бурной осенней ночью опрокинул рыбацкую лодку. А Иван Григорьевич рассказал своим сыновьям о типографии только в конце 1917 года. Но сходить с ними в лес, найти ее он не смог — умирал, отравленный газами на фронте. И по сей день лежит эта типография тысяча девятьсот пятого года где-то в земле, в лесу на берегу речки Водобы, что лениво вливает свои черные воды в Белое озеро...



ОЛЬШИНКА ПРИДОРОЖНАЯ

ЖУРАВЛИ, никак, летят? Ну, так и есть! Один, два, три... семнадцать долгоногих. Перекликаются!

Григорий Петрович закрыл окно и, подвинувшись ближе к столу, взял стакан с чаем.

— Вот, улетают, — с грустью продолжал он. — Нужда заставляет. Где журавлю зимой прокормиться? Ни лягушонка, ни ягодки. Приходится улетать. Но уж весной, как по расписанию, тут будет! Родина позывает! Было б можно — не улетал бы совсем. Не то, что иной человек, особенно молодой: чуть его отец с матерью на ноги поставили — он за порог, да еще куда-нибудь за тридевять земель порхнуть норовит.

Юрка прекрасно понимал, на кого намекал отец, но помалкивал.

— Вот, дядя Коля, — повернулся Григорий Петрович к гостю. — Хочешь расскажу о себе? Да ты стакан не отставляй, ешь в полный аппетит и слушай меня. Может, и у тебя такое было. До военной службы я далеко от дома не бывал, но в областном городе — приходилось, в Ленинград разок к тетке в гости ездил. Конечно, нравилось там, думалось — не плохо бы из деревни в город перебраться. Однако прикину и так,

и этак — не выходит. Отец с матерью стары, братишки молоды. Надо помогать семью поднимать. Стал трактористом. Потом военная служба. Во флоте служил, мотористом на подводной лодке. Только кадровую закончил — война. Тут и начались мои путешествия. Всё рассказывать — толстую книгу написать можно. Сначала в Балтийском море пришлось соленого до слез хватить, потом перекинули на Север. Тоже весело было, особенно зимней порою. Частенько не в плавании, а на берегу, в сопках, с автоматом да гранатами... Ну, говорю, всё описать — большая книга. Да как-то не тосковал я тогда особо. Первое — не я один от родной деревни далеко. Второе — свою обязанность исполняю, тут, значит, не до тоски. Третье — некогда просто о деревне, о семье подумать было. А к той поре, как сам знаешь, у меня и своя уже семья была заведена, свое гнездо, вот здесь же. Как раз я перед войной женился. Вот таким побытом и идет месяц за месяцем. И ничего. Терплю, раз надо. И вдруг, формируют из нас порядочную команду, садимся мы на поезд и поехали. Куда, думаешь? На Дальний Восток! Тоже путешествие немаленькое, особенно в военные годы. Приехали, а нам еще лучше подносят — в Америку плыть, принимать там корабли, что американцы для нас тогда строили. И попали мы в чужую сторонку, к чужому языку. Нет, не скажу, что к нам худо относились. Мы же союзники, мы же своей кровью победу добываем, а нам, за наши денжки, они корабли продают. Ну, ладно, это политика, и я не об ней сейчас разговор веду, об этом после чая потолкуем. Я о другом. Об ольшинке. Ну, которая при любой нашей русской дороге растет. И пыль на нее с дороги летит, и щиплет ее всякая проходящая коза либо корова, и ломают ее все, кому не лень — либо палочка нужна подпереться в пути, либо запросто так. Вот, живем мы в Америке, свое дело делаем. А

попали мы в южную часть страны — там и пальмы, и всякие деревья. А мне, как спать лягу, одно и то же каждую ночь снится — ольшинка придорожная! Ни дом родной, ни река своя, ни лес какой-нибудь, а просто та дорога, по которой на войну уходил, и те ольшинки, что по обочинам дороги стоят, пылятся...

Пока мы там корабли принимали и к своим берегам плыли, пока с самураями разбирались, мне опять скучать некогда было. И вдруг — победа! Конец войне. Ждем увольнения. Это, как в песне старой солдатской пелось: «Вдруг приходит к нам приказ, году нашему в запас...»

— Году нашему домой, по дорожке столбовой, — закончил дядя Коля басом.

— Вот-вот, оно самое! Пришел этот приказ. Мы опять по вагонам — и в путь. Ехали, ехали — приехали!.. На пристани жена меня встречает. Выбрались из поселка — и вот она та дорога, что мне в Америке снилась... Ольшинки стоят, по листочкам ветерок бежит, качает их... Соскочил я с телеги, перепрыгнул канаву, обнял одну, кричу: «Здравствуй, землячка родимая!» А сам плачу, понимаешь...

— Я тогда удивилась, — вмешалась Татьяна Владимировна, улыбаясь. — Что такое, думаю, с Гришей? Не пьяный, кажется, и вдруг — ольшинку обнимает... А у самого слезы... Это мужчина-то, матрос!

Все замолкли, словно что-то припоминая. Юрка топорливо допил стакан и встал из-за стола. Ну что отец про ольшинку рассказывает? После таких передрыг и она самым милым деревом покажется, ясно... А что особенного хочет сделать Юрий? Ничего, просто договорился с друзьями уйти на работу в областной город, на завод и все. Далеко ли он уедет? Всего-то за две сотни километров. Своя же область. Вот только-бы с Валентиной ему договориться...

А Валентина словно ждала, что Юрию надо всерьез поговорить с нею. Встретилась в проулке. В ватной фуфаечке, осыпанной мякиной и колосками; пшеничные колосья и в платке, и в волосах Валентины, таких же светлых, как эти колосья.

— Значит, надумал уезжать? — напрямик спросила она Юрия.

— Да, еду! Хватит мне здесь сидеть.

— Ты не без дела сидел. Тракторист.

— Ну и что из этого? Я и нигде без дела не просижу. Как приеду, так сразу отдельную комнату буду просить. В общем... знаешь что, Валя... Давай распишемся на этих днях. Ведь все равно все знают. Только и ждут, когда мы свадьбу сыграем. А после свадьбы я и поеду... Документ будет, что жена есть... Комнату дадут, и ты приедешь...

— А если тебе три года комнаты не дадут? Тогда как? Мне тут немужней женой жить?

— Ну, частную квартиру найдем. Находят же другие!

— Вот что, Юрочка, давай на прямогу. Насчет свадьбы — это одна песня, а вот как нам жить потом — другая. На свадьбе — попили, поплясали, да и всё? А мы с тобой хотим жизнь вместе прожить. Ты так просто рассуждаешь, словно в дурачки приглашаешь сыграть. Понимаешь ты это или нет?

— Валя!

— Валя была — Валеи и останусь! Твое твердое слово — и мое твердое: не поеду! Понял? У тебя здесь отец и мать остаются, а у меня одна мать, да и та больная. А еще двух сестренек доучивать надо. Куда они без меня?

— Мы им деньги посылать будем.

— Маме не деньги нужны, а я. Мое слово каменное, ты меня знаешь. По чужим местам, по баракам

мотаться, когда и дома дела невпроворот, — нет, этого от меня не жди. Ищи какую попроще!

— Мое слово тоже каменное: еду завтра и всё тут! Как устроюсь — напишу письмо.

— Я и читать его не буду! Если что еще надумаешь, вечером скажешь.

И шмыгнула в калитку своего дома.

* * *

Юрий вернулся домой уже после полуночи. По тому, что он не полез в печь за ужином, что обычно оставался ему там, а торопливо разделся и улегся на кровать, Григорий Петрович понял, что парень чем-то расстроен. Но расспрашивать о причинах этого не стал, спросил о другом:

— Значит, завтра едешь?

— Еду, папа, — ответил Юрий.

И хоть ответ был весьма кратким, но Григорий Петрович уловил в нем то, что сразу успокоило его. Никуда не денется Юрий, никуда. Ну, может, чтобы показать, что он на слове твердый, до города доберется, но... вернется.

Сонно постукивали часы. Прошел грузовик, осветил на миг зеленоватым неживым светом своих фар стены комнаты, на тяжелую поступь машины нежным звоном отозвались стаканы в шкафу.

А Юрий не спал. Он думал о своей ольшинке...



ГОРДОСТЬ



О праздничному положению шофер Василий Иванович отдыхал. Если бы погода была получше, весь день он провел бы на реке, с удочками. Но по окнам хлестал надоедливый, как комариное нытье, осенний дождь, березы под порывами ветра всё более и более обнажались от пожелтевшей листвы, суматошливо взмахивали мокрыми ветвями. Оставалось одно — сидеть дома.

Особых домашних дел не было, а то, что попросила сделать жена, уходя на дежурство в больницу, было сделано. Вчерашние газеты были прочитаны, удочки обревизованы и теперь хоть спать ложись.

Спасибо деду-соседу Корнилу Петровичу — пришел посидеть, побалакать, а главное поиграть в шашки, до чего дед был великий любителем. Играли и в простую, и в поддавки, и в уголки и даже в совсем детскую — «волк и четыре овцы». Но к игре оба, особенно дед, относились серьезно, иногда даже спорили.

— Скажи на милость! — удивился шофер, глянув в окно, — Семен Игнатьич идет ко мне! Небывалый гость!

— Кто, кто? — переспросил дед.

— Заместитель моего начальника, Рогов Семен Игнатьич. Уж не думают ли куда по такой погоде машину гнать?

Он встал навстречу гостю:

— Ну, привечай, водитель! — говорил Рогов, отряхивая дождевые капли со своей шляпы и снимая пальто. — Где тут у тебя вешалка? Отдыхаешь? Хорошее дело! А это кто у тебя? Знакомый? Здравствуй, дед! Сиди, сиди! Шашками занимались? Умно! А вы бы лучше шахматы освоили. Замечательная игра! Я всегда с волнением слежу, когда всесоюзные или международные турниры проходят, болею душой и сердцем. Ничего, ничего, спасибо, сажусь!

Он потряс носовым платком, распространившим запах одеколона, и громко высморкался — глаза его от усилия покраснели.

— Шахматы, шахматы — вот что надо знать! Умная игра! Дипломатическая!

— Давайте, сыграемте! — предложил шофер и достал с верха шкафа коробку с шахматами. — Деда мне не обучить, говорит, что у него мозги от старости заржавели, а с вами я с удовольствием. С дочками своими иной раз сражаюсь.

— Не стоит, не стоит! Я их не особенно знаю да и другими более серьезными делами занят с утра до ночи. Дыхнуть некогда! Как в опере: Семен Игнатьевич — туда, Семен Игнатьевич — сюда! Ну, как живешь, водитель?

— Живу неплохо. Свое дело делаю — чего же еще?

— Ну, а как здоровье и прочее?

— Пока всё в порядке. К погоде иной раз рубец на ране ноет, да это терпимо.

— Так, так. Прекрасно! Прекрасно! — Он прошелся по комнате, рассмотрел рамки с фотографиями на стенах, стопочку книг на этажерке, заметил в стеклянной коробочке на комодe три ордена Славы, Красную Звезду и несколько медалей;

— Боевые награды? Полный кавалер ордена Славы? Скажите, а я и не знал! Почему же хотя бы орденские планки не надеваешь или ордена иной раз?

— Планки носить — в масле, в горячем испачкаю. А ордена по большим праздникам ношу, как же иначе!

— Да, да! Вот как оно! А я к тебе в гости, водитель! Надо же знать жизнь своих подчиненных! Это — наша обязанность. Все-таки ты у нас уже давненько работаешь!

— Шестой год пошел!

— Вот, вот! И ни одной аварии! Молодец, молодец! С тобой спокойно ездить. А семья где у тебя? Велика ли?

— Жена — на дежурстве, в больнице. Санитаркой работает. А дочки, две их у меня, у подруг, наверно, или гуляют. Ребятишек погода не держит.

— Так, так! Вот, в гости к тебе! Навестить! Встал утром — чайку покушал, ну, рюмочку портвейна для праздничка да то-сё. Дай, думаю, навещу нашего водителя. На ум пало — твой домик из моего окна видно. Собрался и пошел! Надо это с нашей стороны!

— Что навестили — спасибо. Я сейчас самоварчик налажу, яичек сварю. Лещ есть жареный. Не своего лова, на реке редко бываю. Это дед удить свободен. Он и принес леща к празднику, — говорил Василий Иванович, вытряхивая золу из самовара над ушатом у умывальника.

— О еде не беспокойся! Ты лучше грибков соленьких со сметанкой... Есть? Прекрасно! Ну, чайку выпьем, поговорим. А выпить — это с моей стороны!

Он подошел к своему пальто и из его внутреннего кармана достал бутылку «особой», обтер ее носовым платком и торжественно поставил на стол, сдвинув шашечную доску. Несколько шашек упало на пол. Дед,

кряхтя, стал подбирать их, а Семен Игнатьевич, погуливая по комнате, рассказывал:

— Всем праздник, а я дома сижу и всегда голова забот полна. И о том подумать надо и о другом! Хорошо вам шоферам — задание выполнил и домой, на печку! А тут за свое хозяйство в районном масштабе отвечать надо. Чуть что — в область, спрос с меня! Почему? Наш директор — хитрюга, умеет всё на меня свалить. А я — простота, тяну и тяну! Не боюсь забот! Сам понимаю что и к чему. Можно бы в другой район перейти, приглашают, но я человек скромный, зачем мне большие посты? Да брось ты, водитель, с самоваром возиться! Ага! Грибки несешь? Чудесно! Теперь ржаного хлебца тонкими ломтиками и рюмки на стол! Вот так! Ну, садись, садись, я угощаю!

Не ожидая хозяина, он одним глотком опорожнил рюмку и, стоя, начал закусывать рыжиками. Покраснев и отдышавшись, он сказал:

— А ты что же, водитель, рюмки не берешь? Я угощаю, учти!

— Не пью, Семен Игнатьевич.

— Дудки, брат! Непьющих водителей не бывает. Не видал! Должность у них такая!

— Вы же меня пьяным не видели?

— М-да! Действительно, ты всегда в ажуре. Умешь держать себя, ничего не заметно.

— Да и замечать нечего. Не пью вот уже несколько лет. Разве уж в самый большой праздник рюмку виноградного. Не больше!

— Рассказывай! Знаю я вас, шоферов. Ну, пей! Мне одному скучно. Учти — я пришел к тебе в гости! Начальник! Ты должен со мной выпить!

— Хоть приказ напишете — не буду. Не пью! И не люблю, и здоровье не позволяет, и работа моя трезвости требует. Вон, с дедом выпейте!

— Дед — особая статья. Он не мой шофер! Ну, раз отказываешься, ломаешься — поднимай, старик, рюмку!

В комнату вбежала Галька — кареглазая девчонка с такими румяными от природы, дождя и ветра щеками, что, казалось, снегирь прилетел.

— Здравствуйте, дедушка, здравствуйте, дядя! Папка, Таня Кускова не приходила без меня? Нет? Какая жалость! Папка, я опять убегу к Римке, мы будем с ней к школьному вечеру готовиться. А ты, если Таня придет, скажи, что я у Римы. Ладно? Скажешь, папка? Уф, как накурено у вас! — подражая матери, замахала она руками, разгоняя дым.

— Твоя? — спросил Семен Игнатьевич, отирая вспотевшую лысину платком. — В который класс ходит? Как зовут?

— Галя, Галина!

— А ну, подойди поближе, Галя-Галина! Ну, Галя, скажи, как учишься? Какие отметки получаешь? Есть ли двойки, по каким предметам?

Он притянул девочку к себе, положил руку на ее плечо.

— Не торопись — успеешь убежать, веди себя как следует, когда со старшим говоришь. Ты знаешь, кто я? Нет? Г-м! Меня все в районе знают! Как же это так, Василий Иваныч?

— Немножко знаю! — ответила Галя. — Вы там же работаете, где и папа.

— То-то же! Своих начальников надо знать!

— Вы не мой начальник! У нас — учителя...

— Не твой, так твоего папы! Ну, как с отметками? А поведение какое? Ты построже с детьми, Василий Иваныч! Мы за них в ответе!

Галя, выскользнув из-под руки Семена Игнатьевича, пошла к двери.

— Галя! Иди сюда! Невежливо, когда с тобой старшие говорят, уходить от них!

— Да вы плечо сильно жмете!

— Пустяки! Ты говори — двойки имеешь?

— Нет. Тройки есть.

— Не допускай! Слушай, чему учу! Не допускай! Учись только на пятерки! Вот тебе живой пример — я образование имею, техникум окончил, а твой папа образования не имеет. И поэтому — я начальник, а он простой шофер! И куда я прикажу, туда он и поедет! Что ж? Ты тоже хочешь шофером быть? Грязная, грубая, тяжелая работа! А будешь учиться на пятерки — кончишь высшее учебное, начальством будешь! Тебе шоферы подчиняться будут и другие. Понятно?

— А я хочу шофером быть! Или еще лучше — на шагающем экскаваторе работать! Он к-а-ак подденет земли — сразу сорок кубометров, сразу яма, как повернется, а потом шаг-шаг и передвинулся! Вот интересная машина! Я в кино видела!

— П-фу! Экскаваторщик! Нет, слушай меня! Видишь — я начальник, а папа твой простой шофер...

— Галя, иди гулять, — спокойно сказал Василий Иванович и, когда девочка убежала, снял с гвоздя пальто и шляпу Семена Игнатьевича и поднес их ему.

— Что такое? — удивился тот, вставая.

— Попрошу одеться и из моего дома выйти!

— Что это значит? Выгоняешь?

— Пока — прошу! Водочку свою с собой заберите! Впредь ко мне можете заходить, но глупому ребят не учите. Я своей профессией горжусь, уважаю ее. Вашей должности — не завидую. Я вам — не ровня. Я — шофер! Возьмите, возьмите бутылку. Вот-вот, в этот карман.

— Ты понимаешь, что говоришь? Начальнику? Своему?

— Очень понимаю! Я — трезвый! А у иных пьяных язык то выбалтывает, что они в другое время при себе таят. Теперь мне ваши мысли понятны. Так вот... Застегнулись? Ничего не оставили? Дверь — вот!

— Ты... ты... шофер! Своему начальнику! Завтра разберемся!

— С удовольствием! Так и нужно! А детей я портить глупыми поученьями никому не позволю! У меня своя гордость есть!

Глуховатый дед, не понимая в чем дело, улыбался чему-то. Шофер, прибрав стол, раскрыл на нем шашечную доску, расставил шашки:

— Ну, дедушка, две шашки тебе вперед даю и два капкана тебе устрою или попросту — запрю парочку твоих...

— Не хвались, не хвались, парень! — Как бы самому в нужном месте не насидеться, я еще играть могу. А чего гражданин-то в шляпе ушел, не допил?

— Так надо! Ну, твой ход!



«ЗАЯЦ»

КТО-нибудь из мужчин нашего поселка иногда, ухмыляясь, говорил другому: — Заяц пришел! У Кирши кочевать будет!

— Но? У Кирши? Надо будет сходить к нему, послушать Зайцеву науку!

Вечером у того хозяина, который пригласил Зайца на ночлег, собирались слушатели. И только мужчины. Женщины не любили Зайца. Нет, не потому, что он рассказывал что-нибудь озорное, совсем не потому. Заяц в разговоре с кем бы то ни было даже крепких словечек не употреблял. А не любили женщины Зайцевы рассказы за то, что знал Заяц женскую натуру до тонкости, знал все женские хитрости и лукавства и выводил все это на чистую воду, используя для этого богатый опыт домашней войны со своей Апросиньей.

— Сорок с лишним лет я с ней прожил, — повествовал он, — научился кое-чему. Слушайте меня, старого Зайца, учите — пригодится! С женой надо жить умеючи, худым словом ее не оскорблять, лишней работы не наваливать, уважать женщину надо, но с толком. Чуть побольше уважишь, слабину дашь — сядет на тебя жена верхом, будет погонять да покрикивать. Они, женщины, командовать любят, даже до болезни. А поучать — их только на это и взять. Вот, на днях изгородь я починая. Апросинья мне колышки подносит.

Я пару колышков в землю вобью и проволокой их перевязываю. Апросинья — будто всегда изгороди делала, сразу же меня попрекает: «Не так вязать надо, не так полагается!» «Да ты видела ли, как проволокой вязать надо?» «Нет не видела!» «Так почему же ты не в свое дело суешься, Апросинья Карповна?» «Как не соваться, если ты не так делаешь!» Вот тут и пойми — умная она или, как бы сказать, винтиков не хватает? Да, ведь, не одна моя Апросинья поучать любит — каждая женщина себя умней всех считает!

И начнет приводить пример за примером. Мужчины хохочут, а женщины не вытерпят, в спор с Зайцем ввяжутся, но переспорить его не могут. Плунут и уходят к соседке, будто по делу.

А Заяц, подмигивая вслед ушедшим, вздыхает:

— Не любят женщины правды, если она про них говорится! Не любят!

— Спорить с женщинами можно — ругаться нельзя, — продолжает Заяц. — Когда меня Апросинья сильно огорчит, ухажу я хоть зимой, хоть летом на берег нашей речки, за деревню, там у меня заветный березовый пенёк есть. Сажусь я на этот пенёк, подпираюсь правой ручкой и пою жалобным голосом девичьи частушки — тридцать штук на три ряда...

— Это, значит, девяносто частушек? — догадывается кто-либо.

— Вот, вот! Спою эту порцию, успокаиваюсь и домой иду. И Апросинья к тому времени поостынет, такая ласковая станет, мне первому чай наливает, сахарницу поближе подвинет: «Кушай, Заяц!».

Рассказы Зайца многочисленны и разнообразны. Покончив с поучениями о правилах жизни с женами, Заяц любит поговорить о многом. Но и послушать он любит.

За что его прозвали Зайцем? Никто этого не знал

да и он сам тоже. Рослый, но по-старчески сутулый, с подвижным, всегда гладко выбритым безусым лицом, серыми лукавыми глазками — на зайца он не был похож. Разве только уши, оттопырившиеся от головы, придавали ему отдаленное сходство с трусливым безобидным зверьком. Но характер у Зайца был не заячий.

Еще до русско-японской войны отслужил он свой срок во флоте, а во время войны был снова призван, был кочегаром на одном из кораблей во время Цусимского боя. Корабль этот погиб — только несколько матросов (среди них и Заяц) были подобраны японцами из волн.

Что было с Зайцем после возвращения его из японского плена, он мало кому рассказывал, но известно одно — работал и на шахтах в Донбассе, и в Сибири на приисках. Уже немолодым вернулся он в свою деревню, женился и зажил обычной крестьянской жизнью. Потом вступил в колхоз. Был и бригадиром, и председателем, и конюхом, но, состарившись, стал работать сторожем в лесопункте.

Зяец был непоседлив. Хотя разбитые ревматизмом ноги его двигались с трудом, но он ухитрялся и в лесопункте свои обязанности выполнить, и в правлении своего колхоза побывать. Одним словом, где люди — там и Заяц.

Кличкой своей он даже гордился и до того к ней привык, что, знакомясь с кем-либо, не называл своей фамилии, а коротко бросал:

— Заяц! — и протягивал руку.

Любую работу, за какую он брался в меру своих стариковских сил, делал хорошо, чисто, похваливаясь при этом:

— Заяц матросом был! А матрос обязан уметь всё делать!

Под старость он полюбил читать книги. Началось с того, что писатель Новиков-Прибой, собирая материалы для своей «Цусимы», отыскал и Зайца, обратился к нему с письмом, напоминая о себе и прося рассказать свои впечатления о Цусимском бое.

— Четыре тетрадки я исписал, — рассказывал Заяц. — Ох, и досталось мне. Словно в кочегарке двойную вахту отстоял. Алексей Силыч меня похвалил. А Заяц плохо работать не любит! Книгу мне прислал Алексей Силыч, «Цусиму». Истинная правда в ней написана! Прочитал я книгу и даже, признаюсь, поплакал. Стар стал! И после того, сколько раз мне Японское море снилось и как я в нем плаваю, за доску держусь и с жизнью прощаюсь. А нет, добрался старый Заяц до своих болот — живет! И ушами поводит! Кабы не Апросинья — совсем бы моя жизнь хорошей была, — опять сбивался он на шутку и продолжал: — Вот с этой книги я и другие читать начал. Только такие люблю, в которых война или путешествия. А если в книге есть про любовь — не надо. Мне любовь и с Апросиньей надоела. Зато газеты читать люблю — в них ничего про любовь нет.

В первые дни Великой Отечественной войны Заяц на попутной автомашине добрался до районного военного комиссариата.

— Нельзя ли мне опять на службу. Заяц кочегарное дело не забыл! — заявил он военкому.

Тот, знавший Зайца, только головой покачал:

— Что ты, товарищ Никитин! Ведь тебе под семьдесят!

— Как же так? У Зайца о годах спрашивать не надо! Должен я чем-нибудь народу полезен быть. Ну, молодых кочегаров учить, что ли!

— Поздно, товарищ Никитин! Теперь боевые суда на угле не ходят. Совсем другая техника.

— Это так! Я с нынешними матросами не раз беседовал — верно, не та техника. Выходит, Заяц только и пригоден с Апросиньей воевать?

— Запишись, товарищ Никитин, в отряд местной самообороны, — посоветовал военком. — Ваша деревня на большой дороге, будешь со вниманием ко всем прохожим и проезжим относиться. Удостоверение тебе дадим — на право проверки документов у подозрительных лиц.

— А оружие мне дадут? — заинтересовался Заяц.

— Насчет оружия у нас сейчас туго. Боевое — фронту нужно. Да у тебя, наверное, охотничье ружьишко есть? Чем не оружие!

— Есть. Шомполка-листочка. Как-то попробовал я выстрелить из нее — неделю с опухшей скулой ходил. Крепко бьет!

— Ну, вот и оружие, чего тебе больше? Сходи в райисполком, к Медведеву, поговори с ним, а я твою просьбу поддержу. Пусть мне по телефону он позвонит.

— Ну, спасибо, товарищ военком, — поднялся Заяц. — Ужо, будешь в наших местах, заходи ко мне чай пить. Ты у меня еще не бывал да и в деревне нашей тоже тебе быть не случилось. А найти мой дом просто — гляди по пожарным досочкам, что на избяной угол прибивают. Так у меня на досочке не фамилия написана и не багор нарисован, с ним я на пожар являться должен, а зайчик с багорком в лапках. Летом досочка зеленая, а зайчик на ней серый, а с первого октября я досочку перевертываю на другую сторону — там зайчик белый нарисован. Линяет он к зиме.

Дав военкому такой точный адрес, дед заковылял в райисполком.

Пришла первая военная осень. Казалось, что она совсем не такая, как в мирное время — более угрюмая.

мрачная, и тучи ниже плывут над притихшей землей. и вечерние зори багряны, словно их кровью напоили. Облетели листья с берез и осин, и в тихие зори тяжелый гул доносился с северо-запада, от Онежского озера. Фронт медленно приближался и к нашим местам.

Днем и ночью скрипели подводы беженцев, днем и ночью шли автоколонны с войсками к фронту и с ранеными — с фронта. В районном центре дорогу перехватывала воинская застава — иначе было нельзя.

И вот, однажды тусклым осенним днем мимо заставы промчалась грузовая машина, оттуда, с запада. В ней находилось человек двадцать солдат, по виду — наших, советских. Были ли они, действительно, пьяными или притворялись, но шофер не остановил машину, а обстрелять ее почти не пришлось — она ловко свернула за здание мельницы, потом за сосны вдоль большой дороги и исчезла из вида.

Что это за машина, кто в ней был: свои, действительно какие-то ошалевшие от водки и глуного ухарства солдаты или же... те, кто топтал теперь нашу землю? Не проскочили ли они, замаскировавшись под советских солдат?

Пока на дежурную автомашину собирались бойцы заставы и выезжали в погоню, прошли добрые полчаса. И начальник заставы поступил так, как считал необходимым — он позвонил в сельсоветы и заставы по дороге, прося задержать подозрительную машину.

Заяц в это время сидел в помещении своего сельсовета у телефона, нес дежурство, как член отряда самообороны. А кроме него никого в сельсовете не было, если не считать школьницы — дочки уборщицы. Все в колхозе были на молотье, в поле.

— Есть! Машина будет задержана! — кричал Заяц в трубку. — Кто говорит? Заяц, кому же больше! Какой Заяц? Старый! Никитин!

И, с треском бросив трубку на рычаг, заковылял к двери.

— Шурка! — позвал он школьницу. — Беги скорей на улицу, зови ребятишек сюда! Все равно — девчонок и мальчишек! Скорей, скажи Заяц зовет! Пусть к моему дому бегут да побыстрей! Скажи — военное дело!

Прежде чем Заяц дошел до своего дома, его уже окружила стайка ребят.

— Дяденька Заяц, а чего нам делать?

— Вот сейчас топор возьму и лопату и пойдёмте побыстрее за деревню!

А за деревней Заяц мигом скидал с мостика через довольно глубокий ручей, что перерезал дорогу, слой земли, поддел топором мостовину и, крихтя от натуги, с помощью ребятишек, вывернул ее со своего належающего места.

— Тащите, ребятушки, это бревно подальше в кусты. Подальше, подальше, чтобы с дороги его не было видно! А я сейчас и второе выдерну!

Ребята, как муравьи, облепили бревно, с криком и уханьем поволокли его в кусты.

Через несколько минут от мостика остались только переводы. А по ним машине не пройти. Этого и добивался Заяц.

Пройдясь по кустам и убедившись, что мостовины спрятаны хорошо — ребята закидали их травой, мхом, мусором, Заяц в окружении своих помощников уселся на сухом пригорочке и стал ожидать.

И вот та самая машина показалась на дороге. Люди на ней не пели, не кричали, не притворялись пьяными. Шофер резко затормозил у разрушенного мостика. Выскочив из кабины, он бросился вправо, потом влево от дороги в поисках объезда. Его не было — ручеек бежал в топких болотистых берегах.

Седоки машины посыпались из кузова на землю.

Зайцу со своего пригорка было видно, как они размахивают руками, топчутся на болотистом берегу, пробуют — выдержит ли он автомашину. Автоматы торчали за спинами приезжих.

— Тише, тише, ребятки, — шёпотом уговаривал Заяц свою команду. — Ложитесь на землю да из-за пригорка и поглядывайте, что будет. Сейчас и наши машины подбегут, может стрельба начаться, вас бы не задело!

Ребятишки, выполняя приказ Зайца, тоже шёпотом спрашивали:

— Дяденька Заяц, а ты чего не ложишься? И в тебя пуля попасть может.

— Нет, ребятушки, старый Заяц ни дрови, ни пули, ни петелек, ни лисицы не боится! Да и нельзя мне на сырой земле пластом лежать, у меня ревматизм.

Рыча мотором, из-за леса вынеслась автомашина заставы. Как на ученьи, бойцы оказались мигом на земле, на земле оказался и пулемет, и пулеметчики залегли за ним, щелкнули затвором, вправили ленту.

Те, с автоматами, сначала было сдернули их с плеч, но, видя, что попались, подняли руки.

Тогда Заяц подошел к нашему лейтенанту.

— Тебе чего, дедушка? — спросил тот недоуменно, остывая после боевого задора.

— Заяц! — отрекомендовался командир ребятишек. — Из отряда самообороны! Звонили сюда, чтобы приняли меры для задержанья, вот их, — кивнул он на сразу поскуцневших пассажиров первой автомашины. — Так я тут с ребятишками мостик расковырял. Машина и остановилась. Нельзя ли помочь нам опять мостик наладить? У меня да и у ребятишек силенки малые, а без мостика нельзя.

— Как же вы мостик развернули, если силенок нет? — улыбнулся лейтенант.

— У нас вроде боя было, задорно, вот и сила была. А теперь мы часа три с мостиком провозимся. Кабы вы человек трех на минуту дали — мигом бы мостик в порядке был.

Лейтенант подумал, подумал, вызвал трех солдат и, действительно, мостик скоро был восстановлен.

Когда потом Зайца спрашивали, кого же он помог задержать, Заяц отвечал:

— Коли пьяниц задержали — хорошо. Не озоруй в такое время! Коли фашистов — еще лучше, не лезь, куда не полагается! А впрочем, не знаю. Зайцу об этом не докладывали!



ЗАГАДКА ДЯДИ НИКОЛАЯ

АВНИШНЯЯ мечта — побывать с удочками на Медвежьем омуте — осуществлялась. Дядя Николай обещал Толе взять его с собой на рыбалку. Согласился он на то, чтобы и Толины дружки — Виктор и Гена, от-

правились на заветное место.

— Только, чтобы на рыбалке без шума и нытья! — оговорил он. — Босиком и в одних рубашках вас не возьму — обуйтесь, оденьтесь, ночью мне спасибо скажете. Хлеба возьмите. А мне червей накопайте. Вот банка. Полную!

Ох, и длинным был день! И черви оказались непанными, и удочки справлены, и сапоги, и пиджаки, и хлеб. А до вечера — ждать и ждать! А больше всего мучила тревога, а вдруг дядя отдумает ехать на Медвежий омут или дела его задержат? Что тогда?

Ребята нетерпеливо поглядывали на медлительное солнце, забегая домой, первым делом смотрели на стрелки часов. Конца не было этому дню!

Как на зло, у дяди на его ветеринарном пункте все время были люди — то коров приводили, то лошадей. А какая-то старушка козу привела и заодно принесла в корзинке кошку. Оказывается, и кошки болеют! Вот диво-то!

И с каждым дядя долго беседовал, иногда спорил, горячился, кричал. Казалось, он совсем и думать забыл о рыбалке.

Поскучав, ребята опять начинали говорить о Медвежьем омуте. Больше всех от дяди знал о нем Толя:

— Глубокий, глубокий! Сорок метров!

— Ну? — дружки не очень верили сорока метрам, но спорить не решались. Не время.

— Вода в нем — черная-черная, тихая-тихая! А ниже и выше омута — река побыстрее и вода светлей. Тут-то самое ужение! Лещи — во! Как заслонки! Окунь по килограмму! Как рванет, — ежели леска в шесть волосков, сразу — т-р-рык! И крючки лопаются!

— У меня леска в восемь волосков.

— А у меня — жилковая! Пуд выдерживает!

— Убавь маленько!

— Вот ни эстолько! Дядя Федя, тракторист, говорит, что ежели веревку из жилки свить, так она трактор удержит!

— А не удержит! Знаешь сколько в тракторе сил? То-то же! Он стальные тросы рвет, вот что! А ты — жилковая веревка!

— Не веришь?

— Не верю!

— Тогда ты мне не друг и не товарищ!

— Подумаешь!

— Да бросьте вы, ребята! Пойдемте в дом, на часы взглянем!

И ссора потухала...

★ ★ ★

Нет, всему бывает конец. Дядя Николай, снимая на ходу белый халат в бурых пятнах иода, крикнул ребятишкам, почтительно трусившим за ним:

— Сейчас чайку полью — и к лодке. У вас-то всё в порядке?

— Всё!

— Черви, сапоги, пиджаки, хлеб?

— Всё, всё!

— Так вот что — возьмите ключ от моей лодки и ждите меня у реки. Воду из лодки отлейте, в порядке ее приведите. Понятно? Весла захватите. Только не балуйте там, на реке.

Бегом, бегом — всё бегом! До самой реки бегом. Только за селом сбавили шаг. Запыхались.

Дядина лодка далеконошко, за Смоляным мысом, у леска.

Покрикивая друг на друга, мигом сделали всё, что приказал дядя. Воду до капельки выкачали, борта мокрой травой обтерли. Будет дядя доволен.

А солнышко все ниже, ниже. Вот-вот леса коснет-ся. А дяди все нет и нет. Что с ним? Неужели опять какую-нибудь корову привели? Вот незадача!

Выбрались на берег. Уселись под елкой. Развесистая, а рядом с ней, словно из одного пня, — сосна и тут же березка. Ствол ровенький, белый. Тронешь его рукой — теплый еще от дневного солнца и береста шелковистая, как кожа человека. У сосны кора, как рыба чешуя. А у елки на ощупь — мягкая, смолистая и тоже тепленькая.

— Не видно, не идет дядя Николай? — спросил Толя.

— Не видно! — уныло ответили дружки.

Посидели. Помолчали. Каждый пожевал травинку. Толя опять о Медвежьем омуте заговорил. Шесть километров до него, если берегом идти. Тропой надо пробираться. Кусты, лес, камни огромные. То ли дело — на лодке!

Но слушали его невнимательно. Скоро, скоро сами

увидят они Медвежий омут! Немногие из других ребят на нем бывали. Но чудеса рассказывали о том, как там рыба клюет. А по берегам малинники, смородинники — ешь до отказа!

От скуки Гена вынул ножичек из кармана. Какой же рыбак без ножа? Постругал палочку, бросил ее. Посмотрел на елку, на ее мягкую кору и догадался. Миглом вырезал на коре буквы «Г. А. С.» — имя свое, отчество и фамилию. Буквы получились хоть и кривоватые, зато белые, белые!

Его дружки ожили. Интересное занятие! У каждого нож. И каждый на елке расписался. Потом вырезали год, месяц и число, когда они здесь были.

— Сто лет простоит! — сказал Гена. — Придем мы сюда стариками, а наши буквы видны!

— Ой, комаров сколько! — шлепнул себя по шее Виктор. — Да кусачие какие, не как у нас в селе!

— У нас они уже наелись, а здесь люди редко бывают, вот комары и голодные, — объяснил Гена и тоже шлепнул себя по шее. — Смотрите-ка: до крови иные добрались. Вот, паразиты!

— Давайте, огонек разложим, комары дыму бояться! — предложил Гена. — Спички у ребят нашлись. Какой же рыбак в ночь пойдет без спичек? Натаскали хворосту, валежнику, надрали бересты с той березки, что рядом с елочкой и сосенкой в обнимку стояла. И закурился костер, а потом как запылывает, затрещит. Ребятам даже отодвинуться пришлось, жарко! А пламя завихрилось в ветвях, затрещало там, зашипело. Посыпались с березы бурые обгоревшие листья.

— Дядя Николай идет! — тревожно сказал Гена. — Затопчем огонь!

Пламя сникло, упало. И сразу стало видно, что наступил уже вечер, тихий, задумчивый. Самая рыбацья погодка.

— Уф! Все дела справил! Теперь мой выходной денек! — сказал дядя, останавливаясь перед ребятами, снимая кепку и вытирая ею пот со лба. — Заждались? Ничего, мы на утренней заре свое возьмем! А это что? Вы наделали?

— Что — мы? — недоумевающе спросил Гена.

— Вот тут — костер под деревьями запалили. Потом — елку изрезали и бересту драли. Ваших рук дело? Да, больше некому!

— Мы! — буркнул Виктор, почуввав неладное.

— Вы? Ну, тогда марш домой! Не возьму я сегодня вас с собою. А почему — подумайте! Догадаетесь — скажете!

— Дядя Николай!

Но дядя большими шагами спускался с берегового откоса к лодке. Вот звякнула лодочная цепь, вот плеснула вода под веслами. Еще немного, и дядина лодка скрылась за речным поворотом.



ЗАБЫТЫЙ ЧЕЛНОК



ОЖДЬ не дождь, туман не туман—что-то серое, влажное сеялось и сеялось с серого неба на притихшую по-осеннему землю. Казалось, это само небо медленно-медленно спускалось на лес. Лапы елей опустились — ненастье надолго. Под ногами шуршала палая желтая листва. А тишина-то какая! Шевельнется мышь в этом палом листе и ее слышишь. И не поймешь — не то день еще, не то вечер подкрадывается издалека.

Я подзапутался в мало известном мне перелеске, закружился должно быть. Давно бы пора выйти на большую дорогу, но вот уже не первый час бреду осинниками, ельниками, небольшими лужками, на которых всегда стоит только один стожок. А перейдешь такую луговинку — опять осинники, ельники.

Хоть бы ветер зашумел, разогнал бы эту серую сырость. А хорошо, что о ветре вспомнил. Как ни тихо, а всегда чуть-чуть тянет откуда-нибудь воздушная струйка будущего ветра. И я окунаю палец в лужицу, поднимаю его. Так, так — справа пальцу холодно, значит, оттуда и ветер. Утром, когда еще не заволочло небо тучами, ветерок дул с запада. И я теперь иду увереннее туда, где по моим расчетам должна быть большая дорога.

Опять осинник. Большинство осинок в один рост, но среди них то там, то здесь встречаются осины-великаны, толстенные, дуплистые. Только на самых их вершинах по несколько толстых суков — остальные давно отсохли, отбиты, отломаны ветрами.

Внизу под осинами — заросли шиповника. Между бурых свернувшихся листьев ярко рдеют ягоды, смешные, с хвостиками, словно крохотные петушки. Пусть осень, дожди, а потом и морозы, снег, но и над снегом долго будут огненно сверкать эти ягоды на радость лесным пичугам, что остаются зимовать в родных лесах.

Я остаиваюсь удивленный. Передо мною — челнок. Самый обыкновенный, выдолбленный из толстого ствола осины, челнок-душегубка. Тройх поднимет, но в этом случае даже громко разговаривать нельзя, сейчас бортом воды черпнешь. Но одному рыбу удить или уток гонять такой челнок верный друг и помощник.

А сделан челнок давненько, года три-четыре назад, а может, и побольше. Щепка под ним почернела, проросла травкой. Да и челнок потемнел. Он по края заполнен прозрачайшей дождевой водой, и желтые листья осины устилают его дно. И поверху плавает еще несколько листиков. Не успели намокнуть, утонуть.

Покачиваю челнок ногою. Вода с легким журчаньем переливается через его борта. Совсем начисто сделан челнок — разведен в ширину, упруги вставлены. Хоть сейчас спускай его на воду.

Значит, где-то должно быть вблизи озеро. Какое? Озер в наших местах много. Но вот, кто делал этот челнок, почему он не вернулся к нему, не вывез его отсюда на озеро? Видимо, заболел строитель челна, заболел да и... всяко бывает. А может, уехал куда-нибудь и второпях о челне забыл. Кто его знает?

Опять бреду лесом. И вдруг где-то неподалеку слышу людские голоса. Как иногда бывает радостно услышать человека, особенно вот в таком лесу и в такую погоду:

— Эй, прохожие! — кричу я.

Они замолкают. Удивлены наверно.

— Э-гей! — окликаю я снова. — Не медведь идет, человек. Покурим!

— Это можно! — отзываются мне.

Двое пожилых. Колхозники. Знакомство завязывается быстро. Советуют мне идти с ними. Они идут знакомой им тропой к Силозеру. Этак до большой дороги километра на три ближе будет. Охотничья тропа, не каждый ее знает.

— Значит, озеро близко? — спрашиваю я. — То-то здесь я челнок нашел в осиннике, вон там. Видно что сделан года три назад да и позабыт. Хороший челнок! Кто бы его мог сделать?

Колхозник постарше, усатый, на время задумывается:

— Кто бы мог его сделать? — повторяет он мой вопрос. — Не знаю. Да вот кто — как это я сразу не смекнул? Дед Ондряк. Помер он в позапрошлом году. Его работы челнок. Больше некому!

— Больше некому, — вторит ему другой колхозник. — Чудной дед был.

— Чем чудной?

— Да как сказать? Особенный какой-то. Старинный. Наверно, в древние времена такие люди бывали. Простодушный. Без хитрости. Не пил, не курил. И труженик! А то чудно — денег не любил.

— Это верно, — подтвердил усатый. — Не любил дед Ондряк денег. И не считал их, когда в руки попадутся. Кинет бабке своей на стол или сыновьям: «Возьмите, коли надо!».

— Считать не умел, что ли?

— Какое! Считать умел. Просто не любил деньги. От них, говорил, вся вражда и вся неправда на свете. А труженик был дед! Бывало, зимой работы особой нет, так возьмет топор и в лес. До вечера там пробудет, придет домой, топор под лавку — доволен. Спросишь, чего делал? Дед отвечает: «Скучно мне без работы, так в лес ходил, елку срубил, пускай медведь об нее чешется!»

— Это верно, — подтвердил его товарищ. — Делывал так Ондряк. А челнок — его работы. Деду по старости в колхозе нарядов на работу не давали. Сам ее всегда и без этого находил, грабли делал, косы отбивал, а осенью овины теплил, хлеб сушил. И не спрашивал, сколько ему трудодней записали, не интересовался этим. Вот и летом тоже, если дела нет — пойдет на какое-нибудь озеро, отыщет осину потолще, свалит ее и челнок выдолбит. Сволокет его на воду и домой. То же спросят: «Для кого, дедушка, челнок делал?» «А для того, кому по озеру ехать занадобится!» Знает, и это его челнок.

Мы бросили окурки на землю и поднялись с валежины, на которой отдыхали. Усатый колхозник, подумав, сказал:

— Ондряков челн, значит, всеобщий. А что, стащить бы нам этот челнок к Силозеру? Тут рядом. Переехали бы озеро — не надо бы по болоту берегом идти! Верно, давайте-ка стащим челнок на воду.

Так мы и сделали. Сумерки сгущались по-настоящему, когда челнок зашуршал тростниками уже на том берегу. Мы вытащили его повыше — может, еще и не раз, не два пригодится добрым людям работа деда Ондряка.

Что-то светлое, мутно-зеленое мелькнуло за еловой чащей. И еще и еще замерцало, дрожа на бурых ство-

лах елей. Издали до нас донесся приглушенный рокот автомашины.

— Поздно уже, грузовик фары включил, — сказал усатый. — Сейчас и большая дорога.

Она и была за елями — широкая, тускло посверкивающая мутной водой в разбитых колеях. Грузовик шел по ней и, увидев слепящий свет его фар, перебежавший по елям, я почувствовал, что это наше сегодня. А дед Ондряк — это уже сказка. Древность.



В ПОИСКАХ ГЕРОЯ

III ВЫРНУВ пустой спичечный коробок на тропинку, Петя вдобавок и наступил на него. Коробок хрустнул, но Петю это не порадовало. Похлопав по всем карманам, убедившись, что спичек, действительно, больше нет, Петя сердито смял и отбросил неприкуренную папиросу.

Да. Вот они, дела! Погодка — не поймешь какая. То нежно заголубеет небо среди рваных облаков и по золоту облетающих лесов рассыплется золото осеннего солнца, то внезапно день нахмурится, потемнеет, и посыплется не то дождь, не то ледяная крупа. И опять солнце. На картинах вот такая дорога куда красивее! Бурая от грязи, лужи блестят, лес пестреет отживающим листом. А попробовал бы художник двадцать километров по такой дороге прошлепать — не такую бы картину нарисовал!

Сердился Петя не только потому, что остался без спичек. Сердился не только на погоду, дорогу и художников. Для плохого настроения у него были другие причины. Как же! Извольте радоваться — дал редактор Пете задание побывать в колхозе «Победа», написать несколько зарисовок о хороших тружениках. Но как быть? Передовые люди района давно всем известны — и пишут о них, и на Доске почета их имена, и

портреты их газета печатает. Нет, мало этого редактору: «Ты, говорит, поищи передовых людей среди рядовых колхозников. Ведь их же у нас множество, только заметить не всегда умеем, не умеем рассказать. Работает человек хорошо — и ладно! Обязательно надо нам, чтобы человек рекорды ставил. А что рекорды? Достояние одиночек. Ищи, ищи, молодой журналист, тех людей, что работают с виду, как и все, но есть в их труде особенное».

Напутствовал! Спасибо! Да как найдешь таких людей? В правленьи колхоза развернут перед тобой список — у кого сколько трудодней выработано. Но это еще не показатель. Иной ухитряется на сене или в сенокос столько выработать, что в герои его произвести можно. А разберешься — остальное время такой передовик лодырничает. Ему, видите ли, в сенокос обязательно поработать надо было, чтобы сенца по процентам для своей коровки добыть. У другого — трудодней ни много, ни мало, но работа уж у него такая, что каждый день приработок имеется.

Или вот тоже передовой опыт описывать, узнавать, как и почему человек хороших результатов в труде добился. Спросишь его, а он плечами пожимает: «Какой там опыт! Вовремя встаю, вовремя всё, что полагается, делаю, вот и всё тут. А проспишь — дела не сделаешь!» Хвастун на грош сделает, на три рубля наговорит, но с настоящими передовыми людьми не то. Дело делают и помалкивают. И слова из него не вытянешь. Редактор сердится: «Как ты не умеешь душевно с человеком побеседовать?».

Задал на сегодня редактор задачу со многими неизвестными! Реши-ка ее!

Газетная работа Пете нравилась, хотя и был он на ней всего второй год. Правда, он представлял ее вначале более легкой — увидел, расспросил, написал и

точка. Оказывается, не всегда бывает так. И чаще всего — не так!

Петя, задумавшись, поскользнулся, попал ногой в глинистую лужу. Ледяная вода ожгла ногу, залив ботинок.

— Тьфу! Этого еще не хватало!

Он уныло осмотрелся. Ага! За изгородью — полянка, на ней костер дымится, коровы пасутся. Вот у огонька можно просушить носки, обувь, отдохнуть и покурить.

Но пастуха у огня не было. Только на куче хвоя лежали берестяный пестерь с хлебом и пастуший барабан — сухая еловая дощечка на веревочке, чтобы подвешивать барабан на грудь.

— Странно! — усмехнулся Петя. — В наших местах пастухи с рожками пасут, а тут с деревянными барабанами. Зачем? Что за обычай?

Развесив на палочках носки и обувь, Петя протянул покрасневшие ноги к огню и закурил. Опять с неба посыпалась ледяная крупа, зашуршала по опавшим листьям, но Петя чувствовал себя уютно у огонька, под старой березой на краю ручейка.

Показался и пастух — молодой еще колхозник с черной бородкой. Он несколько не удивился тому, что у огня сидит незнакомый человек в городском пальто, с портфелем, сушит обувь и морщится от дыма костра и папиросы.

Поздоровались. Пастух сбросил с плеча пук ивовых прутьев, закуривая, спросил:

— Далеко ли направились?

— По делишкам, в ваш колхоз, — ответил Петя. — К учителю Васильеву надо зайти.

— Так. Знакомы, значит?

Петя не любил сразу говорить о том, что работает в редакции. По опыту он знал — иные, узнав об

этом, помалкивали, другие же сразу настраивались на обличительный тон, начинали рассказывать о различных непорядках, намекая, что неплохо бы об этом написать в газету. Но пастух не стал допытываться, где и кем работает его собеседник. Он достал карманные часы и сказал:

— Через сорок минут надо коров домой гнать. Пора!

— По часам работаете?

— Иначе нельзя, ежели правильно дело вести. Коровы, хоть и животные, а свой срок понимают. Позже пригонишь — удой не тот, и раньше пригонишь — тоже не то, что требуется.

— Колхоз вам часы выдал?

— Свои. Наградные еще. С военной службы.

— А прутья вам на что?

— Путья? Вицы это. Изгороди горожу вокруг колхозных стогов, чтобы коровы их не трепали. И сено сберегается, и самому спокойнее — не надо коров от стогов отгонять.

— Дополнительно на этом зарабатываете? Трудодни начисляют?

— Нет. Не требую. Это я между делом. Пока коровы на одной полянке пасутся, я на другой стога огораживаю.

— Что ж бригадиры об этом не заботятся?

— У них и без того забот много. Стогов-то сотни, а городильщиков-стариков не так много. Ну, я промеж дела и огораживаю стога на лесных полянках, где скот сейчас пасу.

— Настоящего пастбища, благоустроенного разве у вас нет?

— Есть и пастбища. Хорошие. Да им под осень и отдохнуть требуется. А сейчас скот на лесных покосах, на отаве лучше наедается.

На дороге остановилась телега, нагруженная железными бочками. Старик-возчик, замотав вожжи за передок телеги, тяжело перелез через изгородь, подошел к костру:

— Здорово, зимогоры! — Он пожал руки пастуха и Пети, присел на корточки, набивая трубку: — Вижу — компания сидит, дай, думаю, перекурю с народом, а то в ночь одному ехать скучно!

— За смазочным отправился? — спросил пастух.

— Угу! — дед пыхнул трубкой, затянулся. — За ним! Не доставь завтра — машинам остановка. Схватились, когда с доньшка скрести начали!

— Зачем же вы в ночь отправляетесь? — осведомился Петя, натягивая на ноги просохшие носки.

— А затем, молодой человек, не знаю, как вас называть, — разъяснил старик, — что, если утром в район на базу выедут, то только к вечеру по такой дороге доберусь. Значит, надо там ночевать. Когда же я в колхоз смазку привезу? Ночью? Нет, не выходит! Я вот ночь проеду, а утром и на базе. Получу, что мне требуется, и домой. За два дня обернусь, и машины не простоят. Ну, поехал!

И не попрощавшись, полез через изгородь.

Пастух перекинул пестерь за плечо:

— И мне пора стадо собирать. Заходи, товарищ, ко мне, ежели Васильева дома не окажется. У меня и переночуешь.

— Спасибо! А вот что я хотел спросить: почему в Белозерье пастухи не с рожком пасут, а с барабаном?

— Как почему? Зверя у нас всякого много — медведей, волков... Они рожка не боятся. А от барабанного стука разбегаются. Вот почему.

— Ну, уж и разбегаются!

— А не испугаются — у меня двуствольное ружье есть.

— Случалось убивать какого зверя?

— Волков не приходилось еще. А медведя в прошлом году стукнул. В стадо бросился, да не успел напасть. Небольшой медведишко — на семь пудов. И скажи — такой молодой, а уже на скотину бросаться вздумал!

Засмеявшись, пастух продолжал:

— Вот старик к нам сейчас приходил — Василий Петрович. Тот зверя побил на своем веку. И теперь, когда в дорогу, — ружье с собой берет. Только за эти годы ни разу из него не выпалил, говорит, — бояться его звери. Любитель старик ездить! Так ему в колхозе эта должность и определена. Как что по хозяйству в районе требуется — деду ехать. Особенно в МТС. За запасными частями. Дед, кажется, их все знает, ненужные не возьмет. Если хлеб или лен сдавать или за чем другим, — опять дед старшим едет. У нас так его в шутку и зовут — директор транспортной конторы. Боевой старик! Ну, я пошел!

Барабил он мастерски — деревянные палочки словно сами выбивали веселую дробь. И коровы одна за другой поплелись за пастухом. А он шел без криков, не оглядываясь, и только барабан выговаривал:

— Рат-та-та! Рат-та-та! Рат-та-та-та-та-та!

• • •

Пересмотрев записи в своем блокноте, Петя убедился, что материала у него маловато. Правда, есть о чем написать — и об уборке, и о подготовке к зимнему содержанию скота. Есть материалы о доярках колхоза, о свинарке. Но и о доярках, и о свинарке уже писалось. Хотя у него новые данные, но... не очень яркие. Придется обойтись и этим.

— Ну, как понравилось в том колхозе, куда вас

посылали? — спросила Петю машинистка Танечка. — Вы там, кажется, еще в первый раз были?

— Да, впервые. Ничего особенного — средний колхоз, — небрежно ответил Петя. — Но дорога туда — ниже среднего. Устал я, грязи дорожной истоптал сотни пудов! Даже в лужу угодил. Пришлось у пастушеского костра греться.

И подсев поближе к машинистке, с увлечением стал рассказывать о своем походе в колхоз. Рассказал о пастухе, о деде — транспортном директоре и о многом другом. Но разговору помешал секретарь редакции:

— Вы — молодежь! Об этом потом! Петя — материал с тебя! Сам знаешь, запланировано двести строк. Готов?

— Иван Михайлович, право не знаю, как быть. Придется о Каверзневой и Потаповой написать, о свинарке Михеевой...

— Было же об этом! Нового материала разве не получил?

— Бился, бился — никак! А об этих доярках и свинарках у меня новенькие данные есть.

— Пиши тогда. Время уходит.

Под вечер Петю вызвал к себе редактор:

— Что ж ты, молодой журналист, старым материалом пользуешься? Наше плановое задание не выполнил?

Петя начал было объясняться. Но редактор, походив по кабинету и рассеянно послушав своего собеседника, вдруг сказал:

— Плохо я тебя проинструктировал! Виноват! А вот слышал я твой разговор с Танечкой — дверь в кабинете открыта была, — слышал и радовался, какой прекрасный материал у Пети имеется! Хорошие очерки будут! Почему ты об этом не написал?

— О чем?

— О пастухе, о старике-возчике. Замечательные люди! Честные колхозники, любят свое дело, живут колхозными радостями и бедами. И таких людей в каждом колхозе полно. Только надо уметь их заметить! Ты, кажется, проглядел их. Ну, я подсказываю — напиши о них!

— Да я даже не знаю, как их зовут!

— Для газетчика — непростительно! Что ж, Петр Николаевич! Ноги у тебя молодые. Завтра отдохни, а послезавтра прогуляйся-ка опять в этот колхоз. Понятно зачем? Ничего, это полезно для дела!

И редактор протянул к себе папку с заметками, давая знать, что разговор окончен.



РЫБАЦКАЯ ВАХТА



ДВОЙКА — так называют на Белом озере двухмачтовый траловый бот, накренилась правым бортом. Волна с шумом ударила в левую скулу суденышка, обожгла наши лица ледяными брызгами. Мы не обращали на это внимания — надо поскорее запустить трал и лишь тогда можно отдохнуть до его подъёма часика два-три.

— Готово! — прокричал нам Никита Иванович. — Паруса подберите и можете греться.

Перед тем как спуститься в каютку, я долго всматривался в сизую мглу осенней ночи, стараясь увидеть далекий берег. Но ничего не увидел — ночь гасила последние отблески сумерек, небо и вода слились воедино, и только заметны были белые гребни волн, беснующихся вокруг двойки.

А в каютке было жарко — в чугунной печурке гудело веселое пламя, крепко пахло рыбой, смолой, сырой клеенкой дождевиков — всем тем, чем пахнут все рыболовецкие суда в мире. Фонарь тускло освещал крохотный столик с кружками и ломтями хлеба, полочку в углу, на ней стопку газет, какие-то замасленные тетради. И всё это покачивалось, поскрипывало, шевелилось — качка давала себя знать.

Табачный дым ел глаза, саднил горло, но так теп-

ло, хорошо было в каютке, что и дым мы перестали замечать. Руки, обожженные холодной водой, согреваюсь, ломили, опухли.

— Ну как, нравится у нас? — спросил Никита Иванович. — Не мутит с непривычки?

— Вода мне давно знакома, во флоте служил, — ответил я. — И качку знаю покрепче этой. Но там — железные корабли, сильные машины. А здесь деревянная, вами же построенная посуда, два паруса и три человека команды вместе с капитаном. Это дело другое. Есть ли у вас компас?

— А на что он? — удивился Никита Иванович. — Трал запущен, мы, как по-морскому говорится, в дрейфе, во флоте-то и я служил молодым. Фонарь имеется на палубе, а столкнуться, пожалуй, и не с кем. Ближе к берегу подплывем — сразу это узнаем, а куда — не все ли равно, к любому рыбозаводу пристанем, была бы рыба поймана, примут везде. Опять же за сорок лет я берега озера как свои пальцы знаю. Не велико дело, не в море — тридцать шесть километров в поперечнике да около того же в длину.

— Самое главное — рыба! — твердо заявил Виктор. Он грел руки, на мгновение прикладывая их к раскаленной печурке — калёный чугун шипел, Виктор отдергивал ладони и тряс ими.

— Так паром сырость и выйдет, — пояснил он. — Вот теперь и чайку выпью.

Он стал наливать чай в кружку. Но качка мешала рыбаку — то и дело кипятки лился мимо кружки.

— Мало еще руки нагрел, — сказал Никита Иванович. — Старую нашу белозерскую поговорку забыл? Нет? «Рыбак с озера приедет — со стола курицы не сгонит». Вот до чего озябнет.

Никита Иванович — звеньевой рыбацкого колхоза или проще сказать капитан двойки. Обычно он нераз-

говорчив, но сегодня рад постороннему человеку. Рад и тому, что звено задолго до срока выполнило свой план и главное по крупной, дорогой рыбе. Сидя на корточках, привалившись спиной к стенке каютки, он не снимает с себя дождевика, готовый в любую минуту выскочить на палубу по зову рулевого. Рассказывает:

— По теперешнему времени совсем иначе рыбак живет. Иначе! Вот, хотя бы двойки эти — удобная вещь. У нас в колхозе еще парусные, а другие уже и моторы приобрели...

— А мы-то что же не купим? — спрашивает Виктор. Он пьет чай стоя, тоже привалившись спиной к стене — так лучше на качке.

— Купить есть на что, только сразу на всех промышленность моторы изготовить не может. Обождать надо! — поясняет Никита Иванович Виктору, и тот не спорит, видимо, этот разговор у них уже не в первый раз. — Так вот тебе, товарищ газетчик, рассказываю о прошлой нашей жизни. Смолоду и я ее прихватил. Вот к весне начинают ватаманы артели подбирать, каждый норовит себе самолучших рыбаков заполучить. Водкой для этого поят, по-лисичы хвостом вертят, задатки сулят. Ну, подобрали артель — у кого лодочный и сетевой пай есть, а у иного только руки. Такому особо тошно приходилось, из долгов ватаману не вылезал. Да, вот как! И создается артель на весь год. Ну, весенний лов мережками еще ничего, полегче. И светло, и тепло. С мутниками — сеть такая для ершей, труднее. За день тонн десять-двенадцать сделаешь — спины не разогнуть, руки что деревянные. А все-таки не сравнишь с осенним ловом, себрами. Это себра, значит, две лодки спариваются на общий невод. Вот в такую-то ночку и отгребай от берега подальше на лодках да невод вымечи, да к берегу выезжай и тяни-потягивай, не останавливайся. Иной раз мокрехонек с головы до

ног. Темень, ветер, холодище! И всё больше ночью ловить приходилось. Лучше ночью рыба попадается. А зимой тоже невесело. Выедет артель верст за десять от берега на свой участок, и на каждой подводе бревно имеется. Сруб заранее рядов в пять нарубали, вывозили его на постоянное место лова. Для ночлега, чтобы дома пореже бывать. Сейчас на месте соберем этот сруб, сверху жердей накладем, соломкой от снега прикроем, а внутри сруба не пол — лёд. Опять-таки на этот лед соломой настилаем — вот и готова рыбацкая перина. Ночью в этот сруб забираемся. Мальчишек-пешников, это которые пешнями прорубки для прогона жерди с ходовыми веревками, концами по-морскому, пробивают, в серединку укладываем, чтобы потеплей им было, взрослые — по краям. Одним дырчавым парусом накроемся — чем не ночлег! До утра не согреться. Греться на работе приходилось. И так всю зиму. Только в субботу в баню попариться домой съездим. А ну, Виктор, налей и мне кружечку да и товарищу тоже. Да поди смени Николая, пусть парень погреться.

В каютку скоро спустился Николай с лицом синябагровым от ветра, с покрасневшими глазами. Как и Виктор, первым делом он стал отогревать руки — тоже прикладывать их к жарким бокам чугулки.

— А сейчас ловля совсем иная, — продолжал Никита Иванович. — Молодежь вон о моторах говорит, требует их, а небось иной парень побоится всю ночь веслами ворочать. Мальчишкам-пешникам тогда другие ребятишки завидовали, зарабатывают, мол, сами себе кусок хлеба. Солёный был этот кусок! Ну-ка целый-то день повозись с пешней. Теперь молодежь зимой в школе... А наша школа коротенькой была, хорошо если три зимы поучишься, вот тебе и весь курс наук. Тогда и песня такая была: «Кончил школу, кон-

чил школу и в подпаски поступил». Я тоже после школы пешником стал. Чуть свет, а у тебя уже пешня в руках, долби и долби лунку за лункой. На ходу кусок хлеба сжуешь и опять пешней работаешь. Так после этого в срубе на мерзлой соломе под парусом спишь и снов не видишь.

— Разве сравнишь теперешний лов с тогдашним, — подтвердил Николай. — Слов нет, не легко и теперь, но всё уж не то. А вот рыбы в озере меньше с каждым годом становится. Почему бы это? Или сильно облов ведём?

Я знал, что вопрос об оскудении рыбных запасов Белого озера — большое место всех рыбаков. Ловили рыбу и раньше более простыми снастями, вручную, а уловы были хорошими. Выходит так — лучше стали снасти, суда, опытные люди; значит, люди теперь берут от озера не только прирост рыбы, но задевают и ее основной косяк. Так ли это?

И разговор перешел на то, что надо больше отводить неприкосновенных нерестных участков по всему побережью озера, запретить мелкоячеистые сети, упорядочить сроки лова.

— Нехорошо делаем нынче — нерестовому снетку не даем в реки подняться, — с горечью говорил Никита Иванович. — Так проходы ловушками заваливаем, что некуда снетку пройти. А надо бы часть ятвы*) в реки пропускать, тогда и приплод будет. А снеток рыба скороспелая, он всего два-три года живет.

— А я еще вот что скажу, — вторил Николай, — нет у нас порядка на лесных озерах. Надо бы инспекторам за этим следить.

— Причем тут лесные озера? — удивился бригадир. — Они от Белого озера далеко.

*) Ятва — стая.

— Кажется что далеко, а на деле с ним связаны. Из Белого озера весной рыба на нерест поднимается по рекам — по Ковже, Кеме, Шоле, а из рек проходит в речонки, а те речонки бегут из лесных озер. Язь, лещ, окунь, сорога, щука тянутся в лесные озера. Икру там вымечут — молоди в лесном озере и кормно и тепло. А под осень из этих озер и молодь и старики обратно в Белое озеро скатываются, на чистую воду, где заморов не бывает. Так что же делают рыбаки на лесных озерах? Перегораживают речки заездками, ставят ловушки весной горлом вниз по течению, чтобы рыба, которая поднимается вверх, в эти ловушки шла. А осенью поворачивают ловушки горлами встречь течения — опять-таки ту рыбу ловят, что в Белое озеро на зимовку уходит. И никому до этого дела нет.

— Инспектор, ты говоришь? Да где инспектору за всеми озерами усмотреть, — вставлял свое слово Никита Иванович. — Много ли у нас инспекторов — раз-два и обчелся. Им не успеть за Белым озером уследить, а не за лесными озерами. Я точно знаю, что в Вашкинском районе около восьмидесяти озер, в Шольском почти двести, да в Белозерском озерам числа нет. Живет у иного озера любитель-хапун, вытянет за весну в свои ловушки пудов десять молоди и дела ему нет — прибудет ли рыбы в Белом озере или убудет, только бы ему лишнюю сотню рублей сорвать.

— Инспектор и слова такому любителю не скажет. Как же — он не промысловик, а «любитель», — передразнил кого-то Николай, сердито ставя пустую кружку на столик.

Качка двойки становилась равномернее, спокойнее, Никита Иванович заметил это.

— Надо наверх выйти, взглянуть в чем дело, — заявил он, поднимаясь. Я вышел за ним.

Ветер стихал. Ночь стала казаться светлее — в про-

рывах облаков нет-нет и помигивали звезды. Волны шумели угрюмее, тяжело били в борта двойки, но чувствовалось, что они стихают.

— К северу ветер перешел, скоро чистый зимарь потянет. Пора, пора и ледку становиться, — сказал Никита Иванович. Он потрогал мокрую веревку, помолчал, взглядываясь в небо, и твердо определил:

— Утром первый морозец будет!

А в каютке у нас разговор зашел о другом — можно ли пополнить рыбные запасы Белого озера, разводя в нем новые породы промысловых рыб. Оказывается, такие попытки делались, но неудачно, необдуманно. Запустили как-то икринки сига, но по чьей-то вольной или невольной ошибке сиг оказался не озерным, а речным и в озере не прижился.

— Значит, надо дело повторить, — говорил Никита Иванович, — только чтобы без ошибок. А я вот еще расскажу, только о лесных озерах, вернее об Вашк-озере. Рыба в нем известная — окунь, щука, сорога, язь...

— И караси, — добавил Николай.

— И караси, — подтвердил Никита Иванович. — Верно. А лет сорок назад карасей в этом озере не было. И случилось так, что однажды осенью, вот в такую же пору, когда в воде человеку долго не продержаться, опрокинуло ночью в озере рыбацью лодку. Были ловцами в ней сын и отец Мыловы, из Вашек. Утром заметили их, подобрали. На днище лодки лежали, привязались к ней. Старика отходили, выжил, а молодой так на лодке и замерз. Старик и думает — чем сыну память справить? И выдумал. Весной наловил на дальнем озере мелких карасиков, привез их в бочке с водой на Вашкозеро и выпустил на волю. Конечно, как тогда водилось, по па пригласил, молебствие устроил, сына помянул. Сказал народу: «Пусть в па-

мять моего сына, белозёрского рыбака, водится в Вашкозере сладкая рыба карась, всем людям на пользу». Давно уже и старика в живых нет и как звали его сына народ позабыл, а вот помнят, что сделано старым рыбаком хорошее дело. Караси теперь развелись на Вашкозере крупнущие, иной килограмма на два.

— И больше попадаются, — подтвердил Николай.

— Вот я к тому и речь веду, — продолжал Никита Иванович, — что ежели в старое время простой рыбак додумался рыбу разводить, так при теперешней науке это дело куда проще. А наша молодежь этому делу не учится, от рыбацкого ремесла отстает. Вот тоже мода завелась — выезжать на лов на Онежское озеро. Не согласен я с этим — свое озеро надо в порядке соблюдать, незачем будет по дальним местам сети волочить.

Николай гулко расхохотался:

— Ты что? Смешинку съел? — удивился Никита Иванович.

— Нет. Ты про молебствие вспомнул, как поп молился, когда карасей в Вашкозеро запускали. Вот я и вспомнил про этого попа историю.

— Вспомнил, так рассказывай.

— А помнишь у Вашкозера хуторянин богатый в свое время проживал. Яковом его звали, а фамилию позабыл...

— Леший с его фамилией. Ты рассказывай.

— Рассказываю. Великим постом накопил этот Яков пудов десять творогу. Это чтобы в сенокос батракам скормить. И попади в ушат с творогом крыса. Побегала, попищала, не выбраться ей — так на твороге и околела. Жалко хуторянину творогу. Что делать? Пригласил попа: «Батюшка, освяти творог, молебен пропой, чтобы творог есть было можно!» Поп со всей радостью. Попел, покадил — всё в порядке, ку-

шайте, православные! Тут ему Яков вместо денег два ведра творогу подносит, этого самого: «Тебе, батюшка, с причтом, за святые труды». Поп на дыбы: «Да ты что, да как ты смеешь меня поганым творогом угощать?» «Ах, так? Значит, недействительна твоя молитва, коли для тебя творог поганым остался!» Да по па из дома в шею...

— А творог не выкинул?

— Пришлось выкинуть. Он бы, может, и скормил его батракам, да поп озлился, проболтался. С той поры и до самой революции батраки к этому хуторянину только с одним условием и нанимались, чтобы их творогом не кормил...

— Забавно! — зевнул Никита Иванович. — Ну, разговоры разговорами, а пора трал поднимать.

Мы вышли на палубу. Небо совсем очистилось от туч, казалось таким темным и чистым, словно промыли его многодневные дожди, и звезды дрожали над нами крупные и ясные по-зимнему. Угрюмо ворчали волны, толкаясь в борта двойки. На юге смутно маячило зеленоватое зарево — огни северного города Белозерска.

ЛЕШАЧИНАЯ ПОЧТА



ОСЕННИЙ день хмурился, хмурился, а потом и совсем испортился — посыпал ледяным дождем, потемнел и незаметно перешел в глухую, беззвездную ночь.

Непогода застала меня в пути, далеко от деревень, на лесной тропе. Надо было подумать и о ночлеге. В такую темень ничего вокруг не видно — не доберешься до жилого места.

Я вспомнил, что за еловым островом есть сенокосная поляна и на ней сеновал. Пока еще было видно тропу, я заспешил туда.

Но сеновал оказался к ночлегу малопригодным — хозяин забросил его, крышу сорвало ветром, и только четыре покосившиеся стены угрюмо чернели посреди поляны.

Внутри пустого сеновала я развел костер, натаскал дров столько, чтобы хватило на долгую ночь, из обломков досок соорудил что-то вроде навеса и забрался под него с радостным чувством. Пусть хлещет дождь и яростно гудят деревья рядом с сеновалом, но у меня тепло и уютно.

Послышался говор. К сеновалу подходили люди. Я обрадовался — в компании веселее ночь пережить.

Рослый старик с берестяным пестерем за плечами заглянул в косые ворота сеновала. Из-за плеча старика выглядывал паренек лет шестнадцати с берданкой в руке и несколькими утками за ременным поясом.

— Говорил я тебе — дымом наносит, значит, есть кто-то на поляне, — забасил старик, пролезая в ворота. — Так и есть! А ты: «До деревни дойдем, успеем!» Нет, Лёша, до деревни в такую ночь только волк дойти сможет, а нам лучше тут, вместе с добрым человеком посидеть, погреться. Отколь, товарищ, сам-то будешь?

Я назвался.

— Слышал, знаю! — одобрительно кивнул головой старик и потащил пестерь с плеч. — Помоги-ко, Лёша, снять. Рыбки подловил на дорожку. Сейчас щуке самый жор. Ничего, не прокиснет моя добыча до утра, теперь время холодное. Ветер неровно дует — то рванет, то стихнет. К утру погода прояснеет, утихнет. Чуть свет и пойдем.

Говоря, он успел сделать для себя такой же навесик, как и мой, подкинуть дров, закурить:

— Благодать у теплинки в такую пору! Кто же вас надоумил этой тропой идти в Андреевское? Оно, конечно, ближе, да запутаться можно незнакомому человеку. Ну, ничего, вместе с нами до большой дороги пройдется утром. Лёша, доставай хлеб. У товарища, видишь, чай кипит, поделится горячим и с нами. А то ухи наварим, благо рыба есть.

Лёша тоже построил себе шалашик, но, решив, что дров маловато, отправился в лес.

— Темно же, что ты там найдешь? — уговаривал его старик. — Лучше эти дрова поэкономнее жечь — до утра хватит.

Но Лёша молча носил и носил валежник, пока, по его мнению, не обеспечил костер топливом. Молчали-

вый, немного угрюмый, он, казалось, только слушал разговоры старших, сам лишь в нужную минуту ронял короткие «да», «нет».

— Внук мой это, — рассказывал старик, с видимым наслаждением прихлебывая чай. — Я вот рыбак, а ему ружье по душе. Так на пару и добываем мясное и рыбное. Комсомолец! — таинственным шёпотом добавил он, подмигивая на Лёшу. — А полесничать страсть как любит — так, зря, дома не просидит. Нет, я не такой, мне рыбка интереснее!

Всё грознее и яростнее гудел ветер в вершинах елей и осин, монотонно, с завидным упорством, хлестал дождь по стенам сеновала, по нашим дощатым укрытиям, но костер горел бодро. И нам было спокойно у него...

Старик разговорился. Обстановка располагала к «страшным» историям, а старик знал их немало. Потом заговорил о леших и их проказах. Лёша прилег и, кажется, не слушал нас.

— Да! Вот как оно бывало в старину! — закончил старик рассказ о том, как леший зашвырнул обиженного его охотника за десять километров от его избушки, до Вашкозера. — Теперь, друг, не то, об леших только от нас, стариков, и услышишь. А вот скажи, что дивно — перестали люди верить в лешего, и лешие куда-то потерялись...

Все так же гудели вершины деревьев под порывами ветра, все так же настойчиво и монотонно стегал по земле стылый ливень. На речке за лужайкой встревоженно крикали утки. Лёша зевнул, зевнул и старик:

— У тебя, никак, часы есть, скажи-ка, милый, сколько времечка?

— Ровно полночь, — ответил я.

— Самая бесовская пора! — вздохнул старик и оглянулся. — В старое время вся нечистая сила в эту по-

ру разгуливалась, До петушиного пеня. А в лесу, думаю, и дальше того — разве услышишь отсюда петуха?

Станный, не лесной звук донесся до нас. Мы замолчали, прислушались. Что такое? Почтовый колокольчик!

— Свят, свят! — перекрестился старик и прошептал: — Вот она, нечистая сила! Откуда тут почте быть? До большой дороги восемь километров. Не иначе это лещи балуются! Слышь? Опять звенит! О господи!

Колокольчик смолк. Лёша широко открыл глаза, привстал. Старик сидел — весь внимание.

Я не подумал, как старик, на лещих. Нет, мне представилось совсем другое — шли первые месяцы Великой Отечественной войны, большая дорога, обычно тихая, теперь оживилась — всякие люди двигались по ней. «А что, подумалось мне, если какие-нибудь бандиты убили почтаря, ограбили почту и пустили лошадь с телегой на произвол судьбы? Вот и бредет она теперь лесом в темени, под ветром и дождем. А хозяин ее лежит где-нибудь в луже крови».

— Ты куда? — шикнул старик на Лёшу, — тот подошел к воротам сеновала и всматривался в ночь, прислушивался.

— Сейчас я, — пробормотал тот. — Только послушаю!

И скрылся в темноте.

— Ружье-то хоть возьми, отчаянная голова! — крикнул ему старик вдогонку. — Вот тоже — без ружья в лес! Ай, парень несмышленный!

Он сам взял Лёшину ружье, раскрыл патронташ и заменил дробовой патрон пулевым.

— Так-то оно вернее! — пояснил он, вздыхая и кладя ружье рядом с собой.

— Разве на лещих пуля помогает? — заметил я.

— Свинцовая — ни-ни! Особая нужна — медная,

красной меди. Ой, не любят лешие и вся нечистая сила красной меди. Вот, как-то мне отец рассказывал: повадился леший из Слободского болота в Вашки ходить в кабак. Каждый вечер придет. С мужиками подружился, беседовал о том, о сем. Особо с моим отцом — тот первейший полесник был. Да! Придет леший около полночи, один шкалик выпьет — золотой бросит, а сдачи серебром просит. А кабатчик, пройдоха мужик был, возьми да и отсчитай как-то ему сдачу медяками. Не слюбилось лешему — швырнул медяки в кабатчикову рожу, кричит: «Подавись ими сам, толстопузый, да ко мне в болото не приходи!». И ушел. Больше не приходил.

Меня эта сказка заинтересовала. В самом деле, почему к красной меди у многих простых людей такое уважение? Не глухой ли это отзвук той поры, когда люди каменного века впервые стали знакомиться с металлом, с медью? Так часто упоминается она как металл «особый», непорочный и таинственный. И еще припомнил я, что один английский писатель, рассказывая о старой Англии, упоминал, что нечисть народных преданий этой страны тоже не переносила меди...

А старик продолжал свои побасенки:

— В соседней с нами деревне...

Опять в стихающем шуме непогоды прозвучал почтовый колокольчик.

— Тьфу, тьфу! Лешева почта! — охнул старик, берясь за ружье. — А Лёшка дурак — куда пошел смотреть? Чего увидит? Напорется на беду! Надо окликнуть его, а то, разве, пальнуть из ружья, чтобы нас нашел. Заблудится в лесу — беды угол!

Мы помолчали. Пламя костра сникало, меркло, ночь наваливалась на наш уголок. Старик еще раз вздохнул и подбросил дров на огонь.

— Ах, Лёшка, Лёшка! Одна канитель с тобой, не-

смышленьшем! Одна канитель, переживай тут за тебя. А еще комсомол! Деда больше бы слушал! Нет, пальну я — пусть слышит, где мы находимся!

Он подошел к воротам сеновала, прислушался и негромко окликнул:

— Кто идет? Лёшка — ты?

— Я, дедо, — слышался спокойный голос паренька.

— А за тобой-то кто — белый! Чур, чур, сила господня!

— Лошадь это. Сивая. У ней не шихан на шее, а почтовый колокольчик. За мной лошадь пошла, скучно ей в лесу одной — за человеком потянулась.

Он, вслед за дедом, вошел в сеновал, присел к огню, грея руки. От отсыревшей одежды его начал подниматься легкий пар.

— Да как ты не побоялся в лес идти? — спрашивал дед.

— Кого? Твоих леших? Сказки это, дедо! А просто захотелось узнать — откуда тут почтовый колокольчик? Ну и пошел на звон. Вижу — лошадь.

— А обратно бы не вышел, заблудился бы? Что тогда?

— Ну и что? Посидел бы под елкой до утра. Да тут я не заблужусь. Пошел — ветер мне в лицо, значит, обратно в спину должен дуть. Так сюда и пришел. Да и дымом по дождю от нашего огня далеко несет. Запах слышно. Прилягу я пока, еще свет не скоро.

И затих в своем шалашике. Мы подбросили дров и тоже постарались задремать.

Серым утром шли мы к большой дороге лесной тропой. Старик сокрушенно помахивал головой:

— Дурак я старый — на леших валил! Сейчас только вспомнил — вчера наш председатель колхоза с

почты несколько колокольчиков принес — не нужны они теперь, почту на машине стали возить. Бросил председатель их в правленьи на окно, говорит конюху: «Навяжи ты их новокупным лошадям, а то шиханов у нас недостаток». Как я об этом позабыл? Тьфу!

— Леших испугался! — подал голос Лёша.

— А ну тебя! Я это к слову — о леших, к разговору.

Сивая лошадь шла за нами, позванивая колокольчиком.



ЧЕРНЫЙ ЛЕЩ

НОГА-деревяшка — плохой помощник ходьбе, но Василий Иванович не торопится.

Только и всего, что пораньше выйти надо, чтобы к сроку на заветном местечке быть. А времени у Василия Ивановича достаточно, стариковское оно, это время. Работу ему дают в колхозе по силе, по стариковской и инвалидной возможности — косы отбить, грабли справить, сбрую в порядок привести. Значит, есть возможность посидеть иной раз с удочками на берегу.

Стук да стук, стук да стук — тянется лесная дорожка вдоль речного берега. Еще немного — начнутся и заливные колхозные луга. В такую пору на этих лугах все, кто в силах косу или грабли в руках держать. Только женщины, у которых малые ребятишки есть, по вечерам уходят домой, а остальные косцы так и ночуют в шалашах, под пологами от комариной надоедливой силы.

А комара, действительно, густо. Ноют, толкутся, вязнут в дедовой сивой бороде, липнут к загорелому до черноты затылку. То и дело хлопает дед рукой по затылку, давит пискучих кровопийц. Да комары рыбацкой потехе не помеха. Косцам они, того, мешают. Косцу, как душа на работе разгорится, и комара хлопнуть некогда.

День вчера был знойным, тихим. Каменное ведро

на неделю, а то и больше. И ночь выдалась теплая, но к утру посвежело, пала на травы густая роса, сладко тянет с сырых мест у лесных ручьев медовым приторным ароматом цветущей таволги, а с лугов наносит едва заметным ветерком бодрый запах белой кашки — милого цветка.

Василий Иванович малость озабочен. Одно дело — просто так, для себя рыбки половить. Что попадетсЯ, то и ладно, в ухе всякая рыба хороша, ежели своего лова — и окунь, и ерш, и даже костлявая плутоватая сорога.

А тут — гости будут. Дочь приедет с зятем. Зять — моряк, офицером плавает на военном корабле. И внучат привезут. Обязательно надобен лецц. Хорошо бы не один. Два нужны — на пирог и на сковороду. Ах, хороши речные лецци! В озерах они светлые, не особо жирные, и вкус у них не тот, на траву, на мох потягивает. Речной лецц — иной. Спинка у него черная, чешуя — золотистая, вкус — лучше не выдумаешь! Особенно в пироге. Под перышками — жир. Эх, и жир! Хороши речные черные лецци! Бабка дома в хлопотах: и творог, и молоко, и яйца — всё у ней в руках шевелится, на печи опара с тестом пузырится. Но какой же это обед для встречи, ежели нет пирога с леццом?

Перед тем как спуститься к реке, к заветному любимому местечку, Василий Иванович останавливается, осматривается. Ладно пришел, в самую пору, в самое начало рыбацкой утренней зорьки. Туман над рекой зашевелился, пополз по прибрежным кустам. Как всегда перед рассветом, в ивняке запорхали, стали переговариваться по-своему звонкими голосишками какие-то пичуги-невелички.

Пора! Старик спускается к омуту, усаживается

на корнях толстенной березы, свесившейся над темной водой, над круглыми листьями кувшинок. Белых цветов кувшинки еще не видно, они спят, откроются только на восходе солнца. А омут еще доживает последние ночные минутки — то там, то здесь всплеснет рыбина, качнут едва заметной волной тростники, мыши в траве шуршат...

Не торопясь, Василий Иванович разматывает лесы, насаживает червей, и вот поплавки уже замерли на темной воде. Теперь можно закурить и ждать терпеливо, в сладостной надежде увидеть, как дрогнет поплавок, как плавно заскользит по темной воде...

Туман становится гуще, комары злее. Вот-вот дунет ветерок, прогонит туман да комаров приубавит. Не любят его эти разбойники. А для рыбы, для леща, легкий ветер еще лучше — воздух очищает.

Из-за кустов доносится легкий кашель. Кто-то еще сидит недалеко. И по кашлю старик узнает своего соседа — это Мигунчиков, человек еще не старый, но надовевший всем своим нытьем, своими жалобами на болезни, на ломоту костей, на плохие ноги. От него в колхозе давно отступились, махнули рукой, как на человека ни на что непригодного, хотя болезни не мешали Мигунчикову ловить рыбку не только удочками, но и вершами на лесных озерах, продавать ее потихоньку, носить пудовые корзины грибов из леса и тоже продавать их или целыми днями торчать вместе со старухами в болотах, собирать клюкву, благо за нее заготовители хорошие деньги дают.

Уженье требует тишины, переговариваться с соседом необязательно, да Василий Иванович и не любил беседовать с кислогубым Мигунчиковым, по-крестьянски презирая его за никчемность, за мелкую мышиную жизнь. А вскоре старик и совсем забывает о своем соседе по рыбалке.

Быстро светает. Кажется, будто кто-то огромный льет и льет сверху на землю радостный и легкий свет. Вот на том берегу можно уже различить и листья на деревьях, их цвет, вот туманы зашевелились еще быстрее, а на стрежне реки заиграл жерех, то и дело буйно всплескиваясь в погоне за рыбьей мелочью.

Василий Иванович забывает обо всем и видит только лишь поплавок левой крайней удочки. Он, поплавок, покачивается, вздрагивает и вдруг начинает скользить к середине реки, погружаясь в воду. Почувствовав мощный толчок рыбины там, на конце лесы, старик подсекает ее.

А теперь наступили те единственные по своей неповторимости и в то же время обычности секунды, когда вся воля рыбака, всё его искусство направлены на одно — утомить рыбу, подвести ее к берегу и, лишь подхватив ее сачком, облегченно перевести дыхание и ощутить радость победителя.

Так всё это и произошло. А когда лещ оказался в холщевой суме на боку Василия Ивановича, и старик дрожащими руками набил трубку, Мигунчиков приглушенно окликнул его:

— Лещ?

— Лещ.

— Порядочный?

— Кило на три с хвостиком.

— Твое счастье! Это ежели по пять рублей, так на пятнадцать рубликов.

Но Василий Иванович не слышал этих подсчетов — теперь поплавок средней удочки стал покачиваться и нырять. «Окунь!» — определил старик. И действительно, крупный окунь взлетел над его головой и шлепнулся в траву.

Потом попало еще несколько окуней помельче и, наконец, совсем уж маленькая сорожка. И вдруг клев

как обрезало. Поплавки лежали на воде неподвижно, и только бойкие жучки-водомерки, пытаясь взобраться на них, чуть-чуть колебали эти интересные, по их мнению, штуки.

За кустами послышался всплеск — видимо, Мигунчиков тоже выводил леща. Но Василий Иванович не стал допытываться, хороша ли рыбина.

То, что клев прекратился, не удивило его, он знал — подошла щука, и рыба разбежалась. Василий Иванович, покачав головой, сменил на одной из удочек крючок, навязав другой, большей, на проволочном поводке, насадил за спинку еще живую сорожку и закинул эту снасть полее, по течению.

И только поплавок лег на воду, как сразу же удище согнулось в вершине — хищница схватила сорожку. А через минуту Василий Иванович запикивал в свою суму щучонку с тупозлобными глазами.

— Опять леща? — донеслось из-за кустов.

— Щука, — нехотя отозвался Василий Иванович. — Небольшая, с кило.

— Еще пятерка, — завистливо отметил сосед из-за кустов.

Впрочем клеву, заре подходил конец. Поднялось солнце — еще немного, и рыба уйдет на весь день или на середину реки, в глубину, или под листья кувшинок, в траву, в тень. Но Василий Иванович продолжал сидеть, в надежде подловить еще одного леща. Но эта надежда не оправдалась. Добыв еще несколько крупных окуней и убедившись, что заря окончилась, рыболов встал, разминая затекшую от сиденья спину, и стал сматывать удочки.

На тропинке послышался шорох камешков, зашуршали ветки кустов. К реке спускался колхозный бригадир Алексей Петрович. Белая его рубашка потемнела от пота, лицо стало багрово-бурым от жары, от работы,

Глаза покраснели от бессонной ночи. Не глядя на старика, бригадир подошел к реке, встал на колени и начал пить, складывая ладони лодочкой. Пил он жадно, зажмурясь, вода бежала по его небритому подбородку. Потом он умылся, шумно бросая воду на лицо, и лишь тогда, отдуваясь, он помотал головой и заметил Василия Ивановича:

— Помешал я, дед, твоему лову? Извини! До чего упарился — едва до реки добрел. Да и не спал почти всю ночь — то в одно место сбегать пришлось, то в другое. Эх, еще бы такой погоды дня три — лихо бы убрались!

— Помешать ты мне не помешал, — ответил Василий Иванович, перевязывая удилица веревочками. — Все равно я домой собирался. А ведро простоит еще не один день. Все приметы к тому.

— Золотые твои слова. Как с добычей?

— Есть маленько.

— Лец хорош у тебя. По хвосту вижу. Значит, домой поковыляешь? Путь добрый. А мне опять беготня — надо кого-то в колхоз наладить, узнать, скоро ли завтрак народу привезут, да чтобы не один творог с молоком, а чего бы посущественнее. Горячего бы хорошо похлебать, баранина должна быть в кладовой. Сейчас народ косить перестал, теперь отдохнут, перекурят и сено сушить. Скоро роса сойдет. И косы надо свезти в колхоз, отбить. Это уж тебе, Василий Иванович.

— Как всегда...

На разговор через кусты продрался Мигунчиков — узколиций, с тонким носом и тонкими бледными губами. Был он обут в старые ботинки, и смешной, когда-то белый, детский беретик торчал на его кудлатой голове.

— Горячего, говоришь, похлебать косям? — спросил он бригадира. — Я выручу. Покупай мою рыби-

ну. — Он добыл из своей корзины леща, еще разевавшего рот. — Кило два с половиной. По пять рублей — на двенадцать с полтиной. Напиши записку — деньги в правлении мне выдадут.

Алексей Петрович поднял леща за хвост:

— Два с половиной будет, это так!

— Хоть на весы клади — не ошибусь. Пиши записку, бери рыбину. Вас там, знаю, двенадцать человек с тобой — всем ухи хватит.

— Рыбина хорошая, — колебался бригадир. — Только покупать как-то не с руки, ты все-таки наш колхозник.

— Не трудодни ли начислить хочешь? Не выйдет! — он выхватил леща из рук бригадира, запихал его обратно в корзину и сердито сплюнул.

Василий Иванович молча смотрел на Мигунчикова, потом швырнул удилица на траву:

— Ну-ка, Петрович, полюбуйся на моего черного лещика! — потянул он за хвост из сумы свою добычу. — Хорош?

— Вот это да! — восхитился Алексей Петрович, подкидывая леща на руках. — Хорош! Три с лишним наверняка. Жирен! Тоже продавать решил?

— Что? Косцам? Не мели пустого — неси его к стану, вари! Горячего на такой работе поесть — первое дело. Деньги! На кой они мне леший!

— Трудодни начислим.

— Новое дело! Я не работал, а для своего удовольствия.

— Ты, я знаю, дочь с зятем встречать сегодня будешь, им на пирог добывал.

— Ну и что? На пирог и щучонка сойдет, рыбка неплохая. На уху окуни есть. И нам хватит. А косы в колхоз не вези, я их сейчас и отобью, коли бабку и молоток ты не забыл прихватить.

— Это имеется.

— Да вот еще что — здесь я задержусь с косами, а бабке моей стряпаться надо, так пусть сейчас на подводе, что в колхоз пойдет, мой улов свезут. И удочки заодно.

— Это само собой. К обеду мы и тебя на второй подводе отправим. Как раз успеешь дочку встретить. А сейчас пойдем к стану, чайник кипит, с нами чайку кружечку...

— А меня чего же не приглашаешь? — сморщился улыбкой Мигунчиков.

Алексей Петрович не ответил...

СТАРЫЙ ДА МАЛЫЙ



ПОЛДЕНЬ. Жарища. Безветрие. Из моховых болот нет-нет да и потянет дурманящим запахом багульника, нагретым торфом. Озеро замерло — рыба затаилась от тепла и света под старыми корягами, под широкими

листьями кувшинок...

На мыске, под молодыми березками курится дымок. Челнок, шалашик из ольховых веток, чайник на рогульках над огнем — рыбацкое становище.

Рыбаков — двое. Дед Алексей Филатыч — плешивый, низенький, суетливый не по годам, любитель поговорить, и его внук — старшеклассник Сережка, тоже не по годам обстоятельный, не очень говорливый паренек. Он широкоплеч и медлителен.

Ловят рыбу для колхоза, по наряду. У карасей нерест, ловушки надо проверять почаще, и поэтому рыбаки на неделю забрались на это лесное озеро. Каждый день к ним приезжают за рыбой, привозят продукты и газеты, а старому махорки.

Верши проверены утром, теперь рыбаки ждут возчика. В ивовой корзине, прикрытые мокрой травой, разевают рты караси. Иной, словно бронзовый щит — килограмма на три весом. Озеро славно своими карасями.

Рыбаки лежат на траве, позевывают. Выспаться успели, но делать нечего, можно бы и еще вздремнуть, однако хочется дожждаться возчика. Все-таки свежий человек, продукты продуктами, а новости тоже интересные.

— Сerezка!

— Ну?

— Ты у деревни Таршинской, вот как от Пустошки к ней идти, у самой дороги, у ручья, видал провал?

— Видал. Вроде блюда — круглый. Берега, что ножом обрезаны, ровные, а невысокие — с метр. И дно ровное. Не провал, а вроде большая сковорода. А что?

— То-то «что?» А знаешь, откуда этот провал взялся?

— Кабы знал, тебе бы, дедо, рассказал. Откуда же мне знать? Провал и провал.

— Ну, слушай меня! Это задолго до меня еще было. На месте провала изба стояла, а жила в той избе вдова, старуха. И как зима — пускает она в свою избу посиделки, беседу...

— Ну? Дальше.

— Не торопи! Не третий гудок дан! Пускала она, значит, беседу. Молодежь. Девки за то полы каждую субботу ей намывали, а на первой неделе поста, великого поста, ты такого и не знаешь..

— Не знаю.

— Не знаешь! На первой неделе ей избу мыли на бело. А парни — по возу дров обязаны были привезти, избу вдовину отапливать. Такой порядок был. И хорошо! А вон, у вас, у молодежи, изба-читальня, а зимой и зайти в нее страшно — в тулупе застынешь. Чтоб вам-то так, по-старинному — по возу дров каждому парню привезти.

— Ладно о дровах-то! Сельсовету на дрова для избу-читальни деньги дают.

— Деньгами печь не натопишь — дрова нужны! Лодыри!

— Да хватит об этом. Будет зима и дров привезем. Ты свое-то начал, так договаривай!

— То-то же! Посмотрю, как привезете! Ну, жила вдова и бывали у ней посиделки, или проще — беседа. Девки прядут, парни — кто чем занят, ну и песню споют, спляшут. Вдруг приходят в избу три молодца. Красавцы! Во всем черном — богато одеты. А кто такие — неизвестно. Однако со всеми за ручку и начинают играть на балалайке под пляску. Здорово вышло! Девки и рады — свои кавалеры и так присмотрелись, куда они денутся, а тут — чужаки. Стали плясать. И вот у чужаков изо рта пламя запыхало. Понимаешь? Это черти были!

— Черти? Зачем они пришли? Да ведь не бывает чертей. Неправда!

— В старое время черти были! Ты слушай!

— Ну?

— Завизжали девки — бросились по углам. А парни чертей бить. Осердились черти — топнул один ногой и провалилась в землю вся изба с народом. Ни один не спасся! Во как! На том месте провалище стало. Понятно?

Синяя стрекоза пляшет в воздухе перед Серезкиным носом — парень, затаив дыхание, следит за этой пляской. Затрещав крылышками, стрекоза уносится к лесу. Серезка вздыхает:

— Всё, дедо?

— Всё! Чего тебе еще? Понял, говорю, что за провал у Таршинской?

— Ни один человек не спасся? Так, дедо?

— Ни один! Все в провале погибли.

— А как же так, дедо, говоришь — ни один не спасся? Кто же обо всем этом рассказал?

- Кто? Как это кто?
- Ну да, кто? Все погибли, сам говоришь...
- Старик сердито хлопает себя по спине:
- Никак оводы появились... Жиганул кто-то в спину! Рано они в нынешнем году, проклятые, залетали!
- Нет, оводов не слышу. Муравей, может, тебе под рубаху забрел?
- Может и он. Долго что-то Игнат не едет. Сними-ко чайник с рогульки, видишь — булькает. Надо бы и чайку попить.
- Хлеб, сахар есть. Ухи наварено — за чем дело? Давай пообедаем и чай пить.
- Обождем малость. Надо и Игната покормить. Мужик тоже привык на нашу уху равнение держать. Дождемся его.
- Так как же, дедо, насчет провала? Кто же всё это видел и об этом рассказал?
- Ты погоди, не сразу. А вот Сорожье озеро знаешь?
- Знаю. В прошлом году с дядей Тимофеем удить туда ходили. А что?
- А видал там на берегу сосновый бор и в бору том — печищи? Остатки от печей. Село там было. В панское разоренье его паны сожгли и всех крестьян побили...
- Это верно было. В начале семнадцатого века!
- Во-во! Ты учишься, должен знать. Так об озере — на нем иной утренней зарей промеж иванова дня и петрова дня, как раз в это время село паны сожгли, можно звон слышать.
- Какой звон?
- Колокольный. Церковный. Церковь там стояла, на бугорке. Вот в это самое разорение паны скинули колокол с колокольни, да и утопили его посреди озера. Оно же глубокое. «Пусть, мол, ни нам, ни вам!»

В колоколе сто двадцать пудов весу. Наполовину он из серебра литой. Вот какой! Дорогой. А панам его не увезти было! Ну и захоронили в озере. Колокол по утрам сам звонит, на волю просится...

— Не слышал я звону.

— Где тебе! Ты — невера! Комсомол!

— Ну и невера! И хорошо! А ты-то веришь? Это ты сказки мне рассказываешь!

— Истинную правду! Спроси у других стариков — то же скажут.

Тишина. Костер едва-едва курится, но рыбакам, разомлевшим от зноя, не хочется подбросить сучков. Да и к чему? Жарко! Облачко в небе встало над озером, отразилось в нем среди лесистых берегов и тоже заленилось, задремало...

— Дедо!

— Чего?

— А скажи — на чем они колокол в озеро вывезли?

— Говорил — на челне!

— На таком, как у нас?

— Не знаю. Челн, так челн и есть. В старину тесовых не было. Долбленные. Из осины. А что?

— Не мог такой челн колокол в сто двадцать пудов поднять да еще людей сколько надо, чтобы его в воду сронить.

Старик вскакивает, остервенело чешет поясницу:

— Опять какая-то сволочь жиганула! Что огнем ошпарила! Тебя не кусают?

— Кому кусать-то? Комаров еще мало да и у костра мы, у дымка, оводам рано. Не на муравейник ли ты лег? Да, кажется, нет там муравейника, я вчера на твоём месте лежал — ничего.

— У тебя, может, кожа крепче. Так и жжет, так и жжет поясницу!

— Так как же с колоколом?

— Ты побудь здесь, подожди Игната. А я съезжу, посмотрю — не хватила ли щука живца? Не может быть, чтобы на девять жерлиц ни одна не попалась. Карасики насажены — любимое щукино кушанье.

— Какие в полдень щуки? Спят они под корягами. Ужо, под вечер загуляют, начнут рыбку похватывать.

Но старик садится в челнок и скоро исчезает за лесистым мыском.

Сережка пытается задремать, но скоро его будит постукиванье колес — появляется дядя Игнат на рыжей кобылке.

— Один?

— Один, — отвечает Сережка, поднимаясь. — Дед скоро вернется, по озеру погнал жерлицы смотреть.

— Дело! Как улов?

— Пуда три есть. Сегодня крупный карась. Еще живые — хвостиками шевелят.

— Дело! Вот, пустую корзину примите, а эту давай погрузим да и поеду я.

— Что так скоро сегодня? Пообедал бы с нами. Уха есть, карась зажарен, с икрой.

— Ушки нальешь — хлебну, не откажусь, только Филатыча ждать мне некогда. Торопиться наказано, сегодня силосовать начали, подводки нужны.

— Силосовать? Скажи-ко бригадиру — пусть меня сменит, скучно здесь без народу.

— Дед развеселит, он рассказчик.

— Врет всё!

— Ежели сказки начнет, конечно. Ты с ним разговор заведи про его жизнь — старик бывалый. И воевал, и в чужих краях бывал. Вот это тебе мать прислала, а это — деду. Папирос ему, кроме махорки, вроде премии. Хорошо ловите! А тебе конфет мягких.

Соевые что ли, мать говорила, любишь ты их. Хлеб вот возьми, а тут крупа, лук зеленый.

Игнат уехал. Опять над озером тишина, теплынь, трещат, пляшут стрекозы, справляют свои воздушные свадьбы.

Сережка вымыл посуду — угостил-таки Игната ухой, но сам есть не стал, ждет деда.

— Сивая борода! — ворчит паренек, поглядывая на озеро. — Обиделся, что я его байкам не верю. А ты не ври! А коли врешь, так складней надо. А то черти, черти, а кто видал? Или колокол — разве увезешь на челне две тонны?

Но тут он замечает плывущий к берегу челнок, вскакивает и кричит изо всей силы, приставив ладони ко рту:

— Дедо! Давай скорей обедать и чай пить! У меня хорошие конфеты есть! Соевые! Давай, а то не вытерплю — сам съем!

Стрекозы испуганно разлетаются...



НА СВОЕМ ПУТИ

ПЕСНЯ шла лесной тропинкой, извивавшейся вдоль крутого берега. Она была под стать, в лад тихому летнему вечеру, тихой реке, что едва пошевеливала листья кувшинок, лесу, задремавшему над водой под последними лучами солнца. Еще летали, трещали золотистые и синие стрекозы, вершины елей и осин словно светились — они еще видели закатное солнце, но здесь, внизу, по берегам, по кустам уже потянулись первые волокна туманов, и дергач, пока еще робко, начинал свою скрипучую перекличку с другими дергачами.

А песня приближалась, и вдруг певец замолк. Слышно было, как он спускается по крутому откосу к реке — шуршали кусты, легонько звенели, перекатываясь, камушки под ногой человека.

Удильщик в городской, соломенной шляпе отвернулся от поплавок и слушал певца — внимательно, строго, с затаенной улыбкой на бледном, еще без загара лице. Когда певец смолк, удильщик покачал головой и, вздохнув, повернулся к поплавкам.

— Клев на уду! Рыбная вода! — окликнули его. Удильщик повернулся. За его спиной стоял коренастый парень. Резиновые с короткими голенищами сапоги, комбинезон тракториста, ватная фуфайка и

кепка с мятым козырьком — обычный наряд рыбака. На плече парня покачивалась связка березовых удилищ, в руке болталась жестяная банка с червями.

— Как успехи? — спросил парень, присаживаясь на корточки. — Сам-то, видимо, нездешний, в отпуск, наверно, к кому-нибудь приехал?

— Клюет неважно, — признался человек в шляпе. — Мест хороших не знаю. А что я приезжий — верно. У Селифонова гощу, дальняя родня мне...

— Селифонова знаю. Вы из какого города?

— Из Ленинграда...

— Клюет у вас, клюет! Эх, рано подсекли! Это же лещ брал! Тут выжидать требуется. Он сначала поплавок покачает, потом вкось в воду потянет. Вот тут-то его и подрубайте. А вы споранились!

— Лещей удить не приходилось, — снова признался приезжий. — А у вас как дела?

— Двух лещей добыл. Один небольшой, а другой килограмма три с лишним будет. Вон какой красавец! — он вытащил из своей сумки леща, подержал его, любясь смуглым золотом чешуи, и положил рыбину на траву. — Повезло сегодня. Переночую и утреннюю зорьку возьму. Вы приходите к моему огоньку, я вон там, за мысом, всегда устраиваюсь. Вот и приходите — вдвоем веселей. Ночи теперь короткие, с разговорами и не заметим, как время пройдет.

Он уложил леща в сумку и неторопливо пошел росистой травой, отгибая ивовые ветки, нависавшие над тропинкой.

* * *

А после рыбацкого ужина — уха из окуней и ершей, после чая, они разговорились.

— Значит, это ты, Миша, пел? — спрашивал го-

рожанин, досадливо отмахиваясь от комаров. Он уже узнал имя своего товарища по ночлегу.

— Пел? Сегодня? Я. А что?

— Голос у тебя хороший. Тенор. Тебе бы надо идти учиться в консерваторию. Артистом, певцом будешь! Образование у тебя какое?

— В прошлом году десятилетку кончил. Голос у меня обыкновенный. Артистом, говорите, могу быть, певцом? — Он задумчиво поправил раскатившиеся головни костра. — А долго учиться надо?

— Лет пять-шесть. Но вообще-то артист или певец всю жизнь учится. Голос у тебя надо обработать, изучить нотную азбуку, одним словом, работы много. Но зато твой голос народу интересен будет.

— Гм! Народу? А я и так пою. Здесь. И в школе в самодеятельности участвовал и тут, на лесопункте. Под гармонь хорошо выходит. Консерватория в Москве или Ленинграде?

— Есть и в этих городах, есть и в других музыкальные и театральные училища. Голос тебе беречь надо — зря не петь, сырости, холода бояться.

— Вот еще! Да здесь я когда хочу, тогда и пою. А там, в театре, и не хочешь да пой. Так?

— Так!

— Это не по мне. Я когда пою? Весело — пою! Задумаюсь в дороге — пою. Ну, бывает и скучно — скучное запою. А в театре мне весело, а грустное надо петь или наоборот. Нет. Так я не хочу!

— Миша, пойми, хороший голос — ценная вещь! Ты людям радость принесешь!

— Ну и что ж! А почему я должен эту радость, как вы говорите, только в театре людям давать? И здесь, на лесопункте или в деревне, люди песню любят. Вот я и спою, когда настроенье есть. Или вот, говорите, сырости, холода беречься надо. А я поудить

люблю и с ружьем прогуляться по лесу. Да и работаем мы, трактористы, при любой погоде. Хорошо! Вольный воздух!

— Значит, ты тракторист?

— Тракторист. Хорошая специальность. Нынче мне на призыв. В армии, может быть, опять по специальности, по двигателям внутреннего сгорания работать придется. Это интересно! Меня техника интересует, а вы — певцом становись, артистом! Не хочу и всё тут! То ли дело машину вести! Она, как живая, тебя понимает! После армии пойду учиться опять в такое учебное заведение, чтобы машины изучать. Или даже как делать их, в машиностроительный. А вы не певец?

— Нет. Художник. А что?

— Так. Думаю, меня уговариваете, так и сами артист. Я по открыткам многих художников картины знаю — Репина, Сурикова. Или вот картина есть — мальчишку батяка на рыбалку не взял — Он захотел: — Такое у меня тоже бывало, знаю! Вот вы такие картины и рисуете? А фамилия ваша как?

Художник назвал. Миша ответил, подумав:

— Нет, ваших картин ни в журналах, ни в открытках не видал. Не знаю...

— Я картин не пишу. Преподаю рисование и черчение...

— Вот оно что! А почему же картин не пишете, не рисуете? Я, если бы умел рисовать, обязательно нарисовал бы, как мы с вами у костра сидим. Или бы как трактор по делянке идет! А давайте-ка приляжем на полчаса — ишь как дергачи разорались. Утро тихое будет и клев...

Ткнулся носом в траву, натянул кепку на ухо и замолк. А художник долго сидел у костра, курил и думал о Мише и о себе. В чем же призвание каждого

человека, как найти себя? И как трудно подчас сделать это молодому. Вот хотя бы он, художник. Еще в последних классах школы он решил, что у него есть талант живописца. Бойко рисовал карикатуры в стенную газету, пестрые заголовки к заметкам. Но в то же время интересовало его совсем другое — строительство. Он готов был дни проводить рядом с плотниками, печниками, каменщиками, ему казалось чудом, что простые люди из бревен, из кирпичей возводят дома. Может быть, надо было избрать путь архитектора или что-то другое? А стал художником и убедился, что таланта у него нет, есть скромные способности. Хорошо, что вовремя понял это, стал преподавателем рисования и черчения.

Вот и Миша, что лежит рядом, свернувшись клубком у костра, возможно прав, не желая променять интересную для него профессию тракториста на судьбу певца. Одного голоса мало для того, чтобы быть настоящим артистом, художником, тут нужно многое другое...

Художник тоже прилег у костра и уснул. Проснулся, когда вершины елей уже были залиты первыми лучами солнца. Миши у костра не оказалось. Только по росистой траве к дальнему мысу тянулась темная полоса — след ушедшего человека.





Из лесного
БЛОКНОТА



МАРКОЛЕНДА

«Если хочешь понять душу леса, найди лесной ручей и направляйся берегом его вверх или вниз».

М. Пришвин.

МАРКОЛЕНДА — звучное и странное название, словно занесенное ненароком в вологодскую лесную глушь из средневековой французской легенды...

Со дна Новского озера то там, то здесь бьют холодные ключи. О них узнаешь только зимой, когда в метровой толще льда увидишь круглую, словно глаз, полынью и легкий морозный пар над нею. Это струи ключа не дают сомкнуться льду, и озеро словно дышит через эту полынью и другие, что разбросаны по нему.

Лишняя вода, та, что вливают в озера его ключи, ищет выхода дальше и находит его. Выход этот — ручей Марколенда. Вот он медленно вытекает из озера, расплзается ржавыми мочажинами среди бурозеленых кочек торфяного болота. Чем дальше, тем уже и мельче ручей. А потом словно всосало его болото в себя. Нет ручья! Только болото — кочки, кри-

вые березки, чахлые сосенки, веники болиголова и терпкий пьянящий его запах.

А там, за болотом, коренной лес на многие километры — ельники, боры, березники. Идешь, идешь этим лесом и вдруг перед тобой в лощине речка. А может быть и не речка — просто узкое, извилистое лесное озерко с черной дремотной водой.

Как-то встретился я у такого ручья-озерка со знакомым колхозником. Шел он на дальние покосы с поручением от своего бригадира — огородить жердями колхозные стога сена. За колхозником увязался и его сынишка Петька — паренек лет десяти в синих коротких штанишках и рубашонке со следами черники на ней.

Пока мы сидели, курили да разговаривали, Петька делом занялся: вытащил из кармана волосяную леску с крючком, намотанную на щепочку, вырезал удилице, и не успели мы удивиться, как он уже закинул свою немудрую снасть в озерко.

— Петька, зря стараешься, — окликнул его отец. — В этом озерке, кроме лягушек, никакой живности нет. Ужо, придем на покосы, там в речке поудишь.

Но Петька словно и не слышал нас, помахивал головою от комаров и неотрывно следил за поплавком.

— Пускай удит, — сказал я. — В его возрасте думается, что рыба даже в колодце есть.

Но... Петька взмахнул удилицем, и черноспинный с ярко-красными плавниками окунь, мелькнув в воздухе, шлепнулся в траву у наших ног.

— Окунь! В этой-то луже? — ахнул мой знакомый.

Через час мы пошли дальше. Пришлось посидеть, посмотреть на Петькину ловлю. А теперь он рысцой спешил за нами с гордым видом, и связка окуней болталась в его руке.

Уходя, я бросил несколько сухих сучков в озерко. И они медленно-медленно поплыли вдоль него. Значит, в озерке было пусть и слабое, но течение.

— Неужели это Марколенда? — спросил я колодезника.

— Всё может быть, — ответил он. — Живая вода всегда свой путь найдет.

Мой знакомец, заинтересованный таинственным течением Марколенды, решил пройтись со мною дальше. Он знал еще несколько таких же озер — узких, извилистых и длинных. Мы побывали на всех.

Да, это была Марколенда — лесной ручей, что вытекал из Новского озера, терялся и появлялся вновь. Можно было понять, что уже издавна поверх русла этого тихого ручья валились старые деревья, закламляли его, на деревьях вырастал мох, трава, и новые валежины ложились над ручьем. И вот под этой толщей гнилых деревьев, мха и травы в холодной темноте подземелья струились воды Марколенды.

А в иных местах лес был не в силах заглушить ручей. И тут он, запруженный ниже завалами валежника, становился озерком. А всякому озерку полагается рыба.

Что взрослым людям до таких озерешек и какой-то гадательной рыбы в них? Стоит ли ставить здесь ловушки, есть ли надобность сидеть над удочками? На то есть настоящие большие озера и широкие реки.

А Петьке Марколенда интереснее больших озер и рек. Уж очень сказочно выудить красноперого окуня из черной и тихой, похожей на яму не то речки, не то озера. Наклонились над водой толстенные ели, и вершины их сошлись, нависли над берегами. Непролазна чаща смородинника, крапивы, таволги и осоки. И вдруг — рыба! Настоящая рыба из черного лесного провала.

Открыть тайну речки дорого и взрослому — не только Петьке...

Мы вышли на проселок, на луга, и ласковый ветер словно погладил нас бархатными ладонями по вспотевшим, в лесной паутине лицам.

— Вот оно как, — сказал мой знакомый, прощаясь со мною, и повторил то, что сказал там, у черного озерка: — Живая вода всегда свой путь найдет!



ПОСПЕЛА ЛИ МАЛИНА?

ЛЕСНИК Антон обходом по своему участку шел. Вздумалось ему за-вернуть на Горелый остров, посмотреть, не поспела ли малина. Ребятишки-внучата давно тормозят, спрашивают, когда дедушка их в малинник сведет. Пора бы поспеть сладкой ягоде — рожь зреет, а она в одно время с малиной доходит.

Стал Антон подходить к малиннику, слышит — ворочается там кто-то.

— Кому бы это быть? — думает Антон.

Вдруг затрещало, зашумело, и выскакивает из малинника медвежонок.

— Ах, чтоб тебя! Напугал-то как!

А медвежонок вприскок через кочки, пни, валяжник, вперевалку шариком от человека. Тоже напугался. Добежал до большой березы, полез на нее. Устроился там поудобнее на суку, облапил его, сидит, вниз на Антона глазенками-изюминками поглядывает.

Антону и смешно, и досадно. Изловить бы звереныша! А на дерево лезть жутковато. Вдруг медведица где-нибудь рядом бродит? Тогда добра не жди.

Постоял Антон, подумал. А потом пиджак снял, на куст его повесил и рукава в сторону развел, как у пугала огородного. Повыше на сучок шапку свою пристроил и — домой. Дома соседу в окно постучал:

— Бери-ка, Никита, свое ружье. Пойдем со мной.

— Куда? Зачем?

— Насчет медведя смекаю. На Горелом острове. Да быстрее справляйся!

Собрались в один момент. Антон с собой корзинку взял и мешок. Пришли на Горелый остров. Никита спрашивает:

— Где же медведь?

— А вон, на березе сидит, меня ожидает.

— Да ведь медвежонок это! Значит, и медведица где-то рядом. Даст она нам ходу, Антон!

— Не бойся! Это сирота. Матери у него нет. Кабы она была, так давно бы мой пиджак растрепала и детеныша увела. А тут сидит медвежонок на березке, моего одеянья боится, думает — человек стоит. Полежай-ка на березу!

Ну, разговор короткий — скоро медвежонок в мешок попал. Антон соседу говорит:

— Ты посиди, покури часок, а я внучатам малинки наберу. Обещал.

— Да ведь неспелая еще малина. Рано!

— Нет, уже спелая. Медвежонок не зря в малинике был. Он тоже понимает, сладкое любит, не станет неспелую ягоду есть.

... А рассказал нам эту историю сам Антон-лесник. Он в город приехал и в зоологический сад зашел, медвежонка проведать. Тот уже в большого медведя вырос и Антона не признавал.

— Это он людей стесняется, — говорил Антон. — А так признал бы. Медведи, они умные!

— Как же он не разобрался, что под березой не человек стоял, а пиджак висел?

— Ну, тогда он маленький был, глупый!



С ТРЕХ ОБЛАСТЕЙ

ПЕРЕД закатом осенние низкие тучи раздвинулись на западе. За ними чистейшее небо — лимонно-золотое над землей, холодное зеленоватое выше, а еще выше — голубое и тоже холодное. Кончилось осеннее ненастье.

Завтра жди первый утренник, первый морозец!

Черная вода реки в золотых, зеленых и голубых полосах. Но вскоре всё меркнет, тускнеет — солнце село, и ночь торопится обнять лесной край.

Монотонно журчит вода за бортами пассажирского парохода. Уже горят бортовые сигнальные огни — злой, настороженный красный на левом крыле капитанского мостика и мирный, уютный зеленый — на правом.

Всё затихло, примолкло. Пассажиры разбрелись по теплым уголкам. На верхней палубе только несколько человек из тех, кто любит вечерней зарей, но, любясь, молчат, думая о чем-то своем, затаенном.

— Никак в городе пожар! Дым встал! — говорит кто-то.

Все поворачиваются в сторону города — туда идет пароход. До города еще три часа хода.

— Нет, на пожар не похоже, — замечает пожилой пассажир. — В лесу, может, что горит?

— Нет, в городе! — упрямится тот, кто первым за метил дым.

— Ну, может быть, заводской дым.

— Заводской — не такой, тот столбами. А тут — черная туча!

Подходят еще пассажиры. Но тут, ко всеобщему удивлению, туча исчезает.

— Что такое? — слышатся голоса. — Нет, нет, смотрите — опять туча поднялась. Батюшки! Да это не дым, это скворцы!

— Верно, скворцы! — хором подтверждают остальные. — На юг полетели...

Теперь всем хорошо видно, что это огромнейшая стая скворцов. Она то сжимается и кажется черной гучкой, то, словно по команде, расходится всё шире и шире, черной сетью висит на лимонном фоне заката. И опять, как по команде, сжимается черным облачком, уносится куда-то в сторону.

— Сколько их тут? Миллионы! — говорят пассажиры. — Не иначе как с трех областей — с нашей и соседних сговорились в отлет вместе направиться.

— Ну и птица, ну и скворцы! — восторгается кто-то. — Вон, вон — опять развернулись по-походному — от края до края всё небо облегли.

— Ну и дисциплина у них!

— Хорошая птица! Радостная такая! Всегда в хлопотах, в заботах, а как минутка свободная — сидит у скворешника, крылышками потряхивает и поет. Ага, ага! — опять в разворот пошли, на правое крыло!

Пароход гудит властно и величаво. Шум воды за бортами смолкает — судно подходит к маленькой пристани. А за пристанью, над полями и лесами уже встает молчаливая осенняя ночь. Где-то проведут ее скворцы?

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОЛСТОШУБОГО



В О всем виноваты сороки — это они наболтали молодому барсуку о том, что там за болотом — чудесный край, дремучие ельники, а еды всякой невпроворот. И житье там — мирное, спокойное!

Барсук — зверь недоверчивый, но молодости свойственно обманываться. А сороки трещали всё убедительнее:

— Чего ты сидишь тут, Толстошубый? Горушка вся вашими, барсучьими норами изрыта, тебе места для жилья не остается. Шел бы на новые места, туда, куда мы советуем. Хорошо там!

Вот трещат, вот повертываются на старой ели. И Толстошубый, вздохнув, решил искать новые места.

У зверей это просто — выкормили тебя, на ноги поставили, научили, как еду добывать, и, пожалуйста, уходи из родной норы, заводи свою, живи своим умом. Толстошубому так или иначе надо было уходить. И ушел вечером, когда осенняя ночь пала на лесные чащи. Мутный месяц светил только вершинам деревьев да разве еще полянам, а внизу, под ветвями, было темно-темно, пахло свежими, только что опавшими листьями, сырой, холодеющей землей, сохнувшими травами и лягушками...

Да, да, лягушками! Для людей лягушки ничем

не пахнут, разве водой, а вот барсук знает лягушиный аппетитный запах. И прежде чем лягушка сообразит, что ей спастись надо, — она уже на зубах барсука. Да и так не ускачешь — барсук догонит.

Многим вкусным пахло от земли — и червями, и мышами, и жуками. Брел Толстошубый к болоту, раздумывал о том дремучем лесе, что там, впереди, а нос сам зверя к находкам вел.

Сова метнулась над барсуком. Крикнула по-своему:

— Куда бредешь, Толстошубый?

Смолчал барсук. Не любитель он разговаривать. Молчать куда полезнее! И не осудят за болтовню, и слышно, что вокруг тебя делается.

Пухлые тучи заволокли луну. А потом из туч: «кап, кап, кап». Первый осенний затяжной дождичек...

В лесу еще сильнее запахло разным. Вот брусничники в кроваво-красных гроздьях ягод. Толстошубый пожевал и их. Вот черничники — ягоды еще есть, но водянистые. Так, разве от великого голода их сейчас и есть. А вот и толокнянка по бору растет. Это ягода сытная. Только возни с ней много, пока вдоволь наешься...

Запахло болотом. Вот и оно — плоское, серо-зеленое в раннем рассвете. Кое-где чахлые сосенки и стволы у них черные снизу, в иных местах карликовая скучная березка — дерево не дерево, трава не трава, а так что-то непонятное, что себя березкой называет.

Толстошубый зашлепал по болоту. Уж раз решено вперед идти, так не оставаться же на старом месте. Может, сороки и не врут, может, там за болотом...

В самом болоте лягушек достаточно. И клюквы. Все кочки в красном, будто пробегал тут раненный охотником лось и истекал кровью...

Шлёп, шлёп, шлёп! — плюхал Толстошубый между кочек. Ничего интересного. Стайку белых куропаток потревожил. Они в эту пору года еще не белые, а рыжие. Заорали на всё болото, зашумели крыльями, разлетелись в разные стороны, запали между кочек — будто нет их. Только сам отец-куропатка сел на кривую березку и долго следил за Толстошубым — куда он идет, что ему надо здесь среди кочек? А успокоившись, слетел на землю и повел всю свою семью на брусничники.

Шлёп, шлёп, шлёп! Ой, большое болото! Трудно Толстошубому одолевать его. Сорокам что — подскочили да и полетели, смотришь, на том берегу. А пешком скоро ли? И шуба промокла. А, может, у болота и конца нет? Ну, коли так — вернусь вечером и сорокам длинные хвосты повыдергиваю! — вот что думал Толстошубый.

Рассвело. Поспать Толстошубому пора. А где ляжешь? Кочки сосенками и березками заняты, между кочек вода. А дождь сыплется, сыплется. Не вернуться ли?

Упрямя Толстошубый. Впрочем, сомневаться стал — есть ли у болота конец? Увидел ворону — долбила она на кочке какую-то прокисшую дрянь, хрюкнул ей по-своему:

— Далеко ли, тетка, до того берега болота?

— Меньше половины осталось! — ответила ворона, не поднимая головы от своей добычи. Потом удивилась — кто это ее окликнул? Стала оглядываться — не видит никого, барсук-то уже за кочками.

— Прислышалось, наверно, мне, — подумала ворона и снова занялась своим делом.

Снизу вода, сверху вода. Серо. Сыро. Скучно. И ворочаться смысла нет. Те же сороки дома засмеют: «трус, трус!». Нет, надо вперед шлепать.

Дошлепал-таки до сухого берега. Нашел вывороченную ветром елку, забрался под нее, шубу высушил и сам выпался до отвала. Да и пора — были бы у барсука часы, сказали бы они ему, что полдень.

Ночью Толстошубый понял, что вдали сороки. Бесстыдно вдали! Верно, место сухое, а лес где? Нет леса! Так — ольховые кустики, кое-где елка или сосна, кое-где березнички. И спрятаться в случае чего некуда — поляна за поляной. Да какие-то особенные — травы на них почти нет, вся земля разодрана, пластами повернута, травой книзу.

Никогда Толстошубый пашни не видывал. Бредет, удивляется. Трудно по пашне короткононому зверю идти.

— Ой, скоро ли настоящий лес? — вздыхал Толстошубый и брел, брел вперед, подбирая то вялого от дождя жука, то земляного червя. Где-то уголок леса попался с брусничником. Пожевал Толстошубый ягодок — веселее стало.

Выбрался на бугорок. Осмотрелся. Ага, вот он, лес — впереди! Синий до черноты. Наверно, там ели и сосны вгустую стоят. Скорей туда!

Прибавил Толстошубый шагу. Переплыл какую-то узкую речку не речку, ручей не ручей, маленький, но глубокий, с крутыми берегами.

Откуда же Толстошубому знать, что это придорожная канава?

А по дороге барсуку идти понравилось. Земля плотная, ровная. Только пахнет от нее скверно — чем-то едим, резким, от чего першит в горле и слезы выжимаются из глаз.

Вправо — канава, влево — канава. Сверху дождь. Шлепает барсук по большой дороге.

Вдруг сзади: — тррррр! тррррр! Бум, бум, бум!

Оглянулся барсук. Что это такое? Бежит за ним

зверь — больше медведя. Зеленый. Лапы толстые, серые, круглые. Не перебирает ими зверь. Странные лапы! Катятся по земле, разбрызгивая грязь по сторонам.

Помчался Толстошубый быстрее, чем напуганный заяц. А зверь — вот-вот его схватит!

Вбежал Толстошубый... в село. Собаки на него, мальчишки за ним... Никогда такого не видывал молодой барсук. Ой, скорей бы родная нора! Да где она — за болотом! Проклятые сороки наврали!

Одним глазком заметил Толстошубый: нора, и — к ней. А это и не нора, просто лаз в погреб. Но не успел Толстошубый шмыгнуть в него. Упало на зверя что-то толстое, темное, мягкое, пахнущее тем же, чем и дорога — бензином.

* * *

У большой корзины, куда посадили Толстошубого, толпился народ. Шофер возбужденно рассказывал:

— Смотрю — бежит по дороге что-то серое. Что такое? Заяц? Нет, тот бы давно канаву перескочил и в поле. Волк? Мал для волка. Барсук! Бежит и с дороги не сворачивает, канав боится. Я — газу! Он тоже ходу прибавил и вбегает на улицу. Заносился, заметался от дома к дому. Я с машины, фуфайку с себя долой, накрыл ею зверя. И, скажи на милость, прямо у конторы «Заготсырье» мне попался, будто нарочно пришел свою шубу на мех сдавать!

— Счастье твое! — завидовали иные. — Что же ты теперь с ним делать будешь? Убить его надо, шкуру снять, сала натопить. Сало барсучиное полезное. Сапоги им смазывать можно.

— Дяденька, а что он ест? А хлеб есть будет? — спрашивали ребяташки.

И подкладывали прямо к розовому барсучиному носу корки ржаного хлеба, куски булки. Одна девочка даже конфетку Толстошубому дала. Но зверь отворачивался от даров. До того ли ему было!

— Не вяжитесь к зверю, ребятки, — прикрикнул на них шофер. — Он культурной пищи не понимает. Ему бы жуков, лягушек или уж не знаю чего бы.

— Мы сейчас принесем ему! — ринулись ребяташки на улицу.

— Убей ты этого зверя, — советовал директор конторы шоферу, — шкуруними, высуши на пяле и нам сдай.

— Нет, Николай Петрович, — возразил шофер. — Зачем зверя убивать? И шкура его, вдобавок, дешевая. А зря — пышная у него шуба! Вы лучше в область позвоните своему начальству, может, они живьем барсука примут. Для зоосада. В Москву, Ленинград или еще куда-нибудь. Так интереснее.

— Возня, братец ты мой, с этим делом! — вздохнул заведующий. — Звонить туда надо, потом в случае чего клетку делать, на аэродром везти. А вдруг зверь подойдет? Отвечать надо.

Тут дверь в кабинет приоткрылась, и показались ребятаки — собрались они чуть не со всего села.

— Мы лягушек принесли! Вон сколько! — заявляли они. — Надо барсука покормить!

— Вон, вон отсюда! — кричал заведующий и даже толстой книгой за своим столом отгородился от ребятчих рук — в каждой дрыгала ногами лягушка. — И барсука уносите, и сами уходите! Ладно, ладно, позвоню в область! Только уходите!

А Толстошубый лежал в корзинке и не подозревал, какая судьба ему готовится. Тоскливо было зверю. В неволю попался! А всё сороки!

И скоро Толстошубый очутился в большой дере-

вянной клетке, в которой зимой держали кур. Клетку вынесли со зверем на двор, сенца в нее положили, хлеба, воды в банке, лягушек напустили. Но Толстошубый ото всего отворачивался. Пойдет ли еда на ум, когда шум и крик кругом!

Пришла ночь — любимое время барсуков. Ребятишки разбрелись по домам, шофер с семьей спать улегся. А Толстошубый той порою клетку обследовал и начал осторожненько перегрызать ее перекладины. Одна, другая — и протискался Толстошубый в дыру. Но до полной воли было еще далеко. Двор окружен забором, ворота на запоре.

Вот тут-то и пригодилось Толстошубому его уменье норы копать. Землекоп он был прирожденный. Только земля в стороны полетела, как взялся барсук за работу.

Вылез на улицу, обнюхал забор, кустики и трусцой, трусцой по улице. Дождичек моросил, все собаки-лодыри по конурам спали. Повезло Толстошубому.

К утру добрался он до настоящего леса. Устроился под кучей сухого валежника. И только глаза закрыл — слышит сорочий стрекот.

Приоткрыл глаза Толстошубый, видит, три сороки трещат, смеются по-своему. Не над барсуковыми ли несчастными приключениями? Ну, так и есть!

Не заметили сороки барсука под валежником. А он встал и тихонько, тихонько к ним. Цап, лапами и зубами! Успел-таки одну за хвост поймать. Да разве птицу за хвост удержишь? Заорала сорока, рванулась и понеслась по воздуху. Без хвоста!

А Толстошубый улегся под валежником на теплое местечко и, выплевывая изо рта сорочьи перья, угрюмо проворчал:

— Тррррещотки! Вруши!



«ИВАН ПЕТРОВИЧ ПРИЕХАЛ!»

РАНЫШЕ всех встает пилостав Макаров. Чуть свет, а из палатки уже доносится повизгиванье напильника, из-за приоткрытого полотнища входа тянется махорочный дымок. Макаров успевает и пилы наточить, развесит, и рыбки на зорьке поудить. Он же будит и кухарку Афросиньюшку — женщину полную и любительницу поспать.

Идет Афросиньюшка к реке и моется по-своему — плеснет на лицо водой и задумается о чем-то. Плеснет опять и задумается. Потом спохватится:

— Ох, батюшки! Сейчас лесорубы поднимутся, а у меня на кухне и огонь не разожжен, не успеть чаю согреть, завтрак сварить!

И заторопится к кухне. Да какая там кухня! Четыре столба, над ними крыша из елового корья, между ними — самобитная печка да стол кой из чего.

Впрочем, лучшего строить и не приходится. Лесорубы пришли сюда на месяц, от силы на два. Рубка выборочная, сортовая. Вот почему живут они, все двенадцать человек в большой палатке. Афросиньюшке особо что-то вроде землянки устроено.

Кипит варево в закопченном котле, булькает кипяток в медном баке. Казалось бы, дым, жарко, но комарам это нипочем — липнут к кухарке, ноют, лес-

ные, злые. Попадется такой под палец — противно лопнет, как пустой пузырь.

— Ироды, кровососы, паразиты! — замахивается кухарка полотенцем на неугомонных комаров. И спешит заваривать побольше клюквенного киселя. На него у лесорубов большой спрос в летнюю жару. А вот старику Макарову солененького надо приготовить.

Отмывает Афросиньюшка в теплой воде большущую треску, идет вылить соленую воду к лесу, за кусты. Раздвигает росистый олешник и обмирает:

— Когда же это Иван Петрович приехал? Неужто вечером? Либо когда я спала? Верно в палатке он сидит. А лошадь-то не на привязи ходит.

Торопится Афросиньюшка к палатке. Махорочный дым валит из входа всё гуще — Макарыч свою работу заканчивает. Поднимает кухарка брезентовое полотно и шёпотком:

— Иван Петрович приехал, что ли?

— Иван Петрович? Нет, не приезжал. А что?

— Вижу — за кустами лошадь его, чалая такая. Знаю я лошадь. «Зорькой» кличут. Такой вроде не пойми какой масти. Может, колхозная забрела? Да ведь колхоз отсюда неблизко. А я-то думала: Иван Петрович на седле приехал. Надо потребовать, чтобы клюквенного экстракту да сахару, да крахмалу завезли, а то не успеваю кисель варить. И лаврового листу надо да еще кой-чего.

— Треска и селедки еще есть?

— На тебя хватит. Остальные — молодежь, им бы сладкого да кисленького.

— Ты тоже от киселя не прочь. Ведро молодым варишь, ведро себе. Ишь, как раздуло тебя от киселя!

— Какой тут кисель! Комары заели. Сколько время-то? Не пора ребят поднимать? А то Иван Петрович скажет: просыпают рабочее время.

— Да где он, Иван-то Петрович? Нет никого!

— Я думала в палатке спит...

— Привиделась тебе его чалая лошадь. Дай-ко отварной трески порцию — у меня для ребят инструмент налажен. Схожу на реку.

Что скажешь? На второе утро опять видит Афросиньюшка лошадь Ивана Петровича за ольховыми кустами. Опять в палатку к Макарову.

— Не святки, а чудится! — ворчит старик, бросая обстругивать топорнице. — Покажи-ка, какая там чалая лошадь бродит?

А взглянув из-за кустов туда, где бродит лошадь, приседает, грозит Афросиньюшке пальцем:

— Тише! Это лось! Молодой! А ты — лошадь, лошадь, Иван Петрович приехал! Землю лижет. Вон оно что! Ты соленое там не выливаешь?

— Как же! И помои какие, и суп останется, и воду соленую с трески...

— Вот лось на соленое и ходит. Ты молчи, не говори ребятам, а то спугнут. Ты еще вот что: уйдут все на работу — на то место килограмма два соли сыпни. Лось, что корова — соленое уважает.

Долго любят зверем. Потом Афросиньюшка вспоминает, что у ней вот-вот кисель из котла выбежит — будет попреков! Ковыляет к кухне, цепляется ногой за корень и шумно валится на грудь валежника.

— Ой, чтоб тебя! — стонет она, поднимаясь. — Руку оцарапала!

Макаров зло грозит ей кулаком, шипит:

— Кувалда стопудовая, картофельные ноги! Спугнешь зверя!

И опять смотрит за кусты. Лось слышит глухие человеческие голоса, поднимает ушастую голову, настораживается. Потом опять начинает лизать землю.

Дребезжащий звон проносится над берегом реки.

Это Афросиньюшка ударом палки о старый бачок, подвешенный к суку, будит лесорубов.

Лось снова поднимает голову, прислушивается. Афросиньюшка старается вовсю. Лось, неслышно ступая, исчезает в еловой чаще.

Иван Петрович приезжает на другой день. Верхом, на чалой «Зорьке». Все еще спят, дымится костер под котлами, но ни кухарки, ни пилостава на своих обычных местах нет. Иван Петрович недовольно хмурится, щелкает крышкой стареньких серебряных часов, поглядывает на небо. Поднимать людей еще рано. Он привязывает «Зорьку» к березке, садится на пень, закуривает, позевывая, равнодушно осматривает давным-давно знакомые ему берега порожистой речки.

Потом он замечает в ольховых кустах синий платок кухарки и тяжело идет туда. Рядом с кухаркой Макаров. Старик показывает Ивану Петровичу на что-то интересное за кустами.

— На лося полюбуйся, начальник! — хрипит он. — На соленое привадили!

И все трое, не шевелясь, смотрят на лесного кра-савца, усердно лижущего просоленную землю.

А когда рабочие завтракают, Иван Петрович говорит Макарову:

— Тут рубку кончаем. Завтра лагерю конец. Конец вашей даче! Лодки пришлю за людьми, имуществом. Опять на основные лесосеки перейдете.

— А лось? — спрашивает Макаров и спохватывается, — причем тут лось?

Но Иван Петрович, подумав, отвечает, не удивившись вопросу:

— Лось с собой не возьмем. Это понятно. А пусть Афросиньюшка там, за кустами, с пуд соли высыплет, да с землей перемешает. Лось в подарок!



ИСПОРЧЕННАЯ СКАЗКА

ЧТО такое там, на болоте, у ягодниц случилось? — думал я, продираясь еловой чащей на возбужденные женские голоса. — Медведя что ли встретили?

Заметив меня, ягодницы смолкли, но не разошлись, ждали, когда я подойду.

— Здравствуйте, брусничные души! — поздоровался я с ними. — А не пора ли вам и домой? Солнце-то низенько, а у вас в корзинах полненько.

— Да вот и собираемся, — ответила мне Анна Петровна. Судя по платку, сброшенному с головы на плечи, рукам, подпертым в бока, она и была главным дирижером женского хора. Так оно и оказалось.

— Вот, охотник, бродишь ты по лесам, а такого дива не видывал, наверно, как мы сейчас видели!

— А что вы такое видели? Синего медведя или белую лису?

— Погоди, погоди, не смейся. Вот, послушай! Брожу я от кочки к кочке — такая брусника хорошая, век бы ее собирал! Одну кочку оберешь, глянешь на соседнюю, а там ягоды еще лучше, крупнее. Приметила я еще издали одну кочечку, березка кривенькая на ней, вон та самая. Вся-то кочка от ягод красная. Стала я к кочке подходить, а перед мной птичка ка-

кая-то серенькая, так и летает, так и кричит, вот-вот мне в руки попадется. Смекаю — от кочки меня за чем-то отводит. Мне птичка без надобности, мне ягоды интересны, такие крупные, кистями висят. Да. Только хотела я к кочке наклониться — так меня и жаром, и холодом обдало. Лежит кольцом посреди ягод змея. Гадюка! Серая. Вот такая...

И рассказчица широко развела руки, совсем так, как удильщики показывают величину упущенной щуки.

— Так, говорю, меня и кипятком, и льдом обдало! Остолбенела я. И слова не сказать, дыханье перехватило. А она, змея, головкой поводит, а изо рта у ней жало черное, так и виляет. Шипит, шипит гадюка! Кой-как я взад пятки, взад пятки. Отошла, в себя вздохнула, полегче стало, как заору! Бабы со всего болота ко мне. Ну, думаю, спасибо птичке! Это она меня от змеи отводила, меня жалела!

— Вот какие чудеса бывают! А говорят, чудес нет! — протамкала бабка Анисья.

— Диво, бабы, диво! — подхватила тетка Серафима. — Истинное чудо!

— Жигнула бы тебя, Аннушка, гадюка — проболела бы ты какое время, а то и померла бы. Ай да птичка!

И опять зашумели хором. Посыпались рассказы об укушенных змеями...

Закурил я, подумал, и когда разговор поутих, говорю:

— Давайте-ко домой. Не жадничайте на ягоды — и завтра придете. В этом болоте брусники на всю область хватит да и соседней дадим. И выведу я вас отсюда самой короткой тропой, через Тимошины гари. Ну, а насчет чудесной птички — так чуда тут никакого нет. Птичка не о тебе, Анна Петровна, заботи-

лась, не о твоём спасении от змеи, а просто тебя хотела от своего гнезда отвести. От птенцов.

— Скажешь, тоже!

— И скажу!

— Так ведь август! Какие же теперь у птичек гнезда с птенчиками?

— Всё может быть. Иные птички по два выводка успевают за лето вывести. Взять хотя бы скворцов. А может быть, разорил кто-либо первую кладку яиц, пришлось ей вторую класть, позднее других высидеть...

— Нет, тут случай особый, — не сдавалась Анна Петровна.

— Слушайте-ко его, безбожника! — рассердилась бабка Анисья.

— Ну, пройдемте к той кочке, где змея лежала, а может и теперь лежит. Поищем птичкино гнездо.

Нехотя пошли за мной. Змеи не нашли, видимо, на ночлег под кочку отправилась. А гнездышко с птенцами тут как тут, на березке, в развилке сучков. Лежат птенчики, попискивают.

И птички на ту пору не видели — пережидала она, наверно, когда люди от гнезда отойдут. Мы и отошли...

Повел я женщин тропой через Тимошины гари. И всю дорогу мои ягдницы о разных вещах речи вели, а о чудесной птичке и не вспомнили.

Только бабка Анисья плелась за всеми и ворчала, ворчала...



БРОДЯГА И КОСОЙ

ЭТОТ черный, с белым пятном на упрямом лбу, бычок по колхозным книгам называется «Азартом». Но телятница Михайловна кличет его «Бродягой». И она по-своему права — все телята, как телята, пасутся смиреннько на своем лужке, в жаркую пору дня лежат, отдыхают, а под вечер смиренно идут домой, в телятник. Но Бродяга ухитряется еще до вечера скрыться и обязательно отправится в самостоятельный поход по лесным опушкам. Молод и глуп — о волках ничего пока не знает.

Приходится Михайловне дотемна его искать и поучать хворостиной.

А попался все-таки Бродяга в беду. Искала его Михайловна и день, и два и — в колхозное правление:

— Моя голова с плеч! Пропал Бродяга! Помогите хоть косточки его найти!

Собралось нас человек десять, пошли окрайкой поля, к лесу. Бродяга чаще всего туда удирал.

Вдруг кричит кто-то:

— Нашел! Здесь он! Давайте все сюда! Мне одному ничего не сделать!

Оказывается, Бродяга свалился в старую яму, в которой зимой картофель хранят. Много тут ям и все неглубокие, а Бродяге повезло — в самую капиталь-

ную свалился. Жив и здоров, хвостом крутит, будто он для собственного удовольствия сюда сверзился.

Это — одно удивление, а второе, пуще того — в яме заяц сидит. Здоровущий русак! Видно, от лисицы бежал, спасался и влопался из-за своих косых глаз в яму. Нечего сказать — хорошая компания.

Петька, Михайловны сынишка, говорит:

— Бродягу я нашел, догадался в ямы посмотреть. И зайца я нашел. Это мне премия! Вот я сейчас в яму спрыгну, веревкой Бродягу под грудь подвяжу, вы его наверх вытащите. А потом косым займусь — тут я один справлюсь. Мамка завтра зайчатины нажарит большую сковородку.

Веревка у нас с собой, вожжи. Это уж так полагается — вдруг бычок в болоте бы завяз. Как же тут без веревки?

Спрыгнул Петька в яму, бычка по спине похлопал...

А заяц прыг — на бычкову спину, с бычка — на Петькину умную головушку, с головы — на край ямы...

Мы руки пошире расставили, разохались. Да поздно — только и видели, как мелькнул в кустах заячий хвостик.

Вытащили Бродягу, потом Петьке помогли выбраться. Он сердится:

— Тоже — мужики! Не могли косога удержать!

— Петенька, — говорим мы ему. — Заяц-то тебе в премию был, а мы за чужим не гонимся. Надо бы тебе самому крепче свою премию за уши держать!



ПОЧТАЛЬОН С ХВОСТОМ

У НАС почтальоном в поселке — Зоя, тихая девушка. Особенно она собак боится. В дома, где собаки есть, она старается не заходить, а стучит в окно и передает хозяевам почту — письма, газеты, журналы...

Попросила меня соседка Мария Ивановна помочь ей зимние рамы вставить — давно уже заглодало, вот-вот снег посыплется. Рамы вставить дело нехитрое, но Мария Ивановна любит между рам красиво устроить, чтобы не скучно было, когда поглядишь зимой в окно. Устилает она подоконник между рамами самой белой ватой, веточку рябинки с ягодами положит, настрижет помельче «серебряной» бумаги, той самой, в какую чай завертывают или дорогие конфеты, и усыплет этой резкой вату. Блестит вата, как снег, серебряными искрами, и рябина на белом радостно рдеет.

Зоя в оконце постучалась. А окно уже в двух рамах. Пришлось Марии Ивановне на своего рыжего Бобика прикрикнуть, самой на улицу выйти.

— Ты, Зоюшка, моего пса не бойся! — говорит она почтальону. — Он только громко лает, а зубов у него и нет. Такой же старый, как и я, разве чуть-чуть помоложе. Цыц, Бобик, не лай на Зою! Видишь, все понял, хвост поджал!

— Нет уж, лучше я в оконце постучу, — ответила Зоя. — А вы услышите и ко мне выйдете.

На другой день и снег выпал. Сидит Мария Ивановна дома, письма от дочки ожидает. Вдруг: стук, стук в окно!

— Сейчас, сейчас выйду! — кричит Мария Ивановна и бегом на улицу. А под окном никого нет. И не было. Следов на снегу не видно.

— Прислышалось мне! — думает Мария Ивановна и садится за вязанье. Только спицы взяла — в окно: стук, стук, стук!

Опять старушка на улицу. И опять никого.

— Что такое? В чудеса не верю, а тут вроде чудес!

Да так еще несколько раз выбегала Мария Ивановна на стук. Рассердилась, ухват взяла, села у окна, караулит — попадет стукальщику!

Ждала, ждала, даже вздремнула. И вот — мелькнуло за стеклом что-то черное. Пригляделась Мария Ивановна — батюшки! Да это сорока долгохвостая!

Вцепилась лукавая птица лапками в нижний край рамы, косится на ягоды, на серебряные блески и — стук, стук, стук по стеклу!

— Ну, матушка, я не маленькая каждые пять минут на улицу бегать! — говорит Мария Ивановна. Но все-таки выбежала с ухватом. А сорока — на старую березу. Вертит хвостом.

По улице Зоя идет, в руке письмо:

— Вам, Мария Ивановна! От дочки. А почему вы без платка на голове? Холодно!

— Разгорячилась я, Зоинька! Вон за долгохвостой стукальщицей гоняюсь.

Тут и я к ним подошел. И решили мы втроем, что сорока или ягод рябины поклевать прицеливалась, либо охота ей было серебряную бумажку украсть. Любят сороки блестящее, за то их воровками и зовут.

— Что же мне делать? — спрашивает Мария Ивановна. — Путаница будет: сорока в стекло постучит — я подумаю мне письмо принесли, Зоя постучится — я на сороку подумаю. Путаница!

Ничего. Путаницы не получилось. В ту же ночь мороз окна у бабушки в дому такими узорами изукрашил, что не стало видно сороке ни ягод, ни блесток.

А Зоя теперь в дом к Марии Ивановне смело идет. Бобика не боится. Он же старый. Только лает громко, а не кусается.



ЗОЛОТОЙ ДОЖДЬ

СОЛНЦЕ закатывается. Вершины елей — в огненном теплом золоте. А внизу, в лесу, — голубоватый радостный и немножко задумчивый повесеннему сумрак, какой бывает только в конце марта или начале апреля, тихими ясными вечерами.

Я вышел на поляну. Еловая чаща за ней редела, лучи солнца свободно лились между бурых, почти до черноты, шершавых еловых стволов.

Синие, алые, желтые огни вспыхивали на твердом, занастившемся снегу. И я остановился, удивленный. Мерцали, падали впереди меня, среди елей, капельки золотого дождя.

Но откуда он? Небо над лесом бледно-голубое, нежно зеленеющее к западу. Ни одной тучки на нем.

Станный слабый шорох. Какое-то робкое потрескивание...

Золотая капелька опустилась на рукав моей одежды, тускло сверкнула и померкла. Я осторожно взял ее. Это семечко ели — бурый крохотный орешек с прозрачным золотистым крылышком-хвостиком. Оно похоже на крылышко стрекозы.

Это они, еловые семечки, высыпаются из шишек на самом верху елей-старух. Слабый ветерок уносит

их, и летят они на своих крылышках, а как только попадут в луч солнца — вспыхивают яркими золотистыми искрами.

Только один миг сверкнуть в солнечном луче и упасть на землю, погаснуть, но как радостен, торжественен этот миг!

Чуть потрескивают еловые шишки, выбрасывая семечки. И это потрескивание сливается в неясный лесной шёпот.

Ложатся крылатые семечки на снежный наст. Скоро растают снега. И тогда прижмутся семечки к теплой влажной земле, прорастут, станут тоненькими елочками.

А пройдут года, и елочки эти, став мощными разлапистыми елями, вот в такой же тихий вечерний час будут засеивать родную землю золотым дождем, чтобы вновь шумели леса на радость всему живому.

Через многие года привет тому, кто, как и я сегодня, будет видеть золотой дождь!



«БУДЕТ ВЕСНА, БУДЕТ, БУДЕТ!»

МОРОЗНЫЕ утренники подсушили траву, и она ломко шуршит под моими ногами. Да и лес почти весь потерял листву — только кое-где на отдельных осинках горит она золотым и красным огнем.

Медленно разгорается заря. Вода в озере кажется особо черной и тяжелой.

Останавливаюсь. Прислушиваюсь. Что такое? Что это булькает, переливается? Неужели есть еще ручейки, которые не сковал мороз?

Нет, это не ручеек переливается с камня на камень. Это по-вешнему поет-заливается своей свадебной песней тетерев-польник.

Что ему эта холодная безмолвная заря? Он сидит на старой березе и бормочет, булькает, чуфыкает.

Эх, тетерев, тетерев! Обманулся ты. Ну, пусть заря, пусть утренник... Но ведь это же не весна! Зачем петь сейчас, побереги себя к настоящей весне!

Нет. Поет! Поет, повернувшись грудью к восходящему солнцу. И кажется мне, что по-своему, по-тетеревиному выговаривает он торопливо:

— Будет весна, будет, будет!

Будет, певец! Правда, придется-таки обождать ее. Но все же она будет!



ВСТРЕЧНЫЕ И ПОПУТЧИКИ

ВОЗВРАЩАЕМСЯ с рыбалки, с блеснами. Конец апреля.

День солнечный, но чуть набежит на солнце тучка и сразу похолодает, потянет с севера ледяным ветерком. А пора бы и настоящему вешнему теплу быть! Мало еще проталин в лесу, только разве на вырубках, на полянках.

— Федор Иванович, — спрашиваю я своего товарища, — как по-твоему, скоро ли погода по-настоящему потеплеет?

Он задумчиво посматривает на небо, на проталины:

— Сейчас ответ дам! Видишь муравейник, мураши копошатся, вылезли после зимы на солнышко? Вот они нам погоду на эти дни и предскажут!

Он выламывает небольшую березовую веточку, вставляет ее в вершину муравейника и присаживается на корточки:

— Вот смотри, что мураши делать будут. Ежели по веточке до самого верха добегут, — быть в этих сутках теплу. А коли только по ветке приподнимутся да назад, на муравейник, — еще с неделю знобко будет.

Действительно, муравьи бойко взбегают на основные веточки. Но дальше им словно что-то мешает бе-

жать. Постоит, постоит муравей на половине дороги и опять вниз, на живое тепло муравейника.

— Вот и всё, — говорит Федор Иванович, поднимаясь. — Старинный это барометр. Я так думаю — муравей теплый воздух любит, а на сучке он чувствует, что нет тепла высоко над землей, только снизу парок идет. А в летнюю пору муравей до самой вершины иной березы заберется. Это я сам видывал!

★ ★ ★

С ведерком лесной малины у дорожной колеи стоит старик — сухой, бритый, в очках. Задумчиво шевелит костыльком черную плеть змеи, раздавленной колесом автомашины.

Вежливо, по-старомодному приподнимает с поклоном свою кепку. И начинает, словно мы с ним не случайные встречные, а давнишние знакомые:

— Стою вот, думаю — неприятное создание, противное! А и ему жить хотелось. А тут колесом — раз и готово!

— Короткая смерть!

— Чего короче! Раз, говорю, и готово! Живет — мышей ловит, лягушек. Сам однажды видел, как змея лягушку заглатывала. Ужас! Даже сейчас мороз по коже — до чего противно вспоминать. А все-таки в старое время говорили, что без змей не обойтись.

— Как это понять?

— А так. Есть у змей ядовитые зубы. А яд где она возьмет? Из растений, из цветов. Есть цветы от природы полезные, с медом там или лекарственные. А есть ядовитые. Вредные. Так вот, говорили раньше, змеи ползают по утренним зорям по некошенным лугам и сосут яд из цветов. Змеям это нужно, а цветы полезными становятся. Взаимная польза! Я мальчиш-

кой был, всё хотелось мне подсмотреть: как это змеи по лугам ползают, яд высасывают. Несколько раз до солнышка поднимался, на речной берег уходил. Прилягу на лугу и смотрю, смотрю — не замечу ли как змеиные головы над травами качаются...

— Заметили?

— Нет! Ничего не заметил! Ничего! Да, ведь сказка это, пожалуй! Вам в Крохино? Ну, а мне в Ухтому. Всего приятного!

И зашагал своим путем сухой, жилистый, легкий на ногу...

* * *

— Пойдем вместе, веселее идти с разговорами! Далеко ли? Ну, и я туда же правлюсь.

Он коренаст, немолод, но седых волос ни в бороде, ни на голове не видно. За плечом ружьишко, на руке корзина с чем-то.

— Контрольную белку сейчас отстрелил, — продолжает он. — Крепко уже посивела, недельки через три можно и за промысел браться. Кобелька нонче вырастил, второй год ему, а хорошо белку ищет. Вот и взял его с собой для практики. Кстати вырастил, нонче беличий год, елка урожаем шишки богата. Ага! Лает? Нашел? Молодец, Пират! Надо к нему забегать, к белке!

— Что же, идите! Я тороплюсь, а вы с белкой задержитесь!

— Не задержусь! Я же говорю: контрольную добыл, для проверки — скоро ли вылиняет. А кобеля от белки, на которую лает, отвести надо, а то до вечера на нее пролает. Завернем в лес на минутку да и опять на дорогу.

Мы подходим к еловой чаще. Черный, с белой грудью, с лихо закрученным хвостом Пират, завидя

хозяина, с особым старанием лает на ёлку, от усердия даже еловую кору зубами дерёт.

— Молодец, Пират, молодец! Только не волнуйся, не сердись! Сиди тихонечко и полаивай! Ты сердись, когда на медведя выйдешь! Там уже тихонько никак нельзя!

Мой спутник достал из корзины недавно убитую им белку. Она почти совсем серая — близится зима. На усах белки застыли капельки крови.

— Вот так, вот так! Молодец, Пират, молодец! — бормочет охотник и, выждав момент, ловко швыряет белку в вершину елки. Цепляясь за сучки, она падает вниз, и Пират набрасывается на нее — попалась, мол, пышнохвостая!

— Отдай! — командует охотник собаке. — Вот так, молодец! Видишь, белку опять с тобой добыли. Старайся, ищи, ищи!

Кладет белку в корзину, под тряпицу и подмигивает мне:

— Собачье дело простодушное. Раз белка с ели упала, значит, лаять на дерево больше нечего, надо другую искать. Видишь — побежал, нюхает, ищет. Ну, пошли на дорогу. Приходится кобелька обманывать. А так что ж — либо каждую белку убивать надо, а еще не пора, либо собаку с собой в дорогу не брать. Тоже нельзя. Кобелю практика нужна! Вот мы с ним без задержки до своей деревни и дойдем — он доволен, и я.

* * *

«Моя специальность хорошая — пастух! С этой специальностью нигде не пропадешь! Конечно, не всю жизнь я этим занимался — смолоду пас, да под старость опять, когда семью вырастил. А теперь в свою деревню возвращаюсь. Да. Дочка у меня агроном,

в Молдавии работает, пишет: «Приезжай ко мне, поживи. Понравится — с мамой оба переезжайте. И климат теплый, и всякие фрукты, овощи есть, и виноград. И вино виноградное, и всё прочее, чего на севере не скоро увидите». Ладно, думаю, съезжу, посмотрю райские места! Посмотрел, как же! Нет, не по мне тамошняя жизнь, не по мне! Кабы смолоду — привык, может быть, а под старость нельзя свой намест менять. Нет, нельзя! Первое дело — жара там несусветная. Да разве это дело — зимы нет? Так, падёт снежок и растает, только грязь разведет да какую грязь-то — от ног не отодрать! Летом — жара, говорю, пыль, сухо. Вода какая-то не наша — пьешь, а не напиться. То ли дело в наших озерах! Да у нас в любом болоте слаще! Ну, верно, помидоры там, огурцы, виноград. Только опять не по мне это. Я и клюквой доволен, а ежели чайку с пареной брусничкой — и винограду не надо! Вот как! И гриба там нет никакого — разве это дело? Я там опять в пастухи поступил, по своей специальности. И никакой радости от этого дела нет. Чабанил я с овцами целое лето в совхозе. Степь, скука! Солнце печет, а тебе и укрыться некуда — стой столбиком. Даже оецы там глупей наших. Вот оно как, или мне так кажется? А у нас-то — скотинка на лугу, жарко стало — в лес её загнал, поколодало — огонек разложишь. Живность чувствует. И птицы поют, и рыба в озере плещет, и лес шумит. А климат у нас для меня куда полезней! Главное — зимой холодок, весной и осенью прохлада, летом и погреешься в меру. Комары у нас, так в Молдавии тоже имеются. И овода там такие же, пожалуй злее. Нет, друг, прожил я там один год — не надо мне и заработка большого и виноградов никаких — домой! Дочка уговаривает: останься, а я никак! По-едем, говорю, лучше к нам! Да ей что, она уж свою

семью завела. А я — домой, домой! Вот приеду в свой колхоз и опять в пастухи, списался заранее, оттого и тороплюсь, по последнему пути нажимаю. А скоро, скоро реки у нас прошумят, пройдут. И прекрасное времечко начнется. Да у нас, я считаю, каждое время хорошее, не то что на юге. Ну, мне направо. Значит, всего приятного! Будешь в нашей деревне — заходи, только Максима спроси. Пастуха!»

ИНСПЕКТОР «КИС-КИС»



ВЫЕХАЛИ мы на уженье вечерней зорькой, ночь на берегу у костра провели, утром во всю сласть порыбачили, а вот домой попадать стало трудновато. Такой замечательный августовский туман наволокло — хоть но-

жом его режь и вместо масла на хлеб намазывай. Федор Иваныч — на корме лодки, за рулем, я на веслах, а иной раз не видим друг друга. Так, темнеет что-то, а что — не поймешь.

Мое дело постороннее, я в этих местах впервые. Но Федору Иванычу передо мной неловко. Домой-то надо обоим к сроку попасть. А тут — туман. Дело осложнялось тем, что лесная река здесь, в своих низовьях, разбежалась по старицам и протокам. На такой местности и днем запутаться чужому человеку можно. А в тумане и Федору Иванычу задумчиво — как быть, куда плыть?

— Постой, не греби! — приказывает он иногда мне. Я поднимаю весла, и мы прислушиваемся. Тишина, именно та глухая тишина, что бывает только при осенних туманах. Даже капли с весла падают в реку беззвучно.

— Хоть бы собака где взлаяла, — бормочет Федор Иваныч. — Пастухам бы пора забарабанить — нет,

спят еще! Значит, рано. А вот они забарабанят, тут мы сразу с тобой определимся.

Над нами неторопливо пролетает ворона.

— Может, ворона к селу летит? — спрашиваю я. — По утрам они всегда к жилым местам летят, а вечером обратно.

— Было бы одно село на берегу — тогда бы и ворона помогла. А тут на каждом берегу по три деревни. Нет, ворона нам не помощник. Ты — слушай.

Слушаем напряженно, до звона в ушах. Но это всё не то. Хотя вот, где-то весло по борту стукнуло, кто-то кашлянул.

— Эй! — окликает Федор Иванович. Его голос тонет, словно в ватной подушке. Но всё же шлепанье весел усиливается, в тумане появляется мутное пятно — лодка.

Тоже, как и мы, заблудившиеся. Начинается совещание — куда плыть?

— По всему должны мы быть на Кривой Полоухе, — говорит подплывший рыбак. — В той стороне вроде как деревья я видел. Это Дроздов бор.

— Что же туда не выгребался? — недовольно бурчит Федор Иванович. — Малец-то уснул у тебя, — кивает он на парнишку, скорчившегося в носу лодки.

— Спит! — улыбается рыбак. — Первый раз я его с собой взял, пускай приучается. Да как с вечера улегся на охапку сена в лодке, так и не разбудить. Пускай!

— Послушаем еще! — приказывает Федор Иванович. И, подождав несколько минут, сердито берется за весла:

— Давай выплывем туда, где по-твоему Дроздов бор. Там надо будет инспектора кликнуть.

— Какого инспектора? — интересуюсь я.

— Рыбного, вот какого! — отвечает Федор Ива-

ныч, то и дело вытягивая шею — не потерять бы в тумане переднюю лодку.

Вот она останавливается. Подплываем ближе. Молчим. И тут Федор Иванович делает, по-моему, совсем несуразное — ласковым голосом кличет:

«Сенька, Сенька, кис, кис, кис, кис!»

Что будет дальше? Зачем тут, посреди воды, старик кличет какого-то кота? Не понимаю, но не спрашиваю. Федор Иванович и так погрозил пальцем — молчите, мол!

И вдруг из тумана доносится едва слышное басистое мяуканье.

— Он! Инспектор! — ухмыляется Федор Иванович. — Гребите, ребята, на его голосок!

А на берегу, важно задрав пышный хвост, прогуливается толстый черный кот. Прогуливается у самого уреза воды, с деловым озабоченным видом. Завидя нас, вскакивает на пень и замирает, только хвост пошевеливается.

Лодки врезаются носами в песок. Кот тут, как тут. Прыгает в нашу лодку, проходит по ее борту и все шевелит хвостом:

— Мяу! — широко открывает он розовый рот с острейшими зубами.

— На, Инспектор, получай! — бросает ему Федор Иванович порядочную плотицу. — Заслужил!

Кот исчезает в траве. Но прежде, чем мы выгрузили свои снасти, «инспектор» уже опять у лодок. Но лезет не в нашу — в соседскую. И там получает окуня. И снова в кусты.

Устало бредем домой. Федор Иванович, довольный тем, что мы не опоздали, рассказывает:

— Это кот Марьи Тимофеевны. Зимой у ней в избе живет, отсыпается. А как рыбаки на лодки — кот на берег, вот сюда переселяется. И дежурит, лодки с

лова поджидает. У нас уж так заведено — коту рыбинку дать. Смекнул, значит, где питаться без особого труда можно. Известно — лодырь!

— Зачем же «инспектором» его называете?

— А так. В каждую лодку заберется, осмотрит ее. И других котов сюда не допускает. Чуть что — в драку. Всех отвадил! Один тут командует. А слышишь! Пастухи забарабанили! Поздно, милые! Мы уже на берегу, сейчас и дома будем!





Веселые

ПОЛЕСНИКИ



СТОРУБЛЕВЫЙ СЕЛЕЗЕНЬ

УЛОВИВ момент, когда в магазине не оказалось покупателей, Егор сказал продавцу:

— Нет ли у тебя сторублевой бумажки? Я бы тебе ее мелкими разменял. Тебе для сдачи удобнее, а мне сторублевку хранить интересней. Только, чур, моей жене об этом не говори. Деньги от нее тайные. Понятно?

— Давай сюда твою мелочь! — зевнул утомившийся за день продавец. — Разменяю, так и быть. И твоей жене говорить не буду. К празднику деньги бережешь?

Он привычно быстро просчитал пук десяток, пятерок и троек, принятых от Егора, и подал ему сторублевую бумажку.

— Сторублевку прятать удобнее, — признался Егор. — Сложу ее пополам, потом скатаю плотной трубочкой. Вот так!

— А ежели твоя Анна эту сторублевку отыщет? Тогда прощайся с деньгами. Так что ли?

— Так. Верно! Только я теперь так запрячу, что ей никак не отыскать. Эти денежки я по рублику, по

троечке собирал. К празднику — это ты верно говоришь. На чужие пить не люблю, а свои нечасто берут. Как заработаю — Анна отбирает.

— Правильно она и делает. Такая семьяца у тебя да еще ежели тебе волку на выпивку дать — беда!

— Сказал тоже. Много ли я выпиваю? Нечасто к тебе в магазин заглядываю... А тут к празднику — у меня свои деньги, не прощенные.

— Зато за работу водкой брать любишь. Я на Аннином месте тебя бы ухватом иной раз. Ну, пошли что ли, мне магазин закрывать пора.

Выйдя на улицу из полусумрака магазина, Егор даже зажмурился — так ослепительно сияло солнце в весеннем небе, так сверкали снежные поля за селом. Скоро-скоро исчезнет эта надоевшая за зиму белизна! Вон уже видны первые проталины на вершинах бугров. По улице дорога тоже потемнела, копошатся, самозабвенно чирикают, дерутся воробьи в вершине старой березы.

Шлепая по лужам валенками в тяжелых галошах красной резины, Егор поплелся в другой конец села к другу своему — Михайле. Давно известно, что чаще всего дружат между собою люди, совершенно непохожие друг на друга. Так было и здесь. Рослый, молчаливый Михайло совсем, кажется, не под стать был тощему, узкобородому Егору, человеку незадачливому из-за своей суетливости, неумения доводить дело до конца. Егор любил выпить и раскисал от первой рюмки. Михайло пил крайне редко, зато сразу целый стакан, молчал по-прежнему и опять забывал о водке на полгода.

Работники они тоже были разные. Егор шорничал и сапожничал. В колхозе работы для него было достаточно, приносили хомуты и шлеи и из других колхозов. Но шорник заламывал такие несуразные цены,

что заказчик, плюнув, уходил в магазин и покупал там новые хомуты — дешевле было, чем старый у Егора чинить. Да и на колхозные работы в поле Егор ходить не любил. Зато рыбу ловить, на охоту ходить он был готов всегда.

Видно это и сдружило его с Михайлом — человеком степенным, работягой на любом месте. С удочками или ружьем выходить Михайле случалось нечасто, но всегда он добывал больше, чем Егор. И тот плакался:

— Верно слово какое знаешь, Михайло. Вот ты опять двух лещей выудил, а у меня один подлещик, да и тот какой-то сухопарый.

— А ты бы не суетился, не бегал с места на место, — посмеивался Михайло. — Я как сяду на место, так и выжидаю. А у тебя терпенье жидкое.

Так или иначе они дружили.

— Ну, Михайло! — торжественно заявил Егор, войдя в избу друга. — Скоро, скоро наше времечко! Весна!

— Весна! — охотно согласился Михайло, прищурив глаз и поглядывая вдоль только что оструганной планки. — Ладно! Рамы к сроку поспеют!

— Какие рамы?

— К парникам. Весна, сам говоришь. Сорок рам заказано сделать правленьем. Четвертый десяток добиваю. Послезавтра остеклять их начну.

Оглянувшись — не услышал бы кто-нибудь из семейных Михайлы, Егор прошептал, показывая другу уголок сторублевки, зажатой в кулак:

— Видал? С праздником будем! Сто рубликов. Только ты никому ни словечка!

— Когда я болтал? О каком празднике ты говоришь?

— А вот каком — охотничий сезон открывать надо? Надо! Утка скоро валом полетит. Как только

стукну первого селезня крякового, так его в котелок, соли, перчику. А к нему бытылочку! Понял?

— Понять просто. Ты бы лучше эти деньги Анне отдал. На пол-литра тебе и четвертной хватит.

— Ишь ты! А если я еще захочу?

— Дело твое, парень! А мне нынче на охоту вряд ли удастся сходить. Некогда!

— Ну и что ж? Я селезня добыть должен.

Егор не прочь был побеседовать и еще, но Михайло, вставив очередную планку в верстак, так зашаркал по ней рубанком, что стало видно: говорить ему сейчас некогда. И Егор поплелся домой.

В свое время появились на озере забереги — талые воды по краям берега, а на эти забереги тучами стала садиться перелетная водяная птица. Кое-где у охотников были заранее построены шалаши — подсиживать уток. Был такой шалаш и у Егора. Построил он прикрытие и для Михайлы, правда, похуже, чем свое. И сманил-таки друга на озеро, уговорил.

Вышли еще до рассвета. Михайло ворчал:

— Зорю просижу в такое-то время. Потом весь день носом клевать придется. Тебе-то что? Выспишься! А у меня работа!

— Всю не переделаешь! И всего-то часок на озере посидишь. Зато душеньку отведешь! А у меня в кустиках и котелок, и ложки, и соль — всё приготовлено. Даже перчик есть!

— А водку запас?

— За ней сбегать недолго — была бы утка! Пока сидим да варим, и магазин откроют. А заранее покупать — Анна заметила бы. Ну, пришли!

Своим шалашом и местом Михайло остался недоволен — наскоро перенес шалаш поправее, ближе к полосе чистой воды. После того он уселся поудобнее, зевнул и стал поглядывать в щели своего сооружения

на широкую заберегу — вдали на ней были видны черные пятнышки уток.

Рассвет ширился. С поля донесся рокот трактора — начинался сев. Где-то попискивали кулички, потом над головой с мерным гагаканьем пролетела стайка гусей.

— Весна, весна, — думал Михайло, побарабанивая пальцами по прикладу ружья. — Радостное времечко, всё живое ждет ее, а забывает, что весной самое-то хлопоты — птице гнезда вить, нам — хлеб сеять!

Он опять глянул в щель шалаша и замер — перед ним, на выстрел, покачивалась пара кряковых. Селезень, покрякивая, кружил вокруг утки, гнул свою радужную шею кренделем.

За дымом после выстрела он не сразу увидел — убит ли селезень. А увидев свою добычу, обрадовался. Побрел к ней по колено в воде.

— Вот и домой можно, — подумал он. — Ладно вышло — часу не сидел!

От Егорова шалаша тоже донесся выстрел. И сейчас же оттуда раздалось яростные, визгливые ругательства.

— Что с тобой, Егорша? — окликнул Михайло.

— Дурак я, дурак, дурак, дурак!

— Да что с тобой? Поранился, что ли?

— Дурак я, дурак и дураков сын! Сторублевка-то у меня в ствол ружья была спрятана — забыл ее вынуть и пальнул. Вон только клочки по воде плывут. Главное, вспомнил, когда курок спускал!

— Утку-то хоть добыл ли?

— Селезня! Да чёрта ли в нем — в сто рублей он мне обошелся!



ХОРОШАЯ СТРЕЛЬБА

У СЕМЕНА Петровича гость, племянник. Петрович не виделся с ним лет десять, с той

поры, как племянник уехал на работу в другую область. Теперь вот навелит родные места.

Плотно позавтракали, напились чайку и задымили — Петрович трубкой, племянник папиросой так, что тетка Клавдия заявила:

— Пойду к соседке, дело есть! А вы тут половики не прожгите и вообще форточку почаще открывайте, а то у вас, как на смолокурном заводе!

Тетка Клавдия — женщина незлая, но ретивая, порядок любит и своего Петровича на этом основании пилит с утра до ночи. Поэтому мужчины не огорчились ее уходом.

— Значит, дядя, домиком обзавелся? — интересуется племянник. — Славный у тебя домик, как раз на двоих.

— А больше и не нужно, нас только двое. Мне бы домик и ни к чему, да такая уж у женщин натура — любят свое гнездо вить. Вот пришлось под старость лет строительством заняться. Сколько из-за этого охотничьих зорь пропустить пришлось! Теперь все дела подогнал — свободен! А как у тебя там, в соседней-то области, ничего охота? *

И начались разговоры. Семен Петрович — охотник первой руки, на своем веку десятка три медведей срезал. Да и сам на медведя схож — в плечах широк, сутул, глазки карие медвежьи, с лукавинкой. Вернее — только один глаз у него, второй на войне фашистская пуля выбила.

— Хорошо то, что левого глаза лишился, — утешается Семен Петрович. — Не надо переучиваться стрелять да и прижмуривать при стрельбе левый глаз теперь не придется.

Племянник не в дядю — сухой, костлявый, но те же у него, что и у дяди, карие глаза с лукавинкой. И тоже охотник. И тоже на войне побывал.

Сидят. Курят. Разговаривают. Есть о чем поговорить бывшим солдатам, есть о чем рассказать охотникам.

Еще два охотничка в дом зашли, прослышав о госте. Еще дымнее в комнате стало. Пришла бы тетка Клавдия — досталось бы всем. Да она у соседки, и, значит, у ней разговор до полудня хватит и еще останется.

— Надолго ли в отпуск? Небось и поохотишься у нас, на знакомых местах? — спрашивают племянника охотнички.

— Обязательно! Сегодня в ночь отправимся, — отвечает за племянника Петрович. — Вот только ружье у него, по-моему, калибром мелковато.

— Но!? Какой же калибр? Двадцать восьмой? Мелковато!

Племянник посмеивается:

— Я со своим винчестером давно охочусь и на него не обижаюсь. Главное — резкий бой! Прикладисто и прицельно! Я так считаю, не калибр, а резкость боя важны. Не сотней дробинок зайца убиваешь — одной, которая в нужное место попадет! Не люблю, кто с две-

надцатым калибром охотится — это то же, что из лейки свинцом поливать!

И, как водится у охотников, спор. Каждый свое ружье отстаивает, свой калибр хвалит.

— Стой, — говорит Семен Петрович, — довольно словами бросаться. Несите свои ружья и выйдем ко мне в огород, устроим стрельбу. Вот и узнаем, чье ружье на бою прицельно и резко.

Собрались в огороде. У Петровича дом на краю поселка, дальше — лес. За домом, в дальнем краю огорода — банька. На ее дверях Петрович мишень хлебным мякишем прилепил — почтовый листик бумаги, посредине черное пятно с куриное яйцо.

— Племяш, тебе, как гостю, первый выстрел. Дистанция — пятьдесят шагов!

— У вас — двустволки, значит, по выстрелу на ствол — два выстрела, у меня — одностволка, мне дайте тоже два выстрела.

— Согласны! Пали!

У винчестера выстрел звонкий, словно пастух бичом ударит.

— Что ж! Неплохо! — похвалили охотники стрелка. — Одна пуля в центре, другая рядышком, слева. Хорошо!

Шестнадцатые и двенадцатые калибры бухали, что большим поленом по пустой бочке. Дым над огородом. Скажи — война шла! Стрелки хорошие. Ни одного не похаеть.

— А теперь посмотрим, чья пуля лучше дверь пробила, — объявляет Семен Петрович. — Дверь у меня новенькая, доски — два дюйма с половиной! Не всякая пуля за пятьдесят шагов такую дверь прошьет. Для того чтобы узнать, чье ружье и как бьет, я нарочно четыре раза мишени менял, на разные места их наклеивал!

И распахивает дверь. Распахивает, часто мигает своим медвежьим глазком и посвистывает:

— Здорово!

И все охотники посвистывают:

— Здорово!

С изнанки дверь словно пьяный медведь когтями драл — торчат сосновые щепы во все стороны. Не дверь — решето. И не решето, а бери скорее топор и делай новую.

Да это еще не беда! Дверь-то эта на предбаннике, а внутренняя дверь в баню открыта была. Пули-дуры летели и дальше — перебили стекла в единственном окошке бани. Перед ним на лавке тетка Клавдия деревянные шайки горкой одна на другую сложила. И нет теперь шаек — только битые клепки да обручи валяются на полу.

— Н-да! — Семен Петрович пошатал рукой раму в окошке, выдернул ее из паза и швырнул на улицу, потрогал носком сапога клепку: — Н-да! Вот тут и разберись, чье ружье на бой резче! Все хороши!

Вышли из бани на улицу. Закурили, помолчали. Семен Петрович огляделся кругом тревожно и советует:

— Давайте-ко, ребятки, через изгородь да по домам. А то придет моя Клавдия, доберется до бани и такую нам пальбу устроит! Мне — в первую голову, но и вам достанется! Ты, племян, у тетки Вари побудь до вечера. А мне — мне за топор браться. Эх, пропала и сегодняшняя заря! А я-то на нее всю неделю рассчитывал!



ЖАКЕТАЙ

ТРИ раза заводили мы невод — уловы радовали нас. Хотя и устали, но еще раз взяли за весла. Улов опять хороший!

— Хватит! — сказал Африкан. — Хватит, ребята! Все рыбы из озера не вычерпашь, надо и другим оставить и себе на следующий раз. А теперь пора и к дому подаваться!

Африкан у нас бригадир. Бригадира слушаться надо. Поставили мачту, парус подняли — и домой. Далеко нас сегодня занесло вдоль озерного берега, ежели дорогой, пешком, километров пятнадцать, а водой — добрый десяток.

Африкан — на руле, мы отдыхаем, покуриваем, разговоры ведем.

Кирша рассказывает:

— Иной охотник любит тепло одеваться. Идет, пытит, а того не смекает, что и на ходу тяжело и на охоте неспоро. Я так делаю: в первый выход весной на глухариный ток напяливаю на себя ватную фуфайку старенькую, солдатскую, а поверх ее — жакетай...

— Жакетку женскую, что ли?

— Не жакетку — жакетай! Пиджак зимний, на вате. Дом, а не пиджак! Ну, вот и прозывается у ме-

ня — жакетай. Из пиджаков вышел, в пальто не попал. Жакетай, одним словом.

— Такого и слова нет. И одежины нет такой!

— И слово у меня есть и одежина...

— Ладно, не спорьте! Мели, Кириша, дальше!

— Мелю. Так, вот, напялю жакетай и бреду, не торопясь, до места назначения, до тока. Там, у огонька, на хвое прилягу, жакетаем прикроюсь — сплю, как дома. Зорьку возьму и домой налегке, в фуфайке правлюсь. А жакетай в лесу оставляю. Подвешиваю его повыше на еловый сук. Опять на ток иду налегке, а у огня снова жакетаем прикрываюсь. И после весны оставляю я свой жакетай в лесу до осени, до морозов. Когда пойду за белками, жакетай с елки снимаю и служит он мне всю зиму.

— И никто твой жакетай не трогает?

— А кому трогать? Верно, мыши им пользуютя и птички. Вату на гнезда из жакетая таскают. Я не спорю — им вата нужна. Зимой приходится жакетай ремонтировать немножко, ваты добавлять.

Наползли темные тучи, смеркалось, и ветерок задремал где-то, в еловых чащах, на берегу. И мы позевывать начали. Время нераннее. Африкан на руле тоже носом клюет.

Кириша — Африкану:

— Ложись, бригадир, отдохни. Парус спускать не надо, может, еще ветерок заиграет. А на руле я побуду. Я бессонный!

Африкан не спорит. И все мы притихли, козырьки на нос, руки в рукава и спать. Хорошо! Зыбь озером катится ровная-ровная, баюкает нас, что ребят в люльке.

Разом все уснули да разом и проснулись. Африкан нас разбудил. Сидит на корме, сивую бороду теребит и ругается:

— Рыжий леший! Куда это он лодку загнал — понять не могу! Темень такая, только зарницы за озером и пыхают!

Лодка носом в берегу. На берегу черный еловый лес. На небе ни звездочки, на дальнем берегу ни огонька. Глухо, только озерная зыбь в камнях ворчит, непогоду накликает. Действительно, быть непогоде — ветер в закат дул.

Стали закуривать, завспыхивали спички — видим, к мачте бумажка привязана. Откуда она взялась? Сняли, читаем:

«Постойте у берега часок, подождите меня. От этого места до весеннего тока недалеко, где мой жакетай на сучке висит. Я за ним схожу, чтобы осенью не затрудняться».

— Ишь, самовольная душа! — сердится Африкан. — Какое нам дело до его рваного жакетая? Давайте, ребята, посмеемся над Киршей — поплывем дальше. Придет он с жакетаем, а нас тут и нет. Пусть-ко, рыжий леший, до дома десять километров по лесным тропам свой жакетай волочит. Жарко будет!

— Правильно! — соглашаемся мы. — Надо его, Киршу, наказать! Ишь, что выдумал без нашего согласия!

Выплыли на чистую воду. Африкан палец намочил, поднял — разобрался, откуда воздухом тянет. Не его учить, как темной ночью в озере путь искать.

— Парус и мачту — долой, — командует он, — разбирай весла!

И заскрипели мы веслами. Днем плыть — видишь, как двигаешься, а ночью — сколь веслом не ворочаешь, а словно на одном месте приклеен.

А тут дождичек. Сначала вежливенько так: кап, кап, кап, потом посерьезнее. А ветра нет и нет. Обложной дождь, надолго!

Гребем. Наваливаемся. И вчерашнему улову не рады. Знать бы такое дело, не забираться бы за Каменный мыс, надо бы у дома ловить! Да кто это знал?

— Африкан, — кто-то из нас окликает, — должен ты по старости лет и по знанию дела погоду угадывать. Чего ж ты нас далеко уволок?

Африкан на эти слова — ни звука. Будто его и нет на корме. Только из трубки искры летят.

Гребем. Наваливаемся. Наверно, от нас пар идет, да в темноте не видно.

Потом чуть-чуть засветлело, стало видно, как лес на берегу от неба отличаться стал. Значит, скоро утро.

Ну, так или иначе, на полном свету мы к своему селу, к пристани подгребаем. А на пристани... Кирша. Сидит на тумбочке, покуривает:

— С благополучным прибытием! — поздравляет нас.

— Давно ль ты дома?

— С вечера. Снял свой жакетай с сучка и к лодке. Пришел — вижу: меня не дождались, не захотели товарища уважить. Я обратно на ток, а с него до большой дороги полтысячи шагов. Тут я на попутную автомашину и за полчаса дома был. Выспался, отдохнул. Позавтракал — глянул в окно, вижу — вы едва-едва ползете. Ну, думаю, надо товарищам помочь рыбу выгрузить, невод на просушку развесить. А вам, никак, за веслами досталось?

Африкан от злости только зашипел и за борт плюнул.



КОРЕНЬ-НЕОДОЛИМ

НА завалинке Максимова дома — охотничий клуб. Собираемся здесь, когда охотничьего сезона нет, летом, до сенокоса. Завалинка уютная, широкая, забита льняной кострой и глиной. Перед Максимовым домом — берег озера, вправо — истоптанный скотиною выгон. Иногда это наш полигон для проверки боя своих ружей.

Вот и сегодня — выходной. Особых работ нет, а у кого и было, тот их до полудня справил, и — на Максиму завалинку. Сам хозяин обычно ведет беседу сверху, из окна, в нужную минуту подавая дельные советы и высказывая свои авторитетные мнения. Как-никак ему за шестьдесят, потоптал-таки лесных троп на своем веку, пудов десять пороху сжег, ну и прочее.

Разговор, как и полагается, вертелся вокруг всего и пошел о ружьях — у кого какое было, да какое замечательное. Можешь не верить тому, что рассказывает иной о своей фузее, но посмеиваться нельзя. Не вежливо. А кто тебе мешает такое же загнуть? Каково ты себя чувствовать будешь, если над тобой насмешки начнутся? Нехорошо, правда? Этого не охотники не понимают.

Ну, вот, и об ружьях переговорили, пора бы и по домам расходиться, обедать, тем более, что Кириша уже изрек, как всегда, в конце беседы мудрые слова:

— У охотника бывает только одна хорошая жена, одна настоящая собака и одно прекрасное ружье! На вторых не надейся!

Тут бы нам и идти восвояси, но Максимова борода свесилась из окна:

— Пойдите, братцы! Разговор не кончен! Сейчас пойду научный опыт ставить на выгон, ружье пробовать!

— А что у тебя с ружьем? Кажется, ты его не бранил. Хорошая двустволка!

— Да и сейчас не браню! Но что скажешь? Стало некрепко дробь класть! Пальнешь по птице — перья полетят, и птица полетит. А ты стоишь и вздох производишь тоскливо этак. Потом — плюнешь!

— Это бывает, — говорит районный судья, человек начитанный. — Бывает! Об этом еще старик Аксаков писал в «Записках ружейного охотника». Помните? Он пишет, что иногда его хорошее ружье начинало слабо бить, дробь дичину не мертвила. Тогда он давал этому ружью отдых на полгода, а начинал ходить с другим. Потом к первому ружью сила боя возвращалась. Не знал он только, чем это объяснить...

— Объяснить просто, — сказал механик МТС. — Очень просто. Усталость металла. От частой пальбы, от газов, что в стволе при выстреле образуются, сталь ствола меняет свою структуру. Надо дать ей отдых.

— Умно! — одобрил Кирша. — Аксакова и я читывал. А вот об усталости металла не приходилось.

— Чепуха всё это! — Максимова борода высунулась из окна еще дальше. — И я Аксакова читал! Кто из охотников его не читал? А об этом — не помню. Нет, у меня опыт другой, по старинке. У меня есть, — он понизил голос и оглянулся, — есть у меня корень-неодолим!

— С чем его едят? — осведомился судья.

— А ну тебя, Алексей Петрович! Старинное это средство! Растенье редкое, не сразу найдешь. Знать его надо! Я от отца и деда его вызнал, а они были охотники не нынешние пукалы! Вот высуши этот корень, забей его в ствол ружья и выпали, зажмурясь, в небо. После того ружье крепче прежнего бить станет. Сейчас при вас опыт сделаю, поддержу старинное средство! А то Аксаков, усталость металла! Механизаторы! Техники!

И скрылся в дому, крикнув нам оттуда:

— Обождите! Сейчас на выгон пойдем!

На выгоне сначала Максим пальнул из обоих стволов по цели — в сухую досочку. Осмотрели мы ее — дробь завязла в дереве неглубоко.

— Правильно! — сказал механик. — Вот ты и повесь ружье на гвоздик до осени. Пусть металл отдыхает. Небось, ты за весну раз по триста из каждого ствола пальнул, как им не устать!

— Было дело! — задрал Максим бороду. — А все-таки опыт поставим — пальнем с корнем в небо, потом опять по мишени.

Заложил патроны, добыл из кармана сухой бурый корешок с палец длиной и толщиной:

— Вот он — корень-неодолим!

Полюбовался чудесным корнем:

— Шомпол надо, корень в ствол забить. Сбегай-ко, механизатор, ко мне в дом, там в кладовке, в правом углу, на полочке вересовый шомпол есть, принеси.

Появился и шомпол. Максим старательно забил корень в ствол, повел ружьем к небу, зажмурился. Мы отошли.

— А-аа-х!

Странный какой-то выстрел получился — сначала пошипело, потом ахнуло. Крепко ахнуло — Максим даже ружье уронил, стоит, покачивается. Мы к нему:

— Поздорову ли, Максим Алексеич?

— Всё в порядке! Крепко взяло! До сих пор зеленые мухи в глазах пляшут! Ну, теперь продолжим опыт!

— Ничего не выйдет! — вздохнул судья, подавая Максиму его ружье, поднятое с земли.

— Почему?

— Гляди-ка на правый ствол. Развернуло его вверх цветочком, не то розой, не то ромашкой!

— Вот это корешок! — восхитился механик, детально осмотрев ружейный ствол. — Действительно — неодолим! Смотрите-ка, его даже сталь не одолела! Ты, Максим Алексеич, поделись с нами чудесным корешком или научи, как его находить на лугах, в лесу или по болотинкам.

— Может быть, в этом корешке атомная энергия? — заинтересовался Кирша. — Тогда, Максим, надо тебе об этом срочно в Академию наук написать. Премию получишь, с нами поделишься.

— Идите вы к лешему! — завопил Максим, швыряя ружье в траву. — Идите! Вас жены давно обедать ждут, а вы тут болтаетесь!

Он охнул, потирая раздувшуюся правую щеку и пнув ружье ногою, зашагал к селу.

Мы переглянулись и пошли обедать.



БАВКИНА ЗАКУСКА

КАК поживаешь, Мартыновна?

— Спасибо, сынок, хорошо живу. Конечно, дело немолодое, косточки болят, да ведь и поработано у меня на своем веку достаточно. С утра тяжеленько, а потом ничего, расхожусь, опять за любое дело берусь. Что в наши края не заглядываешь? Мы и то с дедом тебя вспоминали не раз, нету что-то, мол, нашего рыбачка. Ты приходи, тебе мы рады, не как другим...

— А чем другие хуже, Мартыновна? Может, ты мне это из приличия говоришь, да и другим то же самое подносишь?

— Нет, сынок, тебе я правду говорю — ты гость подходящий. И рыбку ловить любишь, и поговоришь с нами, стариками, обо всем по-хорошему. А главное, без водки ты приходишь, сам не пьешь и другим не советуешь. Теперь-то у меня гостей приубавилось, только непьющие приходят или которые без водки. Таким у меня дверь открыта. А пьяниц я за один раз отвадила. Боятся теперь и во двор ко мне зайти.

— Как же тебе, Мартыновна, помогло с ними управиться? Ругала их, что ли, или как иначе обошлось?

— Ну, сынок, руганью пьяного не вылечишь! Я иначе. А вот расскажу. Да что мы стоим с тобой, вот давай-ко присядем на лавочку. Недавно, видно, лавочку эту тут у дороги лесники сделали. Хорошо! Идет, идет человек — устанет, а тут и присесть можно под сосенками, в тени.

— Так рассказывай, Мартыновна. Мне это интересно!

— А вот, слушай! Повадились за последние годы к моему деду охотнички по осеннему времени — отбою нет! Дед у меня, сам знаешь, зайчиков мастер добывать, ну, и лисичек тоже. Специалист по этому делу! Ладно! Вот как суббота — и собираются охотнички у нас. С вечера дымить начинают. И первым делом: «Бабушка, нет ли у дедушки в запасе, в кладовой зайчика? Поджарила бы нам!» Что поделаешь — зайчатина у нас не выводится всю осень да и по перевозимку. Жарю зайчатину, а самой тошно! Вот сейчас напьются, зашумят! Утром опохмелятся и — в лес. Вечером соберутся — опять водку лакать! Тьфу! Надоело! А пуще того, деда моего спаивать начали. Он у меня здоровьем ничего, а как водки выпьет — болеет после того дня три и всем недоволен. А чем недовольному быть? Живем мы тихо, мирно, в сытости, детки выращены, внуки есть. А тут — водка! Дед у меня и смолоду ей не увлекался, а под старость этой пакостью заниматься приневоливают. Ох, и надоело мне это! Додумалась-таки я, грешная, тьфу, тьфу! Приехали этак раз прошлой осенью на двух легковых — Иван Семеныч, ну тот что из МТС, да Константин Васильич из райпо, да еще какие-то... Мне и чинов не выговорить. И конечно — бутылки на стол, заказывают мне самовар, зайчика зажарить. Вышла я на задворки — дровишки сухие потребовались, вспомнила — валяется там за изгородью лисья

тушка. Третьего дня дедке в капкан лиса попалась — такая пышная! Ну, шкурку дедка снял, а тушку — воронам, на снег. Принесла я ее, тушку эту, обратно, в сенях топориком разделала, да на старую сковородку. Масла, яиц не пожалела, а сковороду все равно выбрасывать. Зажарила, подала с поклончиком — кушайте, мол, гости дорогие, чтобы вас мимо моего двора пронесло. Выпили они это по стопочке, как его, коньяку — и за мою зайчатину. Только сковорода звенит. А за своего старика я спокойна — он зайчатины не ест. Вот накушались, зовут меня — благодарят, жаренину хвалят. А я им опять с поклончиком: «Не стоит, дорогие мои! Все равно лисья тушка пропадала, ее и вороны клевать не хотели! А вам под выпивку закуска самая подходящая — вы с пьяных глаз все сожрете!» Да в горячке, в запале — все им и высказала! Смотрю: один, потом другой за угол избы побежали — замутило их! А мне весело! Дед молчит, против меня — ни слова. И ему пьяницы надоели. Ну, а охотнички сейчас же по машинам и домой. Вот оно как! С той поры боятся ко мне ездить. Я старуха натурастая. Коли лисичка на пьяниц не подействует, ухватом из дома их вышибать буду! А ты приходи, не бойся. Только, если хоть четвертинку принесешь, и тебе ухватом попадет!



ТАКТИКИ

ПЕТР Иванович, а что такое — тактика?

— Тактика? А на что тебе это слово? Где ты его только откопал?

— Откопать нехитро. Помнишь, на той неделе лектор к нам в колхоз приезжал? Раз пять это слово упомянул. А для меня новое слово, что блоха в мозгу — так и шевелится там. Беспокоит! Пока суть слова не пойму, всё у меня в голове эта чесотка. Узнаю — и успокоится.

— Чудило ты, Афанасий!

— Нет, не чудило, а любопытствую. Тебе хорошо, ты ученый! Должен это слово знать!

— С тобой, кажется, лет пятьдесят назад на одной парте в сельской школе сидели и в углу вместе стаивали! Вот и вся моя наука!

— Ты это помолчи! Ты в двадцатом году из Красной Армии пришел, избачом работать стал, потом — председателем волисполкома, потом сельсоветом заворачивал. А я всё у земли! Вот и ответь — что такое т-а-к-т-и-к-а?

— Тьфу! Вцепился в меня, как клещ в собачье ухо! Ну, как сказать, тактика это больше к войне применяется. Это... это, ну приемы всякие, правила, как войну вести, чтобы врага разбить. Подробней не знаю.

Да ты у лектора тогда и спросил бы, что это слово значит!

— А ты на что у меня? Ты ученый! Ну, ну, не сердись! Я любя! Нам с тобой делить нечего! Ты на пенсии стариковской, и я на том же положении. Вот за грибами собрались — и хорошо! Дожурим — и прямо в Марьин бор. Вчера я там проходил, одна беда — не во что собирать было, а белых грибов — тьма! Сегодня зато с тобой порадуемся, на то я тебя до света и разбудил! Пока колхозные старушонки дома обряжаются, мы Марьин бор и обревизуем. Так, значит, тактика, это как противника обдурить?

— Вроде этого.

— А вот что, Петруха, давай-ка с обочины дороги в кусты спрячемся!

— Зачем?

— Давай, давай, говорю! Тактика такая.

— Ну, зачем же мы спрятались? Сидели бы на бревнышке, курили! Кого ты испугался?

— Я и медведя не баивался. Давай, пихай в свою корзину моху доверху! Пихай, пихай, а зачем — сам поймешь погода. Готово? Ну, теперь прикрой сверху веточками с листиком. Получше прикрывай. Вот так!

— Да зачем это?

— Молчи! Тактика! Ну, а теперь вылезем опять на дорогу и снова закурим. Видишь, кто по дороге бежит, спотыкается?

— Бабка Макариха. С внучкой Катькой!

— Правильно! Самая зловредная, жадная старушонка! Она не только все грибы да ягоды из леса уволокла бы, так и мох с земли содрала бы! Слышь, Катьку бранит, что проспали. Теперь сиди и помалкивай, а я тактику поведу. Только молчи!

— Здорово, Макаровна! Раненько ты в лес пальнула!

— Ой, Афанасий Васильич! Давно бы в лесу надо быть да вот, толстобокая, никак ее рано не поднять! А вы с Петром Иванычем в лес али уже из леса?

— Мы уж вволю погуляли! Видишь — корзиночки битком беленькими набиты?

— Где же это вы побывали, родимые? Ой, ты, валежина, проспала! Добрые люди уж грибов набрались, а мы еще только ползем!

— И вам хватит! Только в Марьином бору пусто-вато. Мы его с Петром Иванычем из края в край из-бродили, под каждую сосенку заглянули. Чисто теперь в бору! А впрочем, сходи, может, и на твою долю осталось!

— Нет уж, мне оборышей не надо, Афанасий Васильич! Я не таковская! Я сейчас напрямиком в Шадрин бор! Не были вы там-то?

— Не были! Там вся твоя ширина и долина!

— Ох, по какой корзиннице набрали! Шевелись, шевелись, колода, надо в Шадрин бор поспевать, пока и туда люди не добрались! Пошли, пошли!

— Ишь, как заело! Так ее от зависти да жадности и корчит! Помчалась и не попрощалась! Ну, а теперь, выкинь, Петруха, мох из корзины и пойдем, не торопись, в Марьин бор. Понял мою тактику?



НЕ ТРОНЬ МАЛЕНЬКИХ

УТЬ только зорька занялась, собрался Яков Васильевич на озеро с удочками.

Прошел лугом, прошел кустарником, и вот он — еловый лес, а за елями озеро сверкает, серебрится.

У коряги плотик колышком приткнут. Хорошо с плота удить, спокойно.

Тихо. Комары и те угомонились — намочила густая роса крылышки пискунам-разбойникам. Только коростель в ивовом кусту свое «дэрг, дэрг» выговаривает, да и то лениво. Надоело ему всю ночь скрипеть.

«Подкрадусь к коростелю, спугну его, — думает рыбак. — Очень смешно бывает смотреть на летящего коростеля. Рыжий, лохматый и ножки книзу висят».

Осторожно подкрался Яков Васильевич к кусту и — шлёп удилицем по росистым листьям. А из куста не коростель, а медвежонок выскакивает. Ошибся Яков Васильевич — не по тому кусту ударил!

Фыркнул медвежонок — и бежать. Да это ничего, а только он не один оказался — мамаша его совсем рядом муравейник под елкой расковыривала.

Рявкнула и на рыбака!

В три прыжка оказался Яков Васильевич на своем плотике. Успел от берега оттолкнуться.

Медведица зубы скалит, в воду бредет, хочет до обидчика добраться. А рыбак отгребаётся, отгребаётся. Шест у него в руках, как паровой винт, воду бурлит.

«Ну, — думает Яков Васильевич, — достигнет меня сейчас медведица, опрокинет с плотом. Пропал!»

Нет, не поплыла медведица. Ее дитяtko на берегу пицать начало, хныкать. Медведица к нему — успокаивать.

А рыбак гребет, гребет! Только на середине озера и остановился, пот со лба утер.

Успокоился, посмеялся над своим приключением и решил поудить у Смоляного омута.

Подплыл туда, а медведица уже там, из кустов выглядывает, своего обидчика ожидает. Что ты будешь делать?

К другому берегу рыбак начал грести. А медведица и туда успела прибежать — опять из куста ее злая морда показывается.

Пришлось опять на середину озера отплыть и там на рыбалку устроиться. Клёв плохой — рыба у берегов стоит. К берегу бы надо, а там медведица...

Скучно Якову Васильевичу. Поплавки редко когда качнутся. Разве это ловля?

Еще раз попытался Яков Васильевич к берегу подплыть. Да какое там! Медведица из кустов с рыбака глаз не спускает.

— Неужели она меня тут целую неделю продержит? — вздыхает рыбак.

Шли колхозники на покос. С гармошкой, с песнями. Проходили мимо озера. Насторожилась медведица, послушала людские голоса, фыркнула — и в лес.

Вернулся рыбак домой без рыбы. Зорьку рыбацкую упустил!



УХА НА ПАЛКЕ

ОХОТА недаром охотой называется. Заплати ты мне тысячу рублей, чтобы я за эти деньги дендешкой по лесу шатался — век не соглашусь. И добро бы путевая добычишка была, а то всего по пяти рябков до-

стали. Проще было бы килограмм баранины купить — и ноги бы сберегли, и дождем бы нас не намочило.

Так ворчал Африкан, сердито шагая лесной тропой. За ним молча плелся и я. Устали мы оба, а тут еще с самого полудня зарядил мелкий-премелкий дождичек ранней осени. И до дома недалеко, и есть хочется, как волку в марте.

— Хлеб у тебя остался? — буркнул Африкан.

— Есть горбушка.

— Побереги. Сейчас мы горячей ухи похлебаем.

— Какой ухи? — удивился я. — Да тебе, никак, уже сны сниться начали, Африкан Ильич?

— Не спорь! Котелок у нас есть? Есть. Соль есть? Есть. Ложки из бересты сделаем. Не в первый раз.

— А рыба где?

— Рыба на палке. Караси. Некрупны, зато сладки. А коли не понимаешь — помолчи.

Скоро мы свернули с тропинки и зашлепали унылым моховым болотом, поросшим чахлыми сосенками.

— Бересты на растопку да на ложки прихвати! — командовал Африкан.

За соснами тускло блеснуло круглое лесное озерко.

— Ну вот прибыли! — довольно крикнул Африкан, ставя ружье к сосне и вытаскивая топор из-за пояса. — Разводи огонь, вешай котелок с водой, а я рыболовством займусь.

Вырубив длинную жердь, он воткнул ее наискось в озерное дно и начал крутить в одну сторону, затем, крихтя от натуги, поволок жердь обратно. На ее конце намотался тяжелый комок «озерного мха», который так густо покрывает дно некоторых лесных озер.

— Ну, вот и рыба! — заявил Африкан, разбирая этот зеленый, крепко пахнувший водяной сыростью и болотом комок. — Видал? Карась хитер да ленив! Уткнется носом в донный мох и дремлет себе. А мох-то теперь у меня на берегу. Разбирай его, разбирай! Ага! Вот он, есть один, вот еще!

Мелкие, в медный пятак, карасики лениво пошевеливали крохотными хвостиками в моховом комке.

— А вот еще, вот еще! — приговаривал Африкан, добывая карасей и швыряя их в свою видавшую виды шапку. — От щуки спасались да ко мне и попались. Не крупны, зато сладки! Надо еще раз-другой жердь закинуть, уха гуще будет.

Через час, сытые и отдохнувшие, мы шли бором. Дождь почти перестал, в облачном месиве на небе то там, то здесь светлело, светлело, будто кто-то смущенно улыбался — день разгуливался. Африкан рассуждал:

— Охота — она и есть охота! Дай ты мне тысячу рублей и корову в придачу, чтобы я дома сидел — ни за какие блага не соглашусь. А лес на что охотнику дан? То-то же, ежели понимаешь. Молчи и не спорь!

Я не спорил.



ПАНЯ И ГАНЯ

ГДЕ и когда жили и охотились знаменитые полесники Павел и Гаврил или попросту — Паня и Ганя, мне дознаться не удалось. Заведешь разговор с охотниками в одной деревне — о Пане и Гане вспомнят, в другой — тоже о них память есть. А спросишь, откуда родом Паня с Ганей, отвечают:

— С нашей местности, а из какой деревни — запоматовали. Ужо дедушку Ефима спросим или бабушку Фаину.

Но и те вспоминают, вспоминают — вспомнить не могут. Одно говорят: наши Паня и Ганя, белозеры. Возможно и сейчас живы, здоровы, полесничают.

А вот что случалось у Пани с Ганей — это знают и дедушка Ефим и многие другие. Они мне о том рассказали, а я записал.

* * *

Купил Паня мелкопульную винтовку по белкам ходить. И пороху, и свинцу такому оружию мало требуется, и белкину шкурку не испортишь — стреляй ей в глаз. А Паня с Ганей стрелки — ого!

Надо на бою винтовку испробовать. Пошли дружки в лес, Босиком, в одних рубахах. Без шапок. Лето, жарынь!

Пенёк затесали и только пальнуть собрались, видят — бежит меж кустов медвежонок. Совсем маленький, с кошку.

Паня метится в него. Ганя шепчет:

— Не стреляй! Медведица где-нибудь рядом!

Разве удержишь охотничье сердце! Пальнул Паня. Взвизгнул медвежонок, ну, что ему беличья пулька, да ежели только по шкуре.

А тут и медведица!

Паня на березу, Ганя — за ним!

У медведицы — пена из пасти. Ревет! Дерет зубами березу, на которой дружки трясутся. Медвежонок успокоился, тут же бегаёт, будто дело его и не касается.

Может, медведица и на березу бы полезла, да тут по дороге кто-то с шаркунцами-бубенцами проехал. Повернулась медведица и потёпала в чащу.

— Слезем! — говорит Паня.

— Обождём! — отвечает Ганя. — Она хитрая. Может, в кустах ожидает, когда мы слезем!

До вечера на березе, как грачи, сидели. Потом слезли и по росе — домой да бегом, сколь нога земли заберет.

Паня впереди, Ганя позади. У Гани штаны от росы намокли, шлепают его по ногам. Кажется Гане, что зверь за ними бежит, кричит другу:

— Наддай, наддай! Догоняет!

Три дня потом отдышаться не могли.

* * *

Нехорошее это дело — лосей по насту заганивать. Теперь этим не занимаются. А Паня додумался. Говорит Гане:

— Загоним лося!

— Что ты, Паня! Да разве это можно?
— Вполне, ежели с благородной целью. Мы его не на убой. А когда он устанет, ляжет, мы ему веревку на рога и живьем домой доставим. Дома откормим, выучим в телеге и в санях ходить. Или в зоологический сад продадим. Для науки это очень интересно. Нам и заработок, и слава. Пойдешь?

— Коли так — пойду!

Ну, долго ли коротко — загнули лося. И так ловко получилось, что упал зверь у самой большой дороги. Удобно его вести до деревни.

Одна беда — на бегу Паня и Ганя всё покидали — и оружие, и хлеб, и полушубки, и шапки. При ножах остались. А главное — веревки бросили!

Паня догадлив:

— Мы из черемуховых прутьев поводки сделаем. На каждый рог. За один поводок тебе вести, за другой мне.

Повели лося большой дорогой. Мороз! От дружков пар идет. А лось ничего. Вышагивает тихо. Устал, милята!

Вот и село. А навстречу Панина собачонка Копейка бежит. Хозяйина увидела, обрадовалась — вот вернется, повизгивает, по-собачьи смеется.

Она-то всё дело и испортила. Увидел ее лось — мотнул головой туда-сюда. Лопнули черемуховые поводки — Паня вправо в сугроб, Ганя влево.

Пока поднимались, от лося только след остался.

— С Копейкой остались, не с рублем! — только и сказал Паня.

* * *

Ганя из починки от кузнеца свое ружье принес. На левый ствол медную заплатку кузнец припаял. Начистил ее толченым кирпичом. Горит, что месяц

в небе. Курок новый пристроен: не пальцем — кулаком поднимать можно. В морозную погоду это очень удобно. Ну и еще кое-что по мелочи — всего на два с полтиной.

— Надо проверить, хорошо ли кузнец свою работу справил, — говорит Ганя Пане. — Пойдем на задворки. пальцем по бумажке раз-другой.

Пошли. Ганя в ружейный ствол пять зарядов пороха сыплет, пять пыжей забивает, ну, и соответственно — пять мерок дрови и поверх всего оиять-таки пять бумажных пыжей.

Чтобы громким выстрелом уши не попортить, ружье к изгороди накрепко привязали, к спусковой собачке вожжу пристроили, сами за угол гумна спрятались, и оттуда Ганя за вожжу потянул.

Пальнуло ружье. Хорошо пальнуло!

Подожли к забору — нет ружья. С полчаса поискали — почти всё нашли. Кроме курка. Ну, снег стает, и курок найдется!

От ствола, правда, немного осталось. Казенная часть да еще по мелочи. Ложа уцелела. Ее, видимо, сразу в снег торнуло.

— Плохая починка! — говорит Ганя. — Придется с кузнеца деньги обратно потребовать!

* * *

— Не каждую зорю удача бывает, — говорит Паня Гане. — Иной раз сидишь, сидишь утро в шалаше, зябнешь, зябнешь, а тетерева, словно и не замечают чучелов. Не летят да и шабаш! А вот что я выдумал — приходи через неделю на Майлахту к березовой рощице..

— Знаю, знаю, там шалашка у тебя!

— Вот-вот! Приходи ко мне пораньше утром, я те-

бе покажу, как устроился. Теперь я всему тетеревиному стаду пан и хозяин! Вправо сядут тетерева, на край рощи — мои будут, на левый край — тоже мои. И посредине — мои. Вот как я умно выдумал! Да, вот послезавтра и приходи ко мне. С вечера. Переспим и на зорьке — в мой шалаш!

— У тебя на двоих сделан?

— Приходи, говорю, увидишь!

До рассвета поднялись, чайку попили, пошли на Майлахту, к березовой рошце. Самый тут лёт тетеревам.

Пришли. Ганя так и ахнул. Построен у Пани шалаш не простой — метров на полтораста длиною. На березовых столбах, на березовых жердях, еловыми лапками накрыт.

Вошли в шалаш — дом, настоящий дом! Высокий — ходить, не горбясь, можно, широкий — пятерым рядом стоять.

— Славно, славно! — похваливает Ганя. — Вот и мне такой же построить надо. Стог сена положить в средину можно, в случае чего, утреннюю зорю взял — до вечера поспать можно и домой не ходить. Только хлеба да табаку запас имей. А светает, друг! Давай теперь на березы чучела выставим.

Вылезли из шалаша. Что такое? Некуда ставить чучела.

Паня на свой шалаш всю рощу срубил. Прутика не оставил.

А так, вообще, шалаш замечательный!

Рассказал мне эту историю дед Ефим. А рассказав, помолчал, кому-то вроде подмигнул и добавил:

— Это, парень, как у нас, в районном центре. Вздумали парк изгородью обнести. Для красоты и культуры. Обнесли. Как же! Только на столбы да на жерди весь парк срубили. Чем не Паня с Ганей?



ЕГОР БЕССТРАШНЫЙ

АФРИКАН, которого ты за свою жизнь медведя позавчера убил?

— А ты что — бухгалтер, что ли? Ну, коли знать любопытно, — двадцать седьмого.

— Всех на колхозных овсах подкараулил или и на берлоге брал?

— Всяко приходилось. А ты вот не про меня послушай, а про Егора Бесстрашного. Вот охотник был, не нам с тобой чета! Прихожу я раз в Егорову деревню, со стариками на завалинке о том, о сём калякаю. Вот гонят с поля стадо. Все коровы как коровы, а одна — бочка бочкой, гора, а не корова...

— Причем тут корова?

— Слушай дальше, а то говорить не буду. Я на эту корову подивился, у стариков спрашиваю: «Чья?» «Егора Бесстрашного», — отвечают.

— Ладно! Вот идет какая-то женщина к амбарушке у гумна, выносит оттуда три пиджака старых ватных, трои штаны такие же ватные стеганые, валенки, шапку зимнюю да тулуп. Я и этим интересуюсь, чье — спрашиваю. Старики в один голос: — Егора Бесстрашного!

Интересно! Сидим. Беседуем. Вот женщина эту зимнюю справу по изгороди проветриться развесила,

запрягает бурого мерина в телегу на железном ходу, ставит на телегу два кузова с репой. Я опять с вопросом:

— Куда же она справляется, кому репу готовит?

— А это, прохожий человек, Егора Бесстрашного на охотишку снаряжают. Сегодня в ночь поедет он на овсяную ниву медведя подкарауливать.

Мое дело, сам понимаешь, охотничье — за живое забрало. Допытываюсь, где Егор живет, как мне с ним знакомство завести. Вхожу я в Егоров дом, хозяина спрашиваю.

На печи мужичонко сидит небольшенький, покуривает:

— Я, Егор Бесстрашный! А вам, разрешите узнать, чего от меня надобно?

— Так и так, я, Африкан, полесник. Бывало не раз у меня дело с медведями, так вот желательно узнать, как вы этим промышляете?

Егор приосанился, кашлянул, руку в бок:

— Поучить могу. Перво-наперво узнаю, на какую ниву повадился медведь ходить, где он овсом питается...

— Это понятно!

— Потом я лабаз рублю не ниже трех сажен от земли...

— Можно бы и пониже. Ну да ладно!

— Ниже ни в коем случае! Медведь может на дыбашки встать, охотнику когтем штаны порвать. Ну вот. Вечера дождусь — запрягает жена моего бурого мерина в телегу на железном ходу, одеваюсь я в ватные пиджаки, в штаны теплые стеганные, в тулуп оболокаюсь...

— Это зачем же?

— Экой ты, полесник, недогадливый! Учись у меня! В толстой одежине сидеть тепло и случись мед-

ведю под лапу попасть — не скоро его когти до моего белого тела доберутся.

— Правильно!

— Ну, ружье беру, топор, рогатину. Кроме того, два кузова с репой на лабаз подымаю. Оно сидеть и не скучно. Курить нельзя — медведь дым учует. А от репы запах медведю приятный. И мне хорошо — репа сладкая. Грызешь ее — сон не морит. Кожуру под лабаз кидая.

— Ясно, что под лабаз, а то на нем и сидеть места не останется!

— Нет, не потому. Лабаз у меня шире этой избы. А потому, что утром жена за мной приедет, репные объедки в короба сгребет и корове их скормит. Зато и корова у меня в теле.

— Видал, видал! А скажи, брат Егор, сколько ты на своем веку медведей добыл и матёрых ли?

— Ни одного, брат Африкан, ни одного! Боятся меня медведи, не подходят к лабазу!



Сказки

И ЛЕГЕНДЫ



— Есть и такие, осударь, есть! Как им не быть. У нас всякие речки есть. Вот хоть Сивельба речка. В сухих берегах. И дно у ней песчаное, чистое, с камушком.

По мужицкой простоте хотел Аким спросить — на что царю такая речка занадобилась, да вовремя язык придержал. Смотрел на царя, выжидая.

Царь прошелся перед низким столиком, что стоял посреди полотняного шатра. Подумал, присел на складной ременчатый стул.

«Шаг у царя тихий, кошачий, — думал Аким. — И обувь не иначе шелковые лапотки. Шагов не слышно».

— Ну, слушай, старик! Заутро поведешь меня с моими людьми на эту речку. Можно пройти на нее тропами конникам?

— Верхоконному можно. Ино место есть топи, ну ничего, были бы топоры, кустиков порубим, топное место выстелим. Пройдем!

— До солнца будь у моего шатра. И никому ни слова, о чем я с тобой беседовал, даже попу на смертной исповеди, а то...

— Понимаю, осударь-батюшка!

— Иди!

* * *

В новых лаптях березового лыка, в новых беленьких онучах, перекрещенных только что свитыми пеньковыми оборами, шагал Аким лесной тропой, не оглядываясь. Слышал за собою фырганье коней, знал — еще утром заметил — сразу же за ним едут с полсотни конных воинов, посреди них сам царь на белом коне великой красоты. За воинами тянулись пешие трудники. Кто их знает, откуда они. Должно быть не все русские — смуглолицые, глаза

узкие. А есть и русские, видимо, из татей, воров. Все — в лохмотьях, босые, тощие.

За трудниками — кони под вьюками. Вьюки — в кошмах, небольшие, а, верно, тяжелые. Этих коней тоже войны ведут, как и передовые в железных шапках, при сабельках, с сагайдаками. Народ угрюмый, мало-словный...

Дивясь такому небывалому людству, чекотали, перелетая с дерева на дерево, лесные вестовщицы — сороки. Иной раз выметывался из-под куста перепутанный заяц. Белки шныряли в ветвях елей и сосен, любопытничали, цокотали сердито на людей.

Хоть и под осень дело, нет-нет да и увидишь золотой листик на осине либо на березке, и трава подсохла, мало в ней цветов, но в глубине лесных чащ было еще тепло, и одолевали скотину и людей комариные полчища, лезла в глаза и уши липкая мошка-потыкушка — лесной гнус. Мотали кони головами, позвякивали удилами. А люди молчали...

Перевалило солнце за полдень, загулял в вершинах леса вольный ветер. Воин тронул Акима за плечо:

— Ищи место для привала. Чтобы у воды и коням корм был!

— Найду. Для того малость с тропы свернуть нужно!

Вывел Аким народ к озеру, на доброе местечко. На том берегу — бор сосновый, на этом — луг, кой-где березы по нему.

Пока кони паслись — люди полудничали. Дали всем по ржаному сухарю, по куску черного вяленого мяса, по горсти толокна. Огня не раскладывали. Царю наскоро шатер поставили, пронесли туда блюда с мясом и рыбой, кувшины, сулей.

Аким поел, водичкой запил, присел под елочкой

вздремнуть. А тут к нему отрок светловолосый — подносит чару непростого вина:

— Царь-осударь тебя, старик, жалует! Выпей за его светлое здоровье!

— Спаси его господь за великую милость! Пью за его здоровье! Только бы не захмелеть, с тропы не сбиться!

— Смотри!

— Буду смотреть! Мне своя голова дорога! Ах, сладкое вино и запашистое! Век бы такое пил!

— Ишь чего захотел! Далеко не отходи — кони поедят, мы опять в путь.

— Не учи, вьюнош, понимаю!

* * *

Опять пофыркивают кони за спиной и звенят удилами. Опять докают белки по соснам и елям. Вот и вечер пришел — ясный, тихий. Над болотами закачались туманы. По вершинам еще солнце светит, а внизу, под деревьями, уже мгла. Трудно искать тропу в эту пору! А надо, коли головой дорожишь. Шел Аким по-звериному — иное место по памяти, иное догадкой.

Потом месяц поднялся, порадовал лесной мир. И Акиму радостней стало, легче. Вот и последняя болотинка, а за ней сухие сосновые боры до самой Сивельбы.

— Скоро ли, старик, твоя речка? — услышал за собой Аким резкий, что удар кнута, царский голос. Но не сробел и, не оборачиваясь, ответил:

— Еще одно петушиное пенье пройдем — и речка!

Вскоре между сосен сверкнула плавленным оловом светловодная речка Сивельба.

— Пришли! — сказал Аким и сбавил шаг. — Пришли!..

Разложили огни. И, наскоро пожевав сухаря, люди валились, сбитые с ног трудным путем, засыпали кому как пришлось. Царю опять шатер натянули. Встали у него три воина на страже. И еще — то там, то здесь — тоже воины на страже стояли. Коней в луга отвели, а вьюки с них сняли, сложили грудой, и у нее два воина с саблями наголо.

А что до того Акиму? Он свой, малый огонек разложил, накидал на пламя сухих ольшинок, осинок, чтобы ночью от дурной искры свою одежину не прожечь. И вытянулся устало — ныли ноги, сердце било в ребра. Нелегкий и дальний путь до Сивельбы!

Утром Аким никому не понадобился. Полеживал старик у своего огонька, благо его не тревожили, грыз сухарь, дивился тому, что видел.

Перво-наперво сам царь с несколькими воинами по берегам Сивельбы проехался и вниз и вверх по течению. А потом подняли воины трудников, роздали им кому топоры, кому лопаты. И закипела работа — рыли новое русло для Сивельбы, а старое наскоро заплотинили и пустили воду новым.

Той порой другие трудники валили сосны и сруб рубили вроде как для большой избы. И когда побежала Сивельба новым руслом, в старом выкопали яму, опустили в нее сруб — верхним бревном вровень с землею.

Дальше еще дивнее пошло. Стали вьюки развязывать, а в них бочонки малые, а грузные — двое каждый бочонок в сруб несли, укладывали их там. И ларцы кованые во вьюках были — тоже грузные. И кожаные тюки. Развязался один такой тюк — посыпались из него на землю серебряные и золотые кубки,

блюда, чаши, ендовы. Наскоро эту дорогую посуду опять в кожу увязали и снесли вместе со всем другим в сруб.

А когда было все уложено, накрыли цареву богатство смолеными кошмами, поверх их — сосновыми плахами. И всё это засыпали глиной, утоптали ее.

Потом разрыли плотину, и Сивельба пошла опять старым путем.

Сам царь на пригорочке всё это время сидел на своем ременчатом стуле, хмурился, подзывал то одного, то другого воина, приказывал ему что-то. И еще пуще кипела работа.

Ночью только всё закончили. Видимо, рад был царь Иван Васильевич, что ухоронил в великой сокровенности свое золото, серебро. Приказал — слышали это все — накормить трудников получше и по чаре хлебного вина поднести.

Ждал Аким, что и его воины не забудут. Нет, обнесли. Обидно было старику, да что ж поделаешь? Терпи! Ладно еще свои сухарики были. Погрыз их и опять у огонька прикорнул по-заячьи чутко.

На заре продрог он, вскочил, подкинул дровец на угли, раздул их. Туман висел над поляной. По-прежнему стояли воины на страже у царского шатра и по углам поляны. А трудники спали. Ужаснулся Аким, усмотрев, что спали они последним сном, скорчившись не по-хорошему, с синими, словно от удушья, лицами. Едва-едва поднимались дымки над потухшими кострами.

Долго, не шевелясь, сидел Аким у своего огонька. Вот и солнце стало подниматься, забагровели туманы, поползли над Сивельбой — гнали их солнечные лучи.

Окликнул кто-то воинов. Стали они подниматься со своих мест. Разобрали лопаты, принялись копать ров — длинный и глубокий.

— На всех одну могилу роют! — догадался Аким. Набрался смелости, тоже взял лопату и стал вместе с воинами копать.

Воины словно и не замечали его. Переговаривались потихоньку:

— Крепкое вино!

— Чего и говорить! Варламко того не ведал — одну чару утаил от сотника, сам выпил. Теперь и его тут положить придется!

— Не копать же ему отдельно!

— Тише вы! Чего мелете? Вон сотник стоит!

Покидали покойничков в яму, завалили их желтой глиной. Поверх всего бурелому натаскали, будто и от веку так было на этом месте.

* * *

Знал Аким, что и ему теперь немного жизни отмерено. Да, пожалуй, и из воинов в скором времени мало кто в живых будет. Не таков царь Иван Васильевич, чтобы своим тайным с другими делиться. А раз так, берегись!

Видел Аким, что не спускают с него глаз. На привале от него не отходят, чуть что — окрик: «Куда?».

Коней кормили опять у того же озера, что и в прошлый раз. Улегся Аким под кустиком, а чуть от него люди подальше отошли — по-змеиному ползком под другой кустик переполз, под третий да под сосенки, под березки. Дышать боялся. Сучка малого не сломал. Еще, еще подальше. Привстал да со всех ног в чащу! Так и лоси не бегивали!

Только тогда и перевел дух, когда понял, что теперь его не только царевы воины, а и собаки не найдут. Осину за приметил преогромную с дуплом — в нем и ночь перекоротал. А утром пошел кружить и пет-

лять лесами, с детства родными, знакомыми. Доел последние сухарики, грибы собирал, пёк на золе. Лук из вересинки натянул, ладно был с собою сыромятный ремешок, на тетиву стрелок тупоносых наделал — белок сшибать. Пёк их и ел.

А все же отощал старик. Без хлеба в лесу человеку худо. Да и погода на осень по-настоящему потянула. Пожелтела листва осин и берез, зачастили холодные, косые дожди.

Сторожко выбирался Аким к родной деревне. А подошел вечером к ней, понять не может — место то же самое, а деревни нет. Изгороди целы, торчит колодезный журавель, а ни одной избы. И кисло пахнет холодным дымом.

Выбежал Аким на поляну, всё понял — сгорела деревня! А люди где?

Нет людей! Пусто!

Впервые за многие годы заплакал Аким. Хоть и был он бобылем, бессемейным, а все же родство в деревне было. Да и как жить теперь одному без человеческого голоса? В другую деревню прибиться? К новым людям привыкать?

Глянул Аким к озеру — видит, банька одна уцелела, дымок над крышей курится. Аким туда!

Сидит у очага ровесник Акима — Макар Дикой. Ворошит угли палочкой, сам с собой разговаривает.

— Макар, жив? А люди наши где?

— Я-то жив. А ты-то как?

— Видишь — живой. Люди где, спрашиваю?

— Люди? Далеко люди. Может, за Москвой.

— Пошто так?

— Да так! Царь с воинами приехал из лесу. Других, тех трудников с ним нет. И вот приказывает: мужикам с семьями собираться, скотинку с собой взять. «Вы, мол, теперь боярину обоброчены, под ним

жить будете, за Москвой. Хватит вам черносошниками быть, жить своим побытом». Повыли бабы, да разве царя оспоришь? В одночасье сложились и погнали их на новые места. А воины тут некоторые призадержались, запалили все строенья, хлеб, который не молочен был, в скирдах. Я-то припрятался в лесу. Мне сын мой Максим шепнул: «Жди нас, тятя, возвернусь сюда рано или поздно!» Вот, буду ждать! Куда денешься! А ты где, полесник, пропадал?

Подумал-подумал Аким: «Не велел царь язык распускать. А плевать теперь и на царя, раз он так делает! Не достанет царь Акима! Аким в лесу, сказано, дома» — и все рассказал Макару.

— Ну, и живи со мной, — говорит Макар. — Вдвоем веселей. На дальней пустоши скирда ячменя осталась нетронутая да копенка овса. Вот нам с тобой и хлеб. Рыбы, дичины добудем. Топоренко у меня есть — избу срубим. А там, может, и Максим с бабой, со внучатами назад выбежит.

Улеглись спать. Хорошо под кровлей, у огня, когда над лесом дикая осенняя ночь с ледяным ветром, с дождем и лес шумит-ревет.

— Макар, а Макар?

— Чего тебе?

— Ты про клад-то и прочее — помолчи. Как бы куда нам с тобой не было. Из-за клада-то царь и мужиков отсюда увел, деревню сжег.

— Ладно! Нам с тобой клад ни к чему. А придет время — не внуки наши, так правнуки до этого клада доберутся. Ты — спи!



АНДРОН СУКОЗЕРСКИЙ

В НАШЕЙ деревне Сукозеро во старинные времена жил проживал Андрон-богатырь, простой мужик. Малость его послабее был его дружок Алеша, что жил на другом берегу. Был на обоих один богатырский топор. На тот топор собирали железо с трех волостей, на второй топор и не хватило бы. Как поработает Андрон топором, Алеша с того берега крикнет:

— Андронко, дай топоренко!

Андрон ему топор и бросит за озеро. Это за три версты с гаком. Алеша отработается — Андрону топор перебросит.

Поехали как-то мужики-белозеры зимой в Москву с рыбой — со снетком да с судаком мороженным. Рыбу расторговали, калачи на возы поклали, видят — куда-то народ бежит, торопится:

— Куда торопитесь?

— А на большой площади сидит царь на золотом стуле, и борются перед ним разные богатыри, так вот и бежим смотреть. Пойдемте-ко с нам, рыбаки!

Куда народ, туда и белозеры. Пришли, местечко себе вытолкали, стоят, смотрят, переговариваются:

— Разве это богатыри? Сюда бы Андрона сукозерского. Он бы их всех пылью сделал, в снег втолок!

Дошел этот разговор до царя. Подхватили солдаты белозеров под руки, привели к царю:

— Вот это они своим богатырем хвастают, Андроном каким-то!

Царь говорит:

— Кто этот Андрон, почему я о нем ничего не слыхивал?

— Андрон — это наш мужичок с Сукозера. А что ты не слыхал, царь, о нем, так и не диво — Андрон человек простой, полесничает, рыбу ловит, хлеб пашет да сани вяжет. Такие же у него промыслы, как и у нас. Где же тебе об Андроне слыхивать? А силы у Андрона побольше твоих богатырей!

Царь солдатам приказывает:

— Посадить мужиков-белозеров в темницу. Пусть там сидят, пока Андрона сюда не привезут. Коли их правда и оборет Андрон моих богатырей — наградить Андрона и мужиков, а коли неправда — срубить им головы!

Поторговали рыбой, что и говорить! Повели мужиков в темницу. А солдаты на коней, и в Сукозеро.

Как раз под вечер в деревню доставились. Входят в Андронову избу, а жил он только с матушкой своей. Андрона дома нет. Старуха прядет.

— Здорово, бабушка! Дома ли твой Андрон-богатырь?

— Здравствуйте, служивые. Андрона дома нет, он в лесу, скоро придет. А вы полезайте-ко на полаты, да лежите там смиреннько, а то Андрон из леса придет голодный, сердитый. Пока не поест и говорить с ним нельзя.

Вот стемнело, лежат солдаты, молчат. Вдруг вся изба дрогнула, потолочины подскочили, половицы скобочило.

Солдаты шепотком:



АНДРОН СУКОЗЕРСКИЙ

В НАШЕЙ деревне Сукозеро во старинные времена жил проживал Андрон-богатырь, простой мужик. Малость его послабее был его дружок Алеша, что жил на другом берегу. Был на обоих один богатырский топор. На тот топор собирали железо с трех волостей, на второй топор и не хватило бы. Как поработает Андрон топором, Алеша с того берега крикнет:

— Андронко, дай топоренко!

Андрон ему топор и бросит за озеро. Это за три версты с гаком. Алеша отработается — Андрону топор перебросит.

Поехали как-то мужики-белозеры зимой в Москву с рыбой — со снетком да с судаком мороженым. Рыбу расторговали, калачи на возы поклади, видят — куда-то народ бежит, торопится:

— Куда торопитесь?

— А на большой площади сидит царь на золотом стуле, и борются перед ним разные богатыри, так вот и бежим смотреть. Пойдемте-ко с нам, рыбаки!

Куда народ, туда и белозеры. Пришли, местечко себе вытолкали, стоят, смотрят, переговариваются:

— Разве это богатыри? Сюда бы Андрона сукозерского. Он бы их всех пылью сделал, в снег втолок!

Дошел этот разговор до царя. Подхватили солдаты белозеров под руки, привели к царю:

— Вот это они своим богатырем хвастают, Андроном каким-то!

Царь говорит:

— Кто этот Андрон, почему я о нем ничего не слышал?

— Андрон — это наш мужичок с Сукозера. А что ты не слышал, царь, о нем, так и не диво — Андрон человек простой, полесничает, рыбу ловит, хлеб пашет да сани вяжет. Такие же у него промыслы, как и у нас. Где же тебе об Андроне слыхивать? А силы у Андрона побольше твоих богатырей!

Царь солдатам приказывает:

— Посадить мужиков-белозеров в темницу. Пусть там сидят, пока Андрона сюда не привезут. Коли их правда и оборет Андрон моих богатырей — наградить Андрона и мужиков, а коли неправда — срубить им головы!

Поторговали рыбой, что и говорить! Повели мужиков в темницу. А солдаты на коней, и в Сукозеро.

Как раз под вечер в деревню доставились. Входят в Андронову избу, а жил он только с матушкой своей. Андрона дома нет. Старуха прядет.

— Здорово, бабушка! Дома ли твой Андрон-богатырь?

— Здравствуйте, служивые. Андрона дома нет, он в лесу, скоро придет. А вы полезайте-ко на полаты, да лежите там смирененько, а то Андрон из леса придет голодный, сердитый. Пока не поест и говорить с ним нельзя.

Вот стемнело, лежат солдаты, молчат. Вдруг вся изба дрогнула, потолочины подскочили, половицы скобочило.

Солдаты шепотком:

— Что это, бабушка?

— Это Андрон из лесу пришел, принес полозья и вяза на десять пар дровней, ношу к стене сбросил. Лежите-ко, не дышите!

Андрон в избу вошел, топор под лавку:

— Давай, матушка, пообедать!

— Садись, сынушко!

Ставит бабушка на стол ведро осиновое долбленое с ключевой водой, кладет хлеба каравай с тележное колесо и тут же ставит кузов моху белого болотного.

Андрон — за стол. Отломит кус хлеба, мхом его обернет да и сжует, потом водой запьет. Оно и понятно — тогда на нашей земле хлеб плохо родился, где ж такого богатыря, как Андрон, чистым хлебом напитать!

Поел Андрон, подобрел, спрашивает:

— А кто у нас, матушка, чужой в доме есть? Видел я за нашим двором московские сани, ковром крыты.

— Это, сынок, к тебе солдаты от царя приехали. Похвастались там наши мужики-белозеры твоей силенкой. Вот и посадили их в темницу, пока ты сам в Москву не приедешь, с другими богатырями не поборешься. Тогда, коли их оборешь — мужиков выпустят и тебя наградят.

— Ой, не пошел бы я в Москву, да надо мужиков выручить. А все же пусть малость посидят, зря языки не распускают, пустого не бают.

Солдаты с полатей слезли, всё по-хорошему обошлось.

Утром сажают они Андрона в сани. А он говорит:

— Сани да с ковром — дело господское, не по моим домотканым портам. Вы поезжайте-ко в Москву сами по себе, а я на лыжах напрямик лесами побегу, от вас не отстану да по пути все клепи-ловушки свои

на зверя сниму, чтобы зря зверь не попался, не попортился.

С Андроном не поспоришь. Сели солдаты в ковровые сани, встал Андрон на свои рябиновые лыжи — только снег за ним столбиком завился...

Приехали солдаты в Москву, а наш Андрон уже там. Прямо к царю прошел:

— Ну, давай твоих сильных богатырей, будем бороться, а то мне некогда!

— Куда, Андрон, торопишься? Три дня ждать тебе придется.

— Торопиться мне приходится — дома работа стоит. А три дня обожду, коли надо.

Приказал царь поить-кормить Андрона, сколько ему потребуется, повелел ему везде беззапретно ходить-гулять три дня.

Гуляет Андрон, веселится. И потерял он свою меховую шапку. Идет к царю:

— Царь, я свою шапку не то потерял, не то украли ее у меня. Прикажи поискать.

— Я тебе новую прикажу сшить.

— У меня и старая хороша, три лисы на нее сам поймал, а шита она моей родной матушкой. Твоим портным так не изладить.

Послал царь сто солдат искать Андронову шапку. Идут солдаты улицей, видят — несут четыре мужика на жерди не пойми что — то ли тулуп лисичий, то ли мешок меховой.

— Что такое?

— А вот нашли, а что — не понять. Вроде вороньего гнезда.

— Это, должно быть, Андропова шапка. Давайте ее сюда.

С той поры по нашему Белозерью поговорка живет:

«Андропова шапка и в Москве не потеряется».

Ну, день за днем — прошли три дня. Собрался народ на площади, сел царь на золотой стул, повелел сильным богатырям с Андроном бороться. Всех Андрон митом покидал, а один крепок попался — сам Андрона на вершок от земли поднял, и лопнула при этом у Андрона пеньковая оборина у лаптя. Рассердился Андрон:

— Бороться так борись, а зачем оборину порвал? Хорошая пенька только в Белозерье и растет, где я теперь в Москве новую оборину справлю?

Подкинул богатыря выше колокольни. Пал богатырь на землю, до смерти убили.

Говорит царь Андрону:

— Силен, силен, белозер! Иди-ко теперь домой и мужиков своих из моей темницы возьми. А чем тебя, Андрон, наградить?

— Мне ничего не надо. А только повели, чтобы наши сукозерские мужики безданно-беспошлинно подсеки жгли, рыбу ловили, зверей в лесу били.

— Пусть по-твоему будет. Дать на том Андрону мою грамоту и хлеба три воза.

Вот, прошло немалое время и стало трудно жить. Нашли на нашу землю паны, стали села-деревни жечь-палить, народ убивать. И к Сукозеру раз подошли, да Андрон их с сотню один перебил, в воду покидал. Одного живьем поймал и обратно пустил:

— Скажи своим панам, чтобы сюда больше не хаживали!

Какое там! Их еще пуще разожгло — как бы Андрона извести. Собрались большой силой, пошли опять на Сукозеро.

Ну, началась война! Андрон разворачивается, а панов — туча черная. Кликнул Андрон дружка своего Алешу из-за озера на подмогу.

А тот вяловат был. Да и потерял на ту пору свою

боевую дубинку вересовую трех аршин в длину, пяти вершков в отрубе. Искал, искал — не нашел. Догадался — мельницу-ветрянку остановил, жернов снял, на канат его к своей шее привесил и поплыл через озеро.

Той порой Андрон много вражьей силы приубавил. Схватился с одним паном — не может пробить своим ножом его рубахи — она у него железная. Алеша на берег вышел, от воды по-собачьи отряхнулся, кричит:

— Бей его, Андрон, ножом промеж ног — там нет железной рубахи!

Ударил Андрон пана ножом — разорвал его до головы.

Совсем панов мало осталось. А был среди них один хитренький. Кричит своим:

— Стреляйте Андрону в рот, а то он еще раз крикнет, тогда и другие русские богатыри набегут — будет нам конечная погибель!

Стрельнули паны, и попала пуля Андрону в рот. Погиб богатырь.

Разгорелась душа у Алеши. Начал своим жерновом посвистывать направо и налево — всех панов в землю вбил...

А похоронили Андрона у нашего Сукозера, вон на том бугорке. Алеша на его могилке свою вересовую дубиночку воткнул. И выросла из той дубинки немалая вересинка.

Теперь-то ее нет, пала от старости. А вересом этот бугорок и по сей день порос. Глянь, как он там кудрявится!



ЗМЕЙ-СВИСТУН

ЕСТЬ у змей свой князь. Большой, в сажень, сам белый, глаза красным огнем горят, на голове золотая корона. Не шипит он, как все змеи, а свистит и коли свистнет — с дерева лист осыпается, на озере волна подымается...

Вот, поздней осенью было, по заморозкам уже. Шел лесом один охотник и провалился в подземную пещеру. А была та пещера не простой — в ней Змей-Свистун зимовал и около него тысячи змей.

Пал охотник среди змей и замер. «Конец, — думает, — пропал!» А оно ничего, обошлось. Не трогают змеи охотника, а Змей-Свистун лежит кольцом на сером камне, голова поднята, и корона на ней светится. От нее в пещере, что в лунную ночь, светло.

Сутки ли двои прошли — зашевелились змеи, поползли к серому камню, лижут его. И охотника к камню толкают, шипят:

— Лиж, лиж!

Полизал охотник камень, и ни есть ни пить ему не захотелось. Вот какой это камень!

До весны охотник в той пещере жил. А весной поползли змеи вон, под солнышко. И охотник с ними на волю выбрался. Он-то и рассказал людям про Змея-Свистуна, про серый камень.



ЧЕРЕМУХОВЫЙ СНЕГ

НА охотничий ночлег Африкан устривается не спеша, со вкусом и знанием дела. Ночлег — сухая чистая полянка под старухами-елями, у ручья, чтобы ночью не один раз чайник вскипятить. Сначала Африкан ружье, котомку, полушубок по сучкам развесит, но так, чтобы всё под рукой было, потом начнет дрова заготавливать, чтобы на всю хватило. Только и слышишь, как трещит валежник в чаще под Африкановыми ногами.

— А ты, парень, — командует он мне, — вырубь сошки да жердочку, надо первым делом чайник вскипятить. Чай в лесу — золотое дело.

Замахиваюсь топором над каким-то деревцом — ветки его рогулькой. Это и надо для сошки-рогульки. Африкан — цоп меня за руку:

— Ты какое дерево рубишь?

— Какое дерево? Черемушка, кажется. А что?

— Весной черемуху нельзя рубить! Вон ольхи, березки сколько уютно.

— Грешно, что ли?

— Дело не в грехе. В другом. Сядем чай пить — расскажу. Ты еще мало по лесам ходил, охотничьи правила не знаешь.

Один чайник выпит, второй к концу. А ночь еще долга. Африкан в одной рубашке блаженствует у огня, отдыхает.

Поговорим, словно нехотя, и помолчим, прислушиваясь к шорохам и звукам весенней ночи. Вот журавли перекликнулись, протрубили на дальнем болоте, вот заяц где-то бебекает, подзывает зайчиху, вот бекас завел свою дребезжащую песенку.

— О черемухе обещался ты сказать, Африкан.

— О черемухе? Можно. Налей-ка мне еще кружечку...

И начинает, как всегда, раздумчиво, словно слушающая сам себя:

— Как и полагается, в старинные годы это было. Может, еще до деда моего дедушки. Вот когда. Черемуху люди всегда уважали. Не простое это дерево. Весной зацветет — смеяться хочется от радости. Молодежь черемуху особо уважает...

Он помолчал, опять прислушиваясь к ночным голосам, взглянул на звезды:

— Скоро и нам пора на добычу. Вот о черемухе... Хорошее дерево. Зачем его трогать? Ну, цветов наломать, полюбоваться — это можно. А в старину так случилось...

Он еще помолчал, сдвинул теснее головни костра:

— Мужичонко какой-то своекорыстный, злой, так-то вот весной в те годы, топор за пояс и в лес.

«Куда? — спрашивают, — зачем?» «Оглобли вырублю. Черемуховые хочу завести». «Ой что ты, парень! Зачем в эту пору, когда черемуха цветет, такую красу рушить! Не тронь черемуху, пусть стоит над озером, красуется. Разве мало другого дерева? Березовые оглобли еще лучше!» «Что вы понимаете? Что вы мне поперечите? Как хочу, так и ворочу!»

День был знойный. Солнечный. Мужичонко в одной рубахе пошел. Подыскал черемушку подходящую, всю в цвету. Тяпнул по ней топором. Посыпались с черемухи белые лепестки. Тяпнул еще раз топором — потемнело небо, подул ветер-зимарь. И не лепестки с черемухи полетели, а снежинки да всё гуще, гуще. Зима вернулась. Мужичонко так застыл, что едва до дома добрался. Вот с той поры, как черемухе цвести, так обязательно отзимок будет. Это верней верного.

— А что, Африкан, холодает весной не один раз. Только не от черемухинога цвета. Тут какая-то другая причина.

— Это вы, ученые люди, причину ищите. Я тоже думаю, что черемуховый цвет тут ни при чем. Зато сказка ладная.

— Ладная, говоришь?

— А как же? Черемуху оберегает от напрасного поруба. Хорошая сказка!



РАЗНАЯ ВОДА

В СЕМОЗЕРЕ вода мутная, желтая, в Черном, не зря оно так названо, что деготь. В Улозере вода чистая, дно глубоко видно, каждый камушек будто рядом с тобой. А это вот почему.

В старые времена в те места три брата пришли. И каждый врозь от другого жить начал, каждому по озеру досталось.

Старший брат нехорошими делами занялся — прохожих, проезжих на дороге перехватывал, грабил их, убивал, тела в озеро бросал. Почернела вода в его озере. Стали называть его Черным.

Средний брат ровненько жил, а тоже худым делом не брезговал. Ну, только людей не убивал. Обманом капиталы наживал, воровством. Бывало, приедут к нему кто из начальства краденое искать, а он это добро в озеро опустит. Разве там найдешь его? Помутилось это озеро. Грязная вода в нем стала.

А на Улозере третий брат жил. Ну, про этого худого не говаривали. Хлеб сеял, полесничал, рыбачил. Тем и жил. И осталось его озеро чистым, светлым.

Давно это было. Оно, может, и сказка, да все равно — три озера рядом, а вода в них разная. Значит, не без причины.



КИРИКОВА ПИКУЛЬКА

ПОМОГ Кирик деду Ферапонту воз с сеном из дорожной промоины вытащить. Выручил старика.

Дед Ферапонт тайное знал. Говорит Кирику:

— Полесник ты молодой, а большой добычи домой не нашивал. На, вот, от меня подарок — пикульку на рябков. Век благодарить будешь!

Пошел Кирик за рябками. Сел под елочку на пенек, свистнул в пикульку:

— П-р-р-р! п-р-р-р! — отовсюду рябки летят.

Налетело их — со всего леса. Может сто, может двести. Уселись на веточках, что воробьи на гумне.

Выпалил Кирик, сшиб сразу двоих. А остальные прочь не летят. Перезарядил Кирик ружье — выпалил. Еще два рябка пали, не шевельнулись. А остальные сидят, смерти дожидаются.

Тошно стало Кирику. Подобрал он убитых рябков, в котомочку поклат — домой.

Стукнул деду Ферапонту в окошко:

— Возьми, дедушка, свою пикульку.

— Аль не понравилась? Пошто так?

— А какая это охота? Одна тоска! Не надо мне такой пикульки. Нет в ней для меня интересу!



ЛЕСНОЙ ПРАЗДНИК

БЕЗ бересты настоящего сапога не сошьешь. Проложишь подошву берестяной стелькой — сапог воду не пропустит. И скрип у сапога настоящий...

Бересту хороший мастер не когда попало дерет, а весной, по первому листику. В ту пору дерево соком налито, тугое. Тронь бересту ножом — сама от ствола отстает, бежит.

Пошел как-то один сапожник бересту драть. Весной. Вечером. Тихий такой вечер, солнышко садится, в лесу всё румяное.

Отыскал наш сапожник березовую рощицу, а в ней березки стройные, чистые. А какая береста на них!

Чиркнул сапожник своим косым ножом по стволу. Что такое? Была под ножом белая береста, а тут вдруг потемнела, еловой корой обернулась.

Протер сапожник глаза, думает:

— Как же так я ошибся? Была береза — стала елка. Ну, ладно, вон какая баская береза стоит, сниму с нее бересту чулком.

Чиркнул ножом — опять нет березы. Стоит на том месте ель старая-престарая.

Понял сапожник — неладное дело. Не в пору пришел, надо домой торопиться.

Дома отцу своему, старику, рассказал про дивное диво. Отец отвечает:

— Угадал ты, сынок, в лес на лесной праздник придти. Раз в году бывает этот праздник, а когда — никто не знает. В тот день, в праздник, нельзя в лесу даже малого сучка сломить — лес сам себя от топора и ножа, от человека бережет, коли мы его беречь не умеем.



ГАРМОНЬ ВЫРУЧИЛА

МОЛОДОМУ парню к любушке за семь верст сбегать — пустое дело. Ильюшка день в лесу поработал, вечером поужинал и засобирался. Валеночки новенькие обул, пиджачок получше, гармонь в руки — и в ход.

Полям шел — гармонь развел. Удалую сыграл во все меха, на развал. Пусть свои деревенские девки слушают да каются, понимают, что Ильюшка к дальней сударушке торопится, коли среди своих подходящих нет, все из себя принцесс строят!

По морозу далеко гармонь слышно. Вот и бор. Сосны толстенные, одна от другой редко стоят. При месяце вдаль хорошо видно.

Ильюшка шагу убавил. Лады заперевирал — заиграл задумчиво, как в дальнем пути полагается. И что ты скажешь? Волки! Бегут по насту и прямо к Илье. У того с перепугу ноги подкашиваются.

«Конец, видно! Вот и походил к милке за семь верст! Как от волков обороняться? А дай, — думает Илья, — на басы нажму, может волкам не понравится!».

Заиграл. А волки подбежали поближе, уселись, хвосты по снегу распушили, слушают.

Поиграл Илья, осмелился, пошел потихоньку. И волки вдоль дороги бегут, а парня не трогают. Встанет

Илья — волки сядут. Пойдет — бегут. Смекнул парень — волки собакам родня. А собаки игру понимают — иной раз человек играет, а собака только жалобно воет. Видно и волкам игра нравится.

Так семь верст его волки и провожали. Ильюшка чуть пальцы не отморозил играючи. А перестать нельзя. Перестань — волки на тебя сядут.

У сударушкиной деревни волки от него отстали...



ЗМЕЙ И БУРЛАК

ВОТ — озеро! Так, с виду ничего особенного. А приглядись-ка, коли смека-

лист, увидишь — озеро на отличку от других. Берега крутые, высокие, а воды немного. По берегам этому озеру и большим и глубоким быть, да тут особое дело... Вода, говоришь, речкой из озера сбегает? Правильно. Не держится в нем. И речка особая, вишь, какая извилистая? Хочешь знать, почему она такая извилистая и почему озеро на отличку — берега крутые, а воды мало? Ну, расскажу, не знаю только правда или сказка, а что от стариков я в молодости слыхивал, то и вам скажу.

Змей тут где-то поблизости жил в старинные годы. Огромный, крылатый. Людей, говорят, жрал. Всякие богатыри, сильные люди со змеем биться приезжали, да сила не брала. На змее кожа медная ли железная была, только ее ни мечом, ни копьём не пробьешь.

Стало народу тошно, побежали из наших мест. А каково родимую сторонку покидать, идти неведомо куда? То-то же!

А вот нашелся простой человек, бурлак, смог этого змея одолеть. Не силой — выдумкой своей. Ну, верно, и силенка у него, должно быть, была. Потому сужу, что собрал он по народу двенадцать пудов соли,

да столько же муки и испек двенадцать хлебов из этого, да на себе до змеевой берлоги и пронес. Пронес да и зашумел. Змей из берлоги выполз и на бурлака. А тот от него бежать, а сам хлебы бросает, хлебы бросает. Змей эти хлебы начал жрать. Все поел. Отяжелел, не пополз за бурлаком, а тот за кустиком сидит, свое выжидает. И захотелось змею с этих соленых хлебов пить! Подполз к озеру — пил, пил, пил да и лопнул! Только гул пошел!

С той поры озеро усохло, а речка — это змеев след. Не веришь? Ну, дело твое, я говорил, что старинное рассказывать буду, а правда ли — не знаю. Раньше за правду считали.

СОРОК ПЕСЕН



ВОТ, жил парень одинокий, бедный. Земли у него пахотной не было, а кормился тем, что полесничал. И всего-то у него именья было — ружьишко, трое клепей, да пес. Ну, избенка еще была в одно окошечко...

Полюбилась ему девушка одна. Вот как полюбилась. И ей парень нравится, да одна беда — она богатых отца-матери, а у парня всё именье в лесу на елках — сколь белок добудет, столь и денежек в кармане. Парень девице говорит:

— Обожди два года, не выходи замуж. Я лисиц наловлю, белок настреляю, а может, и куницу-другую добуду. Выйдешь за меня замуж — проживем хорошо.

Она фыркает:

— Что-то не видала я богатых полесников! Нет уж, ищи ровню по себе!

Ну, просватали ее за богатого да глупого. Ладно. Скоро и свадьба!

Загоревался наш парень. Что в деревне жить да на горе любоваться?

«Пойду, — думает парень, — в лес. Развею тоску».

Забрался в самую чащу, на еловый остров. А там — язвинник. Вытесал парень лопату, стал язвцову нору раскапывать. Все-таки хоть и невелика, а добыча.

Копал, копал и выкопал — бочку дубовую. Тяжелая. Колупнул в ней дырочку — в бочке золото и серебро. Клад!

Отсыпал парень золотишка в свою котомочку и в деревню. А там уж под венец молодых собирают.

Проскочил парень в избу к любушке, кажет ей золото, говорит, что у него в лесу целая бочка денег имеется. Девица разахалась:

— Да что ты, милый, дорогой! Да я всегда тебя любила, о тебе думала. Да разве пойду я замуж за глупого? И фату сейчас с себя скину!

Полесничек золото обратно в карман:

— Любил я тебя да вижу, что зря. Не я тебе нужен — золото. Так моего золота тебе не видать!

Плюнул перед ней на пол, ногой растер и опять в лес, к язвиннику подался. То золото, что в котомочке было, в бочку ссыпал, новую клепку вставил, новые обручи вересовые набил и скатил ту бочку в Елопозеро. Там и утопил ее. На самой середине. А утопивши, такой зарок кладу положил:

— Тому этот клад в руки дастся, кто вот на берегу озера за подряд сорок песен споеет и чтобы ни в одной про любовь не говорилось. А если будет в какой песне про любовь упомянуто, — еще крепче бочка в дно вратет!

Ну, вот про полесника и всё. Что с ним потом было — не знаю.

Многие с той поры к Елопозеру ходили. Сядут на пенек и вот песни голосят. Тридцать девять ухитрялись пропеть, а как дойдут до сороковой — обязательно про любовь вспомнят. А клад все глубже в тину уходит...

Да и то сказать —какая же это песня, ежели не про любовь!



ПОЛНОЧНАЯ ОКЛИЧКА

ЖУРАВЛИ еще по снегу прилетают — только бы на моховых болотах проталинки появились.

На проталинках — подснежная клюква, журавлиная ягода. Тем журавли на первой поро и живы.

Ночь настанет — журавли на проталинке стаей сойдутся. Встанет каждый на одну ногу, другую под себя подберет, голову под крыло спрячет и спит.

А для караула очередной с краю стаи становится. Головы не прячет, не дремлет. Слушает, приглядывается, длинным носом по сторонам водит.

На ту пору хуже нет врага для журавля, как лисица. Днем к журавлям на открытом болоте не подкрадешься, зато ночью другое дело.

Заприметит лиса с вечера, где журавли на ночлег установились, дождется темени и заподкрадывается.

А журавлиному сторожу от стаи наказ дан — кричать через каждые полчаса во всю глотку.

Сторож наказ строго выполняет. В свое время как затрубит! Далеко слышно. Лисица так и подскочит:

— Ах, окаянный! Опять меня учуял! Сорвалась охота! Ужо я до вас завтра ночью доберусь!

Да где ей добраться? Журавлиный сторож опять орать в свое время будет. Такой у журавлей порядок!



ЛЕНИВЫЙ ДЯТЕЛ

РАЗДУМАЛСЯ дятел о своей жизни :
— Да что ж это такое? С раннего утра и до поздней ночи, зимой и летом, долби и долби по дереву носом! Всю головушку растрясло от такого промысла! Да разве это жизнь! На-

до иначе устраиваться!

Иначе, так иначе. Отдохнул дятел на сучке — решил по-утиному кормиться. Сунулся в лужу — мокро, грязно, червяки в тине есть да больно неподходящие, черные, склизкие. Тьфу!

Опять на сучке посидел, поразмышлял:

— Вон, ласточка комариков ловит. Займусь-ко и я этим промыслом!

Летал, летал — ничего не получается. Комар — вот он, рядом пищит, а в дятлов нос не попадается.

— Ну-ка, теперь по-тетеревиному, на земле корма поищу.

Ковылял, ковылял по земле — нет подходящего корма. Мелочь какая-то, блошки да мошки. Черничину-ягоду дятел попробовал — да разве ягодами сыт будешь?

— Лучше помру, а долбить дерево не буду! — так дятел решил. Лег на пенек, лапки сложил — совсем помирать собрался. Один глаз закрыл, другой до полови-

ны завел — как бы ненароком лиса не подкралась. А помирать на лисьем зубу дятлу неохота. Вот, если бы так помереть — от своей обиды!

Помирал, помирал дятел и вот есть ему захотелось да так, что терпенья нет. Шевельнулись дятловы крылья и сами понесли его на сухую ель.

Долбит дятел — только щепки летят. Долбит — думает:

— Слаще нету корму, как в старых елках под корой! Оно, конечно, всю голову за день растрясешь, зато в брюхе плотно!

СЧАСТЛИВАЯ ШАПКА



БАРИН толстопузый в лесу охотился. Три лакея ему помогали — один перед барином ветки раздвигал, другой коробок с харчем нес, третий ружье бариново — два ствола, серебряная насечка по замкам. Хорошее

ружьё! В такой компании горе — не охота. Только ту тетерю и добудешь, которая глупая. А таких мало.

Встретил барин мужичка. Тоже полесничает. Ружьишко плохонькое: не только из ствола — из приклада и то дым после выстрела идет. Шапка на мужике вроде беличьего гайна — рипок на рипке, не поймешь, где мех, где подкладка.

Барин над той шапкой посмеялся:

— Как тебя с такой шапкой полиция не заберет?

— В лесу, барин, мы полицию в рукавицу, а губернатора в карман. А над шапкой моей тебе бы не смеяться, она у меня счастливая.

— Это как понимать?

— А так. У тебя всей добычи одна тетеря, а у меня, погляди-ко — всякой дичины мешок набит. А всё из-за шапки. Коли она у меня на голове, будет добыча.

Барину загорелось:

— Продай шапку!

— Ни в жизнь! Тебе охота в забаву, а я полесничаньем сам кормлюсь и семью кормлю.

— Продай шапку! Сто рублей даю и свою пуховую шляпу.

— Добавь еще пуд пороху, три пуда дрови — бери шапку. Так и быть!

Через сколько-то дней зовет барин того мужика к себе:

— Обманул ты меня, полесник! Нет мне счастья в твоей шапке. В чем дело — скажи, не таи. Еще сто рублей накину и пуд дрови!

— Давай деньги и дробь. Всю правду до конца скажу.

Получил уговорное, говорит:

— Моя шапка не простая. А чтобы при ней удача была, нужна под ту шапку умная голова! Ну, прощай, мне некогда.

Так и ушел.



ВОЛЧИЙ КНЯЗЬ

У КРАСНОГО ручья, в бору, в те годы кабак стоял. Место удачное — тридцать верст от города, как раз подводчикам надо коней кормить, поить, самим погреться.

Вот так-то зимой, в самые морозы, около полночи в кабаке мужиков порядком собралось. Сидят, покуривают, ждут, когда кони отдохнут.

Вот, скрипнула дверь, входит в кабак парень-красавец. Рослый, волоса белые, кудрявые. В полушубке новеньком. Без шапки.

Вошел не кланяясь, не здороваясь. Говорит мужикам:

— А ну, кто меня вином угостит?

Мужикам это не слубилось. Пришел какой-то, без почтения, да еще вина требует.

— Ты кто такой? Мы тебя не знаем. А вина на свои выпей!

Засмеялся он, ногой топнул, руки в бока:

— Я — Волчий князь! Под моей рукой волки со всего уезда. Угостите меня — семь лет волков в ваших местах не будет. Не угостите — пеняйте на себя! А коли не верите — выйдемте на двор, свою силу покажу.

Мужикам забавно. Экой бахвал! Однако вышли за парнем на двор. .

Морозно. Месячно. Встал парень на крылечко да как свистнет! И отовсюду из-за сосен к кабаку волки набегать стали. И в одиночку, и стаями. Только снег у них под лапами хрустит. А глаза зеленым горят. Кони во дворе забеспокоились, забились, зверя чуют.

— Видели? — парень говорит. — Ну, а если видели — угощайте!

Опять свистнул — разбежались волки.

Мужики парню рады хоть ведро выпить. А он — нет, за многим не гонится. Стаканчик выкушал, луковичкой заел и, мужикам спасибо не сказав, не поклонившись, вышел из кабака и в бор. Только снежок за ним завихрился.

Ну, оно, вроде по-старому и правда — сколько лет после того у нас о волках и помину не было.



СОДЕРЖАНИЕ

Люди Белозерья	3
Письмо другу	5
Отшельник с Вельбы	11
Расстанная береза	20
Стариковская беседа	29
Кедровый бор	38
Резное трепало	58
Огонь в ночи	65
Степан-простота	71
Петушиные голоса	79
Рыболовочка	86
Большой колос	94
Колхозные розы	103
На дальний зов	107
Не так написано!	117
Белой ночью	120
Лунные искры	126
Утро на Унж-озере	132
Мышонок	142
Никитины резоны	149
Печатники с Водобы	157
Ольшинка придорожная	166
Гордость	171
Заяц	178
Загадка дяди Николая	187
Забытый челнок	192
В поисках героя	197
Рыбацкая вахта	205
Лешачья почта	214
Черный лец	221

Старый да малый	229
На своем пути	236
Из лесного блокнота	241
Марколенда	243
Поспела ли малина?	247
С трех областей	249
Приключения Толстошубого	251
«Иван Петрович прискал!»	258
Испорченная сказка	262
Бродяга и косой	265
Почтальон с хвостом	267
Золотой дождь	270
«Будет весна, будет, будет!»	272
Встречные и попутчики	273
Инспектор «кис-кис»	279
Веселые полесники	283
Сторублевый селезень	285
Хорошая стрельба	290
Жакстай	294
Корень-неодолим	298
Бабкина закуска	302
Тактики	305
Не тронь маленьких	308
Уха на палке	310
Паня и Ганя	312
Егор Бесстрашный	317
Сказки и легенды	321
Царев клад	323
Андрон сукозерский	332
Змей-свистун	338
Черемуховый снег	339
Разная вода	342
Кирикова пикулька	343
Лесной праздник	344
Гармонь выручила	346
Змей и бурлак	348
Сорок песен	350
Полночная окличка	352
Ленивый дятел	353
Счастливая шапка	355
Волчий князь	357